

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯЗЫКИ
В КОНТЕКСТЕ
КУЛЬТУРЫ СЛАВЯН

Ответственный редактор
доктор филологических наук
Г. К. Венедиктов

Москва
2008

Коллективный труд «Литературные языки в контексте культуры славян» включает статьи, посвященные проблемам формирования и функционирования славянских литературных языков в контексте культуры славян на разных этапах их развития. В поле зрения авторов статей — лексика старославянского языка, создававшаяся в условиях сильного влияния греческой культуры, типологические процессы в развитии славянских языков в эпоху Предвозрождения, формирование современных славянских литературных языков в эпоху Возрождения и их роль в создании национальных культур, некоторые проблемы их функционирования в настоящее время.

Редколлегия:

доктор филологических наук Г. К. Венедиктов
(ответственный редактор)
кандидат филологических наук М. И. Ермакова
доктор филологических наук В. С. Ефимова

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор,
член-корреспондент РАН Т. М. Николаева
доктор филологических наук Т. В. Попова

ISBN 978-5-7576-0220-2

© Учреждение Российской академии наук
Институт славяноведения РАН, 2008

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемом вниманию читателей коллективном труде «Литературные языки в контексте культуры славян» публикуются статьи, посвященные некоторым аспектам истории и современного состояния славянских литературных языков, развитие и функционирование которых тесно связано с историей культуры славян. Литературные языки как одна из составляющих культуры формировались и развивались в сложных исторических, политических и конфессиональных условиях, общих в истории славянских народов и специфических для каждого из них в отдельности. Рассматриваемые в статьях некоторые вопросы истории литературных языков в контексте культуры славян относятся к разным этапам их развития — от древнейшей кирилло-мефодиевской эпохи, когда создавались славянская письменность и первый у славян литературный язык и до этапа современного с его все нарастающей тенденцией к глобализации в литературно-языковой и культурной сферах.

В обширной статье В. С. Ефимовой на примере наименований лиц подробно исследованы мало изученные механизмы номинации новых слов в старославянском языке и обогащения лексики этого языка под сильным греческим влиянием; показано, что при изучении старославянского лексического фонда важное значение имеет не только словообразовательный анализ, но и определение времени и путей вхождения в язык самих лексем, что требует от исследователя постоянного обращения к приемам лингвотекстологии.

Ряд статей посвящен литературно-языковым вопросам эпохи преднационального и национального возрождения славян. В статье Е. И. Деминой выявляются основные тенденции развития письменности славянских народов в преднациональный период, специфические в этот период особенности литературных языков в ареалах *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina* и устанавливается типология процесса их становления. Сложное взаимодействие в развитии литературных языков и культуры в условиях конфессиональных различий у

серболужичан и их германизации в эпоху преднациональную и национального возрождения исследуется в статье М. И. Ермаковой. Дискуссионному вопросу о диалектной основе современного болгарского литературного языка, формировавшегося в период Возрождения, посвящена статья Г. К. Венедиктова. Данная в статье интерпретация территориального распределения возрожденческих книжников по месту их рождения показывает, что выбор локально ограниченной диалектной основы этого языка определялся преобладающим числом книжников, представлявших ее в возрожденческом книгопечатании.

Тематика нескольких статей касается особенностей литературно-языковой ситуации в новейшее время. Проблема пуризма, обострившегося в Словакии в 30–40-е годы XX века в связи с обретением ею государственности в рамках Чехословакии, освещается в статье Д. Ю. Анисимовой. О языковой ситуации, сложившейся в настоящее время в православных церквях в славянских странах, говорится в статье Ф. Б. Людоговского, отмечающего разное отношение священнослужителей этих стран к возможности использования в качестве литургического языка наряду с церковнославянским также и национальных литературных языков. В статье Г. П. Нецименко исследуются сложные и динамические процессы в функционировании славянских литературных языков в последние годы, в значительной мере обусловленные возрастающим глобальным влиянием экстралингвистических факторов, в сопоставительном плане характеризуются наблюдающиеся в них дивергентные и конвергентные тенденции.

Г. К. Венедиктов

Е. И. Демина

**К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
НА ПРЕДНАЦИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ИХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ:
ТИПОЛОГИЯ ПРОЦЕССА**

Преднациональный период (вторая половина XVI — первая половина XVIII столетия) занимает особое место в истории формирования и развития славянских литературных языков народов мира *Slavia Latina* и *Slavia Orthodoxa*, что в значительной мере связано с существенными изменениями экономических, социальных и историко-культурных условий жизни этих народов на переходном этапе смены двух общественных формаций. Это был период наивысшего проявления средневековой культуры и, вместе с тем ее заката, что находило свое преломление, в частности, в появлении новых, преднациональных форм манифестации литературного языка как историко-культурного феномена, в значительных сдвигах в языковой ситуации, а также в принятых обществом нормах употребления языковых идиомов в зависимости от типа коммуникационной ситуации [Демина 1999: 3–22].

Эти изменения по-разному проявлялись у каждого из славянских народов, что в значительной степени определялось различием их исторической судьбы в преднациональный период, в частности тем, что одни из них были в это время независимыми, обладали собственной государственностью, другие — их большинство — находились под иноземным владычеством. Важную роль играли конфессиональные различия. Волны Реформации и контрреформации одновременно достигали разных земель и действовали с неодинаковой силой.

Несмотря на эти различия, бросается в глаза нечто глубинно общее в существе происходивших изменений и их внешних проявлений. Этим общим прежде всего, по-видимому, является

тенденция к демократизации культуры, письменности и литературного языка, к их сближению с народной основой. В этой же связи можно назвать характерный для ряда народов отказ от литературных идиомов на чужой этнической основе, борьбу за права собственного литературного языка.

Тенденция к изменению нередко проявлялась на уровне *сдвигов в языковой ситуации*, если при этом иметь в виду появление книжно-литературных идиомов у народов, ранее не имевших традиционной письменности на этнически родной основе, вытеснение чужих литературных языков, функционировавших у данного народа в условиях гетерогенного литературно-языкового двуязычия и многоязычия, укрепление позиций собственного литературного языка, расширение его коммуникативной сферы. Затрагивался и *уровень состояния* литературного языка данного народа как категории исторической, как особого динамического «целого» в совокупности своих меняющихся манифестаций, как и *уровень субстанции и структуры* литературных идиомов, широкое введение народных выразительных средств в язык традиционной письменности вплоть до создания новых книжных языков на народной основе, отталкивающихся от традиции и одновременно опирающихся на нее.

Появление новых книжно-литературных идиомов на основе живой народной речи в силу инерции развития приводило к ситуации сосуществования у данного народа двух или нескольких разновидностей литературного языка на одной и той же этнической основе, к ситуации гомогенного или также гетерогенного двуязычия и многоязычия, в котором участвуют как родственные (славянские), так и неродственные (латинский, немецкий, отчасти — итальянский и французский языки). Становится возможным параллельное функционирование текстов на традиционном литературном и вновь созданных книжно-литературных идиомах, в частности возникает возможность *перевода* с традиционного литературного языка на «простой», народный в своей основе язык. В условиях имевшей место в период средневековья у некоторых славянских народов ситуации диглоссии, т. е. такого способа «сосуществования двух языковых систем в рамках одного языкового коллектива (имеются в виду книжная языковая система, связанная с письменной традицией, и некнижная система, связанная с обыденной жизнью — Е.Д.), когда

функции этих двух систем находятся в дополнительном распределении, соответствуя функциям одного языка в обычной (недиглоссийной) ситуации» [Успенский 1983: 4–5]. Это приводило к принципиальным сдвигам в укрепившихся в данном обществе представлениях о «социально корректном высказывании», к изменению норм функционирования разных форм существования данного языка в различных коммуникативных сферах. Аналогичные сдвиги наблюдаются и у народов, у которых с престижными сферами общения было связано употребление чужих литературных языков (латынь, немецкий).

В изучении особенностей функционирования славянских литературных языков в преднациональный период их развития, роли в этом процессе традиции и новых тенденций развития сделан ряд важных шагов, накоплено немало серьезных наблюдений. Вместе с тем некоторые стороны этого процесса нуждаются в дальнейшем осмыслении. Это тем более важно, что принятое во многих исследованиях по истории славянских литературных языков деление периода их функционирования на *донациональный* и *национальный*, а самих литературных языков на *донациональные* и *национальные* снижает внимание к переходному между этими состояниями *преднациональному* периоду, без глубокого изучения которого трудно, а порой невозможно, понять исторические корни многих важных проблем современных славянских литературных языков, тот облик, в котором они ныне выступают.

Именно стремлением осмыслить в одном из возможных аспектов функционирование славянских литературных языков на этапе предыстории их современной формы, проследить сдвиги в языковой ситуации у разных славянских народов этого периода с определенной точки зрения определен выбор темы данной работы. «Основанием для сравнения» избрано осмысление языковой ситуации у славянских народов преднационального периода, происходивших в это время сдвигов в состоянии литературного языка как историко-культурного феномена в аспекте тенденции к демократизации культуры, письменности и литературного языка, которая в той или иной степени, в той или иной конкретной форме имела место в это время в истории каждого славянского народа. Иными словами, наша задача, опираясь на фундамент данных, выявленных в исследованиях по истории

славянских литературных языков, по необходимости в сжатом (а поэтому несколько схематизированном) виде наметить те реальные процессы в функционировании литературного языка у разных славянских народов, которые у каждого из них были характерны для переходного к современному облику литературного языка преднационального периода их развития, рассматривая их прежде всего сквозь призму тенденции к демократизации.

Если считать, что перед нами тем самым стоит задача сравнительно-типологического характера, то ее можно определить как попытку выявления типологии литературно-языковых ситуаций у славянских народов в эпоху перехода от донационального к национальному этапу развития с преобладающим вниманием к одному из аспектов этого процесса.

Именно смена конкретных состояний того или иного славянского литературного языка как историко-культурного феномена (учитывая исходную возможность отсутствия таких состояний, т. е. отсутствие у данного народа к началу рассматриваемого периода своего родного литературного языка), ее преломление в языковой ситуации может послужить опорой сравнительно-типологического анализа.

Процесс демократизации литературного языка, характерный для преднационального периода у славянских народов мира *Slavia Latina* и *Slavia Orthodoxa*, протекал у каждого из них в различных, но одинаковых по своей направленности формах. Этим общим было стремление использовать литературный язык как средство укрепления национального духа, развития народностного самосознания, как средство сохранения и возвышения своей народности. Это особенно ярко проявилось у народов, находившихся под иноземным господством.

Различия в конкретных формах проявления феномена демократизации во многом зависели от наличия/отсутствия к началу рассматриваемого периода собственной книжно-языковой традиции.

У народов, которые такой традицией не обладали (словенцы, отчасти хорваты, лужицкие сербы), у которых в функции литературного языка выступали чужие, не славянские языки, процесс демократизации, связанный с влиянием идей Реформации, проявился в создании собственных книжно-литературных идиомов на народной основе, т. е. в демократизации на уровне изменений в языковой

ситуации. Появление литературных идиомов на основе родной речи вызвало к жизни конкуренцию между ними и неродными языками (латынью, немецким, отчасти — итальянским), ограничение сфер функционирования последних. Вместе с тем проникновение народно-разговорных в своей основе книжных языков в сферу достаточно высокой культуры приводило к расширению коммуникативной сферы народного языка, использовавшегося отныне как язык письменности.

В XVI в. в Словении (где в качестве литературных языков выступали латынь и немецкий) в рамках протестантского движения предпринимаются интенсивные попытки создания письменно-литературного языка на основе говора Любляны, совмещающего в разных сочетаниях черты двух центральных диалектов — гореньского и доленьского. Деятельность по созданию письменности на народной основе связана прежде всего с именем Приможа Трубара, издавшего на словенском более 20 книг и среди них «Абцедедер» (1550), Евангелие от Матфея (1555), часть Нового завета (1557) и др. К этому же периоду относятся первые опыты грамматического и лексикографического описания словенского языка: грамматика Адама Богорича (1584), указатель к Библии Ю. Далматина (1584), Четырехъязычный словарь Иеронима Мегисера (1592) [Rigler 1968: 100–110]. В XVII в., в период католической реакции, наблюдается постепенный отход от традиций, заложенных в XVI в. Но уже в XVIII в. литературно-письменная деятельность вновь оживляется в Каринтии, Штирии и Прекмурье, причем книжники этих областей в литературе конфессионального содержания опираются на живую речь родных диалектов [Плотникова 1978: 329–331].

В XVI – XVII вв. в Хорватии возникает ряд книжных языков на основе народной, диалектной речи, закрепленных в кайкавской, боснийской, штокавской и — позднее (с XVIII в.) — славонской литературе, которая вытесняет язык древней славянской конфессиональной письменности, распространенной среди хорватов-«глаголяшей». Особого расцвета в преднациональный период достигает дубровницко-далматинская литература с ее, близким к народному, языком [Решетар 1952]. Неблагоприятная историческая обстановка, феодальная раздробленность приводят к тому, что все три диалекта (кайкавщина, чакавщина, штокавщина) надолго утверждаются в

литературно-языковой функции [Vončina 1973: 165–177]. «До эпохи революции 1848 г. — до победы линии Ф. Прешерна, М. Чопа и Я. Зупана у словенцев и до Венского «литературного договора» (1850) хорватов и сербов, т.е. до стабилизации словенского и хорватского (с той поры уже сербскохорватского) литературных языков, существовал в общем целый набор предварительных (провизорных) моделей литературного языка с очень широкой амплитудой колебания» [Толстой 1988: 204].

Возникновение в XVI в. письменности у лужицких сербов связано с нижнелужицкой языковой территорией [Ермакова 1979: 216–218]. Оно протекало в сложной обстановке распространения догм протестантской церкви и обусловленного этим вытеснения латыни из конфессиональной сферы. Немецкие проповедники, вынужденные использовать в проповеди новых догм понятный простому народу живой язык, в то же время стремились по возможности ограничить его употребление. Памятники нижнелужицкой письменности — первая печатная «Книга песнопений и катехизис» Альбина Моллера (1574), перевод Нового завета Н. Якубицы (1548), первая серболужицкая грамматика (1650), — отражали черты различных местных говоров. Фактически они явились своеобразной формой сопротивления политике германизации и борьбы за сохранение народности и родного языка. Верхнелужицкая письменность возникает в XVII в. в двух вариантах, различия между которыми обусловлены не только выбором разной диалектной основы, но и вероисповеданием книжников. Начиная с 1670 г. возникает ряд переводов религиозной литературы, в частности Библии (1728). Это способствовало созданию нормы, которой придерживались последующие переводчики и авторы Верхней Лужицы [Фаске 1983: 199–203]. Ситуация сосуществования у лужицких сербов в XVI–XVII вв. книжных языков на народной основе, претендовавших на роль литературного языка, каждый из которых обладал своей нормой, основанной на том или ином диалекте, имел ограниченную сферу функционирования, типологически сходна с языковой ситуацией у других славянских народов (словенцев, хорватов), которые к началу преднационального периода не обладали литературным языком на этнически родной основе.

В основном на уровне языковой ситуации, хотя и в иной форме, протекал процесс демократизации письменности и литературного

языка у поляков, обладавших к началу преднационального периода развитым литературным языком на собственной этнической основе. Начиная с середины XVI и в XVII в. здесь шел активный процесс вытеснения латинского языка из разных сфер культурного общения. Польско-латинское культурное двуязычие, характерное для образованных кругов польского общества XVI в., постепенно теряет свои позиции. Латынь все более утрачивает свои функции делового и административного языка. Распространяется словесность на польском литературном языке, совершенствуется мастерство писателей. Развитие печатного дела способствует известной нормализации орфографии. Постепенное оттеснение латыни, отказ от гетерогенного литературно-языкового двуязычия расширяет функциональную сферу родного литературного языка, что может быть оценено как демократический сдвиг в языковой и историко-культурной ситуации.

Как отмечает Ст. Урбанчик, «начиная с середины XVIII в. польский язык становится единственным литературным языком поляков. Расширяются сферы его функционирования, определяются новые нормы, обогащается лексика, более простым становится синтаксис, общий стиль письменного высказывания приближается к стилю устного высказывания» [Urbańczyk 1963: 235]. В последней четверти XVIII в. в итоге реформ в сфере просвещения и языковой реформы законодательным путем была осуществлена отмена латыни как языка обучения в школах всех ступеней (до академий включительно). Была проведена кодификация норм польского литературного языка. «Благодаря длительной литературной традиции, а также языковой реформе конца XVIII в. польский язык был подготовлен к выполнению функций единого национального литературного языка в условиях разделов Польши, когда культурные и языковые традиции стали важнейшим фактором сохранения и развития польской нации» [Стрекалова 1981: 168].

Во многом сходной к началу преднационального периода была языковая ситуация у чехов. Здесь в XVI в. функционировал стилистически развитый, обладающий богатыми выразительными средствами, достаточно структурированный и стабильный литературный язык, закрепленный в образцах конфессиональной и светской прозы (Кралицкая библия 1545–1599, произведения Д.-А. Велеславина). В языке науки он сосуществовал с латынью.

Этот «золотой период» чешской письменности и литературного языка был прерван после поражения чехов в 1620 г. на Белой Горе. Начался процесс насильственной германизации, расширение функциональных сфер немецкого языка, наступление на чешскую культуру и национальную самостоятельность.

В этих условиях формой демократизации культуры и борьбы за национальную самостоятельность можно в известной мере считать возникновение письменности религиозно-дидактического содержания, обращенной к простому народу, главным образом сельскому читателю, не владеющему немецким языком. Эта литература на «полународном» языке [Широкова, Нецименко 1978: 21], насыщенная самыми различными диалектизмами, свидетельствует о том, что, в отличие от поляков, процесс демократизации языка письменности в чешских землях в известной, пусть весьма незначительной, мере охватил не только уровень языковой ситуации, но и собственно литературно-языковый уровень, уровень состояния его конкретной манифестации как «целого». На уровне же языковой ситуации к демократическим по своей направленности процессам можно отнести также не только распространение старой религиозной литературы, но и создание новых библейских переводов на традиционном, консервативном по своим особенностям, чешском литературном языке (ср., например, перевод Святовацлавской библии 1667–1715 гг.), как и неоднократные опыты создания грамматик чешского языка, например, грамматики В. Росы (1672 г.) и др.

Хотя «народная» литература на «простом» языке не смогла в чешских землях создать более или менее стойкой традиции, а письменность на традиционном литературном языке постепенно все больше и больше утрачивала сферы своего употребления и присущие ей ранее нормы, сам факт функционирования чешских литературно-языковых идиомов на протяжении преднационального периода, сохранявшаяся в это время ситуация чешско-немецкого литературного двуязычия, на наш взгляд, делает уязвимым тезис о перерыве в развитии чешского литературного языка [Широкова, Нецименко 1978: 27–28]. Представляется, что именно сохранение литературных функций родной речи, распространение религиозной литературы на традиционном для конфессиональной письменности языке делает объяснимой саму возможность обращения в период

национального Возрождения при создании (точнее — воссоздании) норм литературного языка к «образцовой» форме чешского литературного «золотого» периода, сохранившегося как исторический феномен в памяти народа (ср. деятельность Й. Добровского).

В своеобразной форме процесс демократизации письменности и литературного языка проявился в Словакии, где он фактически проходил в два этапа (хотя между ними и сложно провести четкую границу) и на каждом из них выступал в особой форме.

Как известно, в средневековой Словакии, как и в других частях Венгерского королевства, официальным литературным языком была латынь, обслуживающая все достаточно «высокие» сферы письменной коммуникации. Наряду с ней в функции общеупотребительного литературно-письменного языка словацкой народности с XV в. использовался чешский литературный язык. При этом «с точки зрения тех славян Верхней Венгрии, которые в XVI–XVII вв. писали на более или менее словакизированном чешском, чешский литературный язык был, без сомнения, просто более высокой формой народного языка, нечто вроде церковнославянского для писателей Киевской и Московской Руси» [Оти 1978: 112–113]. В повседневной разговорной речи использовались местные словацкие диалекты, а также наддиалектные образования типа культурных койне. Иными словами, к началу XVI в. в Словакии существовала литературно-языковая ситуация, которая может быть определена как ситуация чешско-словацкой диглоссии (на фоне сосуществования с чужими литературными языками).

В период Реформации в XVI в. демократические тенденции вначале (на первом этапе) проявили себя в форме борьбы за права чешского литературного языка, который воспринимался как престижная форма родного языка. Латынь постепенно теряет свои позиции в сфере деловой и административно-правовой письменности. Чешский литературный язык закрепляется в литургии словацких протестантов. На нем публикуются произведения научного и литературно-художественного содержания.

На втором этапе (а отчасти уже и на первом) важным проявлением тенденции к демократизации было, как можно полагать, все большее и большее проникновение живых словацких разговорных средств в чешский литературный язык. Процесс его постепенной

словакизации, со временем принявший осознанный характер и особенно сильно проявившийся в католической письменности, к середине XVIII в. зашел так далеко, что, по мнению Э. Паулини, здесь можно уже говорить об относительно нормализованном словацком литературном языке, «который из-за существенных отклонений от чешского уже нельзя назвать лишь словакизированным чешским языком» [Pauliny 1966: 83]. Р. Оти характеризует этот язык как «зачатки западно-словацкого литературного языка» [Оти 1978: 115]. И если, как отмечают исследователи [Смирнов 1978: 93], в среде словацкой интеллигенции протестантского вероисповедания в XVIII в. отмечается тенденция к сохранению в чистоте норм чешского литературного языка (так называемой библиччины), то в среде образованных словаков-католиков побеждает тенденция к литературно-письменной самостоятельности. Хотя основанный на западнословацких диалектах письменно-литературный идиом, закрепленный в языковой реформе А. Бернолака, который отталкивался от чешской языковой традиции (во многом опираясь на нее), не утвердился надолго в литературно-языковой практике, сам феномен появления литературы на родном в своей основе языке разрушает ситуацию чешско-словацкой диглоссии. Это приводит к литературно-письменному двуязычию, а конечном итоге (уже после языковой реформы Людовита Штура) — к созданию словацкого литературного языка, базировавшегося на центральных словацких диалектах.

Динамика языковой ситуации у народов ареала *Slavia Orthodoxa* в преднациональный период их развития, специфика ее проявлений в Юго-Западной и Московской Руси, у сербов и болгар во многом определялись, с одной стороны, тем, что функционировавшие здесь литературные языки (древнеболгарский, древнесербский, древнерусский), которые восходят к кирилло-мефодиевской традиции, находились в столь тесной исторической взаимосвязи и взаимозависимости, что это позволяет ряду исследователей рассматривать их как единый древнеславянский (церковнославянский) литературный язык [Толстой 1988: 34–52], с другой стороны — различием места традиционного литературного языка в языковой ситуации каждого из названных ареалов в рассматриваемый период, его соотношением с книжными идиомами на народной основе. Значительную роль при этом играло столкновение многовековых славяно-византийских

традиций с новыми явлениями, вызванными отражением протестантской Реформации и контрреформации, гуманизма и барокко, предвозрожденческих настроений в обществе, ростом национального самосознания (особенно у народов, находившихся под иноземным владычеством, не обладавших собственной государственностью).

Если для Московской Руси языковая ситуация конца XVI в. — начала XVII в. еще может быть определена как ситуация церковнославянско-русской диглоссии [Успенский 1983: 85], то для языковой ситуации Юго-Западной Руси (украинцев и белорусов), несмотря на значительную роль здесь второго южнославянского влияния, уже со второй половины XVI в. характерно появление новых книжно-литературных идиомов — «простой мовы» и постепенное вытеснение традиционного славянского литературного языка из разных сфер культурного общения. В основе простой (или, по другой терминологии, «русской») «мовы», по мнению исследователей лежал деловой канцелярский язык Юго-Западной Руси, официально признанный в польско-литовском государстве как язык судопроизводства, что создавало условия для его кодификации и превращения в язык литературы, в том числе конфессиональной. Б. А. Успенский выделяет два варианта «простой мовы» — украинский (более славянизированный) и белорусский (в большей степени полонизированный), подчеркивая вместе с тем, что «проста мова» противопоставляется как традиционному литературному языку — церковнославянскому, так и диалектной украинской и белорусской речи, хотя и обнаруживает тесную связь с ними. Вместе с тем в некоторых случаях речь должна идти о непосредственном влиянии живой диалектной народной речи [Успенский 1983: 68–69].

Так, в одном из первых памятников украинской конфессиональной литературы на народном в своей основе языке — Няговской постилле XVI в. (памятнике письменности закарпатской части Украины), по мнению исследователей, отражена фонетическая и грамматическая структура мараморошского диалекта конца XVI или, возможно, начала XVII в., а также живая речь бассейна р. Тересвы [Панькевич 1958: 173–174; Дэже 1965: 117–134]. Отметим также Пересопницкое евангелие XVI в., в котором «на славянской основе с иноязычной польской и отчасти чешской письменностью положены густыми слоями в огромном количестве черты народной

фразеологии с ее типическими особенностями как в отношении к звукам и формам, так равно и в отношении к словоупотреблению, словорасположению и постройке предложений» [Житецкий 1876: 4] и ряд других рукописных евангелий конца XVI в., закреплявших народно-разговорный язык как основу книжной речи. Важно отметить, что как письменность на народном в своей основе языке, так и традиционный славянский литературный язык использовались здесь как средство борьбы против польско-латинской языковой экспансии, направленной на ассимиляцию украинского народа. В этом своеобразии процесса демократизации украинского литературного языка как «целого» на уровне языковой ситуации. В конце XVII — начале XVIII в. после присоединения Восточной Украины к России довольно сильные еще позиции традиционного славянского литературного языка ослабевают. В конце XVIII в. начинает формироваться новоукраинский литературный язык на основе юго-восточных украинских говоров с известной опорой на литературно-языковую традицию.

К наиболее ярким проявлениям «простой мовы» на белорусских землях можно отнести издание (около 1570 г.) Василием Тяпинским евангелия параллельно на белорусском в своей основе и традиционном славянском литературном языке. «Происходит весьма значительный акт: в конфессиональной литературе, считавшейся священной, наряду с принятым и освященным традицией древнеславянским, вводится новый литературный язык, близкий к народно-разговорному субстрату. Двужычье воспринимается как законное явление» [Толстой 1988: 59]. Позднее, в конце XVII — начале XVIII в. в силу исторических и историко-культурных причин связь с «простой мовой» как и с традиционным белорусским языком была утрачена, он был окончательно вытеснен польским и после перерыва в своем развитии, во второй половине XIX в., как бы заново сложился на основе народной речи.

Таким образом, процесс демократизации книжности и литературного языка в Юго-Западной Руси в рассматриваемый период шел как по линии создания книжных языков на основе народной речи, разных видов «простой мовы», так и по линии укрепления позиций традиционного славянского языка, кодификации его норм (ср. в этом отношении известную грамматику Мелетия Смотрицкого (1619)).

Иными словами, одновременно действовали и тенденция к изменению состояния литературного языка как историко-культурного феномена, так и тенденция к упрочнению этого состояния. В итоге возникает ситуация гомогенного книжно-литературного двуязычия (с учетом роли других языков — польского, латыни), в которой один из сосуществующих языков выступает как демократический вариант и связывается с народными ожиданиями. Последнему способствует распространенная со второй половины XVI в. практика публикации параллельных текстов на традиционном славянском языке и «простой мове» (а также на польском языке и «простой мове»). Даже Грамматика Мелетия Смотрицкого, поддерживавшая позиции церковнославянского языка, одновременно являлась своеобразной кодификацией отдельных грамматических конструкций «простой мовы», использованных при толковании соответствующих славянских конструкций.

Вместе с тем, отмечает Б. А. Успенский, «как это ни парадоксально, значение «простой мовы» для истории русского литературного языка есть не меньше, если не больше, чем значение этого феномена для истории украинского или белорусского литературных языков. Действительно, «проста мова» не оказала почти никакого влияния на современный украинский и белорусский языки, не отразившись и на последующей языковой ситуации на территории Украины и Белоруссии» [Успенский 1983: 84–85]. В то же время перенос языковой ситуации в Юго-Западной Руси во второй половине XVII в. на великорусскую почву приводит к разрушению здесь диглоссии: в течение второй половины XVII в. церковнославянско-русская диглоссия преобразуется в церковнославянско-русское двуязычие. Существенную роль в закреплении этого процесса сыграла реформаторская деятельность Петра I с его требованием писать «не высокими словами, а простым русским языком». Появляется «просторечие» как особая форма литературного языка, причем как и в Юго-Западной Руси «простой язык» в качестве литературного языка противостоит не только церковнославянскому языку, но и разговорной речи [Успенский 1983: 3–4]. Характерным для книжников Московской Руси является осознание возможности перевода на «простой язык» сакральных текстов (ср., например, осуществленный в 1683 г. Авраамием Фирсовым перевод на

«простой язык» Псалтыри). С другой стороны, меняется, по-своему «демократизируется» сфера употребления церковнославянского языка, который может использоваться, например, в произведениях сатирических жанров (пародиях). Его соположение с народными выразительными средствами, использование в несвойственных для него контекстах служит достижению комического эффекта. Сам факт функционирования «простого» языка, т. е. признание возможности отклонения от церковнославянских языковых норм, «имеет исключительное значение для последующей эволюции русского литературного языка, обуславливая в конечном счете влияние разговорной речи на литературный язык» [Успенский 1983: 96]. Именно действие тенденции к демократизации, которую для Московской Руси можно охарактеризовать словами Б. А. Ларина как «органическое, проникающее сближение ранее противопоставленных и обособленных систем письменного и разговорного языков» [Ларин 1961: 25], сыграло решающую роль в процессе формирования русского литературного языка нового времени.

В Сербии процесс истинной демократизации письменности и создания литературного языка на народной основе произошел позднее, в конце XVIII — начале XIX вв. и завершился реформой Вука Караджича. По отношению же к рассматриваемому в данной работе периоду можно говорить об известном сохранении письменности на традиционном славянском литературном языке ресавской редакции, выступавшей в роли хранительницы народности в условиях османского ига. Эту же роль в конечном счете играло и имевшее место в этот период широкое внедрение особенностей славянского литературного языка позднего московского «извода». Как отмечает Н. И. Толстой, в отличие от Дубровника, Далмации, Хорватии и Боснии собственно в Сербии не существовало литературы, достаточно ярко отражающей черты живых народных говоров [Толстой 1988: 77].

Языковая ситуация, имевшая место в Болгарии на начальном этапе функционирования древнеболгарского литературного языка, в основе которого лежал язык кирилло-мефодиевских переводов, очевидно, лишь в незначительной степени характеризовалась чертами гомогенной диглоссии, поскольку это был язык не только письменности, церкви, но и официально государственного и отчасти,

возможно, устного общения. Но со временем, в процессе того, как живой разговорный болгарский язык преобразуется в язык аналитического грамматического строя, а наполняется рядом балканизмов и тем самым все больше удаляется от традиционного литературного языка синтетического строя, общая историческая ситуация в порабощенной Османской империей Болгарии способствует снижению уровня образованности населения, черты диглоссийной ситуации нарастают. Начавшаяся в XVI в. демократизация болгарской литературы затронула вначале лишь уровень содержания некоторых оригинальных произведений, обращенных к широким народным массам (ср. жития мучеников, погибших от рук османских завоевателей за отказ принять ислам: Житие Георгия Нового Софийского книжника попа Пейо, Житие Николы Софийского Матея Граматика). На языковом уровне почти нерушимой еще оставалась традиция. Это приходит в противоречие с характерной для предвозрожденческого периода тенденцией к демократизации культуры и письменности. Уже в первых переводах конца XVI в. «Сокровища» греческого писателя Дамаскина Студита «заметна свежесть, ... пробивается народная струя, сказывающаяся в народных выражениях и во влиянии живого языка» [Лавров 1899: 40]. Однако лишь в первой половине XVII в. происходит резкое подтягивание норм литературного языка к состоянию в живой народной речи при отталкивании от традиции вместе с тем опоре на нее, имеющее характер качественного, революционного сдвига. Именно так решили проблему демократизации языка неизвестные дамаскинали — создатели книжного болгарского языка XVII в. на народной основе, опиравшиеся в своем творчестве на текст упомянутых переводов из «Сокровища», а также текст произведений на традиционном болгарском языке болгаро-сербской (ресавской по ряду орфографических правил) редакции. Взяв из этого текста почти без изменений целый языковой уровень — уровень системы письма, на уровне грамматического строя и словаря они опирались на живую народную речь, лишь в ряде так или иначе мотивированных случаев вводя в новый письменный узус и в новую норму элементы традиции, характерные для этих уровней [Демина 1973: 118–141; Демина 1988: 579–591].

Книжникам, предпринявшим попытку писать «простым», «новым», «български^м езико^м» (так они характеризуют этот язык в заглавиях

к отдельным произведениям), удалось понять и отразить ведущую тенденцию своего времени. Об этом свидетельствует не только широкое распространение первых новоболгарских дамаскинов, которые переписывались в Болгарии на протяжении двух веков, пополняясь новыми переводами и редакциями старых, но и осуществление в XVII–XVIII вв. ряда новых опытов демократизации языка письменности, по-разному решавших проблему соотношения в нем книжных и народных элементов, иногда сводившихся к попытке писать на диалекте. Наряду с вновь и вновь возникающими книжно-литературными идиомами на народной основе продолжают функционировать поздние редакции традиционного болгарского литературного языка, а также церковнославянско-русская книжность, пришедшая из Руси. Сложившееся в результате этого гомогенное литературно-языковое двуязычие и многоязычие полагает конец диглоссийной ситуации: функционально-дополнительная дистрибуция литературного (книжного) и народного (разговорного) языков утрачивает свою релевантность. Начинается этап дивергентного развития болгарского литературного языка как историко-культурного феномена в процессе его демократизации, появления все новых и новых книжно-литературных идиомов на народной основе с разной степенью связи с традицией, претендующих на роль литературного языка, продолжающийся вплоть до 30-х годов XIX в., когда его сменяет конвергентное развитие на пути становления единых норм национального болгарского языка [Демина 1990: 37–51].

Осуществленный в языке новоболгарских дамаскинов сознательный синтез возможностей, предоставляемых живым разговорным языком, обладавшим к концу XVII в. развитым аналитическим грамматическим строем, и богатого наследия традиционного литературного языка синтетического строя, причем в структурном отношении победила живая болгарская речь — это путь по которому впоследствии шло формирование современного национального болгарского литературного языка [Демина 1988: 579–592].

Итак, мы видим что на протяжении преднационального периода в ареалах *Slavia Latina* и *Slavia Orthodoxa* действовали две основные тенденции развития литературных языков, которые продолжали определять типологию этого процесса и в более поздний период, связанный со становлением национальных литературных языков. Это, во-первых,

тенденция к демократизации литературного языка, к его сближению с живым народным языком (у народов не обладавших собственным литературным языком — к его созданию на основе народной речи) и, во-вторых, тенденция к сохранению традиции как опоры народного самосознания и расширению сфер ее функционирования.

У отдельных народов преобладала та или иная тенденция: иногда они сосуществовали, не вступая в отношения конкуренции (ср. ситуацию в украинских землях); иногда сталкивались между собой, порождая в результате этого столкновения новый исторический тип литературного языка — книжный язык на народной основе (в другой терминологии — «простой» язык, «проста мова»), резко отталкивающийся от традиции при одновременной опоре на нее (ср. ситуацию в Болгарии, отчасти — в Юго-Западной Руси); иногда приводили к своеобразному синтезу, к органическому сближению ранее противопоставленных и обособленных систем письменного и разговорного языка (ср. ситуацию у словаков, в Московской Руси); иногда в силу исторических причин лишь в весьма слабой степени проявлялись на протяжении преднационального периода (ср. ситуацию у чехов, сербов).

Происходившие в процессе демократизации изменения в одних случаях ограничивались уровнем языковой ситуации (в частности это относится ко всем случаям создания новых литературных языков на собственной этнической основе у народов, ранее ими не обладавших, а также к случаям постепенного вытеснения неродного литературного языка из некоторых функционально-коммуникативных сфер). В других случаях изменения затрагивали и уровень состояния литературного языка, его манифестации как историко-культурного феномена, как «целого», проявлялись в появлении новых книжно-литературных идиомов на народной основе, сосуществующих со старыми или ограничивающих их коммуникативную сферу. Это, естественно, приводило и к изменениям на уровне языковой ситуации, в частности, к превращению диглоссийной ситуации в ситуацию литературноязыкового двуязычия (и многоязычия) и, в итоге, к началу *дивергентного развития*, предшествующего *конвергенции* следующего этапа — этапа становления единых норм национальных литературных языков.

Но это уже предмет самостоятельного исследования.

Литература

Демина 1973 — *Демина Е. И.* Проблема нормы в формировании книжного болгарского языка XVII в. на народной основе // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, 1973. Доклады советской делегации. М., 1973.

Демина 1988 — *Демина Е. И.* К проблеме кирилло-мефодиевской традиции в истории болгарского языка // Symposium Methodianum. Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg (17. bis 24. April 1985), Neuried, 1988.

Демина 1990 — *Демина Е. И.* Проблема предыстории современного болгарского литературного языка // Kształtowanie się nowobułgarskiego języka literackiego (do roku 1878). Warszawa: Kraków: Wrocław, 1990.

Демина 1999 — *Демина Е. И.* Феномен динамики литературно-языковой нормы как предмет диахронической социолингвистики // Проблемы славянской диахронической социолингвистики. Динамика литературно-языковой нормы. М., 1999.

Дэже 1965 — *Дэже Л.* О лексике закарпатской украинской литературы XVI–XVII вв. / Separatum. Budapešt, 1965.

Ермакова 1979 — *Ермакова М. И.* Из истории нижнелужицкого литературного языка // Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменность. М., 1979.

Житецкий 1876 — *Житецкий П.* Описание Пересопницкой рукописи XVI в. Киев, 1876.

Лавров 1899 — *Лавров П. А.* Дамаскин Студит и сборники его имени «дамаскины» в югославянской письменности. Одесса, 1899.

Ларин 1961 — *Ларин Б. А.* Разговорный язык Московской Руси // Начальный этап формирования русского национального языка. Л., 1961.

Ларин 1975 — *Ларин Б. А.* Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII в.). М., 1975.

Оти 1978 — *Оти Р.* Традиция и инновация в развитии славянских литературных языков (1760 – 1850) // Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций XVIII–XIX вв. Материалы Международной конференции ЮНЕСКО. М., 1978.

Панькевич 1958 — *Панькевич І.* Закарпатський діалектний варіант української літературної мови XVII–XVIII вв. // Slavia. Roč. 27. Seš. 2. Praha, 1958.

Плотникова 1978 — *Плотникова О. С.* Становление словенского литературного языка в период Национального возрождения // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978.

Решетар 1952 — *Решетар М.* Нај-старија дубровачка проза. Београд, 1952.

Смирнов 1978 — *Смирнов Л. Н.* Вопрос о литературном языке словаков на начальном этапе национального возрождения // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978.

Стрекалова 1981 — *Стрекалова З. Н.* О роли языка в процессе формирования польской нации // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981.

Толстой 1988 — *Толстой Н. И.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988.

Успенский 1983 — *Успенский Б. А.* Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983.

Успенский 1985 — *Успенский Б. А.* Из истории русского литературного языка XVII – начала XIX века М., 1985.

Фасске 1983 — *Фасске Х.* Формирование серболужицких литературных языков // Формирование славянских литературных языков: теоретические проблемы. М., 1983.

Широкова, Нецименко 1978 — *Широкова А. Г., Нецименко Г. П.* Становление литературного языка чешской нации // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М. 1978.

Pauliny 1966 — *Pauliny E.* Dejiny spisovnej slovenčiny. I. Bratislava, 1966.

Rigler 1968 — *Rigler J.* Začetki slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1968.

Urbańczyk 1963 — *Urbańczyk St.* Periodyzacja dziejów polskiego języka literackiego // Polskie studia slawistyczne. Warszawa, 1963. Ser. II.

Vončina 1973 — *Vončina J.* O kontinuitetu hrvatskoga književnog jezika od 15 do 18 stoljeća // VII Međunarodni kongres slavista. Zagreb, 1973.

В. С. Ефимова

**О ФОРМИРОВАНИИ
СТАРΟΣЛАВЯНСКОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА:
ОПЫТ ЛИНГВИСТИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТИФИКАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦА¹**

Во второй половине IX в. возник старославянский язык — средневековый литературный язык славян, начало которому, как известно, положили выполненные свв. Кириллом и Мефодием и их учениками переводы самых необходимых для богослужения текстов Св. Писания. Первым таким текстом, переложённым с греческого на славянский, было изборное Евангелие (апракос)² — текст, относительно простой по стилю и языковым средствам. Однако уже на этом начальном этапе становления старославянского языка, наряду с

¹ Данное исследование выполнено с использованием материалов хранящейся в Отделе палеославистики и византинологии Славянского института Академии наук Чешской Республики греческо-старославянской картотеки, которые были отобраны мною во время командировок в рамках работ по проекту сотрудничества РАН и АН ЧР «Исследования в области палеославистики: сравнение греческой лексики со старославянской». Выражаю глубокую благодарность чешским коллегам за предоставленную мне возможность пользоваться уникальными материалами.

² Придерживаемся традиционного представления об этапах перевода греческого текста Евангелия на славянский язык, предполагающего первичность перевода апракоса, — несмотря на высказанные в [Евангелие от Иоанна 1998] аргументы в пользу первичности перевода тетра. Первоначально объем апракоса был, видимо, минимальный, хотя вопрос о его составе окончательно текстологами не решен. (По мнению Л. П. Жуковской, это был так называемый «праздничный» апракос [Жуковская 1976: 225 и сл.], по мнению С. Ю. Темчина — «пасхальный» апракос [Темчин 1997], и др.) Старославянские кодексы Ассеманиево евангелие и Саввина книга представляют нам тип краткого апракоса.

практикой использования первыми славянскими переводчиками славянской лексики, номинирующей понятия и жизненные реалии славян того времени и почерпнутой из народной славянской речи, появилась потребность в новой славянской лексике, способной обозначать понятия и реалии, ранее не известные или мало известные в славянском мире³. В ходе дальнейших переводов книг Св. Писания и другой теологической литературы эта потребность все более возрастала, а старославянский лексикон пополнялся как за счет заимствованной из народной речи обыденной славянской лексики, так и за счет новой, уже собственно старославянской лексики, создаваемой разными способами самими древними книжниками в целях наиболее адекватной передачи соответствующей лексики греческих оригиналов переводимых текстов. Так создавался лексический инвентарь, представляющий собой продукт словотворчества древних книжников и составляющий значительную часть старославянского лексического фонда, которую мы называем книжной старославянской лексикой.

Поскольку старославянский язык оказал — в большей или меньшей мере — влияние на последующее становление и развитие отдельных славянских литературных языков, вопрос о формировании старославянского лексического фонда чрезвычайно важен и в собственно лингвистическом, и в культурологическом аспектах. В последние годы попытка стратификации старославянской лексики была предпринята Т. И. Вендиной в монографии «Средневековый человек в зеркале старославянского языка» — в связи с поставленной в ней сверхзадачей «описания средневекового человека, предстающего перед нами в древнейших памятниках письменности (X–XI вв.) старославянского языка» [Вендина 2002: 5]. Автор дает «описание средневекового человека» ответами на вопросы «кто он?», «какой он?» и «что он делает?», объединяя таким образом в соответствующих главах книги старославянские существительные, прилагательные и глаголы в культурно значимые лексические группы. В нашем исследовании мы воспользуемся этой стратификацией старославянской лексики в целях дальнейшего ее изучения и

³ Потребность в новой лексике при переводе Евангелия наглядно была продемонстрирована Е. М. Верещагиным путем анализа славянского перевода Пролога Евангелия от Иоанна (И 1,1–17) [Верещагин 1997: 12–22].

рассмотрим несколько выделенных таким образом лексических групп, объединяющих наименования лица, тесно связанные как со славянским, так и с византийским культурным контекстом того времени. При этом мы делаем попытку использовать возможности уникальной греческо-старославянской картотеки Отдела палеославистики и византинологии Славянского института АН ЧР, позволяющей оперировать не только «греческими соответствиями»⁴ старославянской лексемы, но и «старославянскими соответствиями» в определенном круге рукописей греческой лексемы, применяя метод сопоставления греческой лексики со старославянской, в котором «отправным пунктом» является греческая лексема⁵. В своих представлениях о составе старославянского лексикона мы будем ориентироваться в первую очередь на словник «Старославянского словаря (по рукописям X–XI веков)» (далее Словарь 1994)⁶, фиксирующий наиболее надежно установленную часть старославянского лексического инвентаря (хотя далеко не полностью весь инвентарь — см., например, [Ефимова 2006: 24 и сл.]), привлекая, однако, материал самих старославянских рукописей и — на условиях, оговоренных нами в [Ефимова 2006: 27–30], — более поздних списков со старославянских протографов. Старославянский язык при этом понимаем как ранний этап общего литературного языка всех славян⁷.

⁴ Мы пользуемся общепринятым термином «греческое соответствие», хотя сознаем, что «соответствием» логичнее было бы называть старославянскую лексему, а не греческую.

⁵ Этот метод сопоставления не является абсолютно новым, так как уже многие годы используется в лексикографической практике авторами Словаря старославянского языка (SJS) при разработке частей словарных статей, указывающих синонимию.

⁶ Именно словник Словаря 1994 анализируется в монографии Т. И. Вендиной. В новом издании данного словаря, готовящемся в настоящее время в Славянском институте АН ЧР, в словник будет включена также лексика недавно открытых рукописей и частей рукописей, входящих в «старославянский канон». В своей работе мы опираемся также и на эту лексику по изданию [Indexy 2003].

⁷ Такое понимание феномена «старославянский язык» находим у Н. И. Толстого, называвшего — в русле отечественных традиций XIX – начала XX вв. —

Работая с материалом древнейших славянских рукописей, мы постоянно имеем в виду, что все известные «классические» старославянские рукописи X–XI вв. (рукописи «старославянского канона») представляют собой древнеболгарские списки, отстоящие по времени написания чаще всего на столетие и более от своего первого протографа (перевода) и содержат большее или меньшее количество как сознательных редакционных правок (в том числе и чисто языковых), так и спонтанных изменений, вносимых при переписывании текстов писцами. Тем не менее, палеослависты сходятся во мнении, что первоначальный этап становления старославянского языка в значительной мере отражен евангельскими старославянскими кодексами — апракосами Ассеманиевом евангелием и Саввиной книгой, тетрами Мариинским и Зографским евангелиями — и в несколько меньшей мере Синайской псалтырью; Сборник Клоца и Синайский евхологий отражают моравский период становления старославянского языка; Супрасльская рукопись, Зографские листки, Хиландарские листки, Зографский палимпсест несут на себе следы деятельности книжников Преславской школы письменности [Дограмаджиева 1981; Верещагин 1985 и др.⁸].

В упомянутой монографии Т. И. Вендиной дается анализ старославянского лексикона в объеме словника Словаря 1994 с позиций синхронного исследования, основной принцип которого — дихотомия старославянской лексики на «немотивированное» и «мотивированное». Данный принцип автор называет «антропологическо-ценностным подходом к мотивированному слову», поскольку, как она считает, «в языке словообразовательно маркируется то, что является культурно, социально или биологически значимо в сознании индивидуума, и словообразовательный акт возможен лишь

общий литературный язык всех славян, существовавший в XI–XVII вв. в совокупности разных «изводов», но в то же время единый, «древнеславянским языком», а ранний его этап IX–XI вв. — «старославянским языком» [Толстой 1988: 34–52].

⁸ Отражение старославянскими рукописями и более поздними списками со старославянских протографов разных этапов становления старославянского языка на примере употребления в них отадъективных наречий рассматривалось нами в [Ефимова 1999: 33–54].

тогда, когда он логически мотивирован потребностями человека, в основе которых лежат его ценностные ориентации» [Вендина 2002: 28]. Однако в последние годы в мировой лингвистике все более утверждается понимание того, что даже «живые» современные языки не поддаются полному описанию в терминах чистой синхронии, поскольку многие языковые явления в них не могут быть поняты вне исторической перспективы. Как пишет Р. Ласс, «Portions of apparent ‘synchronic’ states are relics of the historical processes that brought them into being, evolutionary scars on the present-day body» [Lass 1997: 14]. Тем более процедуры синхронного анализа представляются нам недостаточными в применении к старославянскому языку — языку, который изначально был создан специально с целью перевода книг Св. Писания на понятный христианизировавшимся славянам язык с языка греческого. Вслед за Е. М. Верещагиным мы считаем необходимым изучать старославянский язык в качестве литературного языка особого — средневекового — типа, имеющего своеобразные черты, отличающие его от современных славянских литературных языков (см., например, [Верещагин 1997; Верещагин 2001; Ефимова 2006] и др.). Средневековым типом старославянского языка обусловлен и состав представленной в старославянских памятниках лексики. Задачу особой важности как в лингвистическом, так и в культурологическом плане представляет определение границ в старославянском лексиконе слоя книжной лексики и выявление путей его образования. Формирование этого слоя в значительной мере проходило под влиянием византийской культуры, проявлявшимся в основном опосредованно через греческий язык оригиналов старославянских текстов. Как показывают предыдущие исследования, в слое книжной старославянской лексики можно выделить следующие основные ее разновидности: грецизмы-заимствования, попавшие в старославянский лексикон в процессе «текст → текст», т. е. непосредственно при переводе оригиналов с греческого языка⁹; славянские лексемы, уже существовавшие в

⁹ Под понятием «старославянский грецизм» мы имеем в виду заимствованную лексему, языком-источником для которой по отношению к старославянскому языку являлся греческий язык, — независимо от ее происхождения и путей проникновения в язык греческий. Как известно,

народной славянской речи, но претерпевшие операцию расширения семантического объема¹⁰ благодаря наличию в структуре их значений «точек соприкосновения» со структурой значений их греческих соответствий; новые лексемы, созданные самими древними книжниками по славянским словообразовательным моделям с помощью славянских словообразовательных морфем от славянских производящих основ, потребность в которых, однако, была обусловлена необходимостью адекватного перевода их греческих соответствий; новые лексемы, созданные самими древними книжниками по славянским словообразовательным моделям с помощью славянских словообразовательных морфем от производящих основ греческого происхождения [Ефимова 2007: 197–218]; новые лексемы, созданные путем разного типа калькирования греческих лексем; последние также создавались по славянским словообразовательным моделям [Ефимова 2007а].

Таким образом, происхождение значительной части старославянской книжной лексики так или иначе обязано влиянию языка греческих оригиналов переводимых на славянский язык текстов. Исходя из этого, к слою книжной лексики, по нашему мнению, следует относить не только лексемы, значения которых связаны с обозначением сложных понятий материальной и духовной культуры

небольшое количество грецизмов — наряду с латинизмами и германизмами — попало в старославянский язык из народной славянской речи. Эти грецизмы могли использоваться древними книжниками для перевода употребляемых в тексте греческих оригиналов лексем, имевших другое происхождение. Например, ст.-слав. **коуцниа**, образованное от ср.-греч. *κοῦκτιά*, переводит в Супрасльской рукописи греч. *τὸ βρεκτιά*, и т. п. [Ефимова 2006: 10; 248 и др.]. В своих исследованиях мы проводим принципиальное разграничение грецизмов, проникших в старославянский язык из народной славянской речи, и грецизмов, возникших в процессе «текст → текст» как относящихся к слою книжной лексики.

¹⁰ Операция расширения семантического объема славянского слова была определена Р. Вечеркой как *excessive semantic identification* [Večerka 1997: 368]. Фактически то же явление применительно к «терминологической лексике» было изучено в целом ряде работ Е. М. Верещагиным, который называет этот прием «транспозицией» (см., например, [Верещагин 1997: 40 и сл.]).

того времени, но и такие лексемы, которые в современных литературных языках на основании их значений относились бы к сфере обыденной лексики, но своим происхождением были обязаны непосредственному влиянию языка греческих оригиналов. Сделаем небольшое отступление и поясним наш тезис на примере лексемы **четврѣногъ**. В словарях она представлена как прилагательное [S-A 16; Словарь 1994: 778; SJS IV: 857], однако в старославянском лексиконе присутствует только в субстантивированной форме (ср. р. **четврѣногъ**, реже м. р. **четврѣногъ**) со значением '(четвероногое) животное'. Казалось бы, значение этой лексемы говорит о ее принадлежности к слою обыденной лексики. Известная с эпохи праславянского языка словообразовательная модель бессуффиксального сложения [ЭССЯ 2: 10–11] также, казалось бы, указывает на принадлежность ее к исконной славянской лексике, почерпнутой древними книжниками из народной славянской речи (ср., например, бессуффиксальное сложение **соухоржкъ**). Отметим, что «старым славянским сложением» считала **четврѣногъ** известный лексиколог и лексикограф старославянского языка Р. М. Цейтлин [Цейтлин 1977: 280]. Однако с нашей точки зрения для определения, к какому слою относилась старославянская лексема — книжной лексики или обыденной, не менее важным является изучение пути ее вхождения в старославянский лексикон. В данном случае посредством таких разысканий выясняется, что 1) лексема **четврѣногъ** в собственно старославянских рукописях X–XI вв. встречается только однажды — в Синайском евхологии, где употребляется в переводе Заповедей Св. отцов (XXXV, Евх 104а 16–17), вопрос о латинском оригинале которого остается на сегодняшний день открытым; 2) однако в старославянский лексический инвентарь она вошла, видимо, несколько раньше, при переводе Апостола, — как калька с греч. **тетράπους**, о чем свидетельствует ее употребление в старших списках Апостола (Деян 10,12; Деян 11,6; Рим 1,23 в Охр, Слепч, Христ, Толк, Струм, Шиш, Мат); 3) для перевода греч. **тетράπους** она употребляется и в паремейном тексте, о чем также свидетельствует ее употребление в старших списках Паремейника (Бытие 1,24 Григ, Зах, Лобк). На то, что **четврѣногъ** является именно калькой с греческого, а не исконной славянской лексемой, указывает и наличие в старославянском лексическом инвентаре гораздо более

частотных лексем **звѣрь**, **животъ** с тем же значением ‘животное’, вошедших в него из народной славянской речи, а также субстантивно употребляемого в ср. р. и м. р. прил. **животънъ**¹¹. Таким образом мы видим, что специфика исследования старославянского лексического фонда требует не только учета данных словообразовательного анализа с позиций синхронии, но и выяснения времени и путей вхождения в старославянский лексический инвентарь каждой лексемы, и это представляется нам не менее информативным, чем формальное разделение старославянской лексики на «немотивированное» и «мотивированное».

В упомянутой монографии «Средневековый человек в зеркале старославянского языка» Т. И. Вендина выделяет четыре группы наименований лица — «властвующих и управляющих», «молящихся», «сражающихся» и «трудящихся», что отражает «социальную структуру средневекового общества в зеркале старославянского языка» [Вендина 2002: 28–35]. В группу «властвующих и управляющих» включаются следующие существительные (либо «передающие общую идею власти», либо «указывающие на те или иные административные функции лица»): **властель**, **самовластьць**, **владъка**, **самодръжитель**, **самодръжьць**, **жоупанъ**, **палатини**, **палатинъ**, **приставъникъ**, **самъчии**, **стронтель**, **свъѣтъникъ**, **четвъртовластьникъ**, **четвъртовластьць**. К ним мы добавим также **воквода**, **вождь**, **игѣмонъ** и его вариант **гѣмонъ**, **игоуменъ**, **икономъ**, **старѣи**, **старѣишина**, **господь**, **господинъ**, **сановитъин**, **къназь**, **цѣсарь**, **миродръжитель**. Наш анализ этой группы показывает, что лексемы в ней сильно различаются своим «удельным

¹¹ В [Ефимова 2007а: 119] мы отмечали, что, по нашему мнению, критерием для признания лексемы калькой, помимо морфемной соотнесенности в предполагаемой паре «калькируемое — калькированное», можно считать принадлежность лексемы к слою книжных лексем, либо номинирующих понятия, предметы и явления, ранее незнакомые или малознакомые славянам, либо представляющих собой «избыточные» образования, созданные в условиях перевода или редактирования определенных текстов (т. е. в процессе отношений «текст → текст») при наличии в старославянском лексиконе лексем с тем же значением, вошедших в него в более ранних переводах, в том числе и из народной славянской речи.

весом» в старославянском лексиконе — не только своей частотностью, но и происхождением, и способами проникновения в старославянский язык.

Наиболее частотной в старославянских рукописях из указанных в этой группе является лексема **ВЛАДЪКА** (по данным Словаря 1994 — более 200 уп.). Об «укоренении» сущ. **ВЛАДЪКА** в старославянском языке свидетельствует большое число в последнем производных от **ВЛАДЪКА** слов: **ВЛАДЪЧИЦА**, **ВЛАДЪЧЬНЪ**, **ВЛАДЪЧЬСКЪ**, **ВЛАДЪЧЬСКЫ**, **ВЛАДЪЧЬСТВО**, **ВЛАДЪЧЬСТВОИ**. Нет сомнений, что сущ. **ВЛАДЪКА** вошло в старославянский лексический инвентарь из народной славянской речи и является «старой» славянской лексемой, восходящей к псл. **voldyka*, образованному с помощью суффикса *-k(a)* от основы на *-n-* [Фасмер I: 327]. Эта лексема «покрывала» довольно широкое семантическое поле с общей идеей ‘власти определенного лица’ (‘правитель, владыка’) и использовалась древними книжниками для перевода нескольких греческих соответствий с разной морфемной структурой: ἡγεμῶν начиная с евангельского стиха Л 21,12 (т.е. начиная с евангельского апракосного текста — самого раннего этапа становления старославянского языка), а затем также и δεσπότης (Л 2,29, в апостольском и паремейном тексте; такой перевод многократно встречается в Синайском евхологии, Супрасльской рукописи), ἡγεμόνος (Мт 2,6 Сав), κρατῶν (Супр 86,23). Существенно, что в старославянском лексиконе сущ. **ВЛАДЪКА** «конкурировало» для перевода этих греческих лексем в значении ‘правитель, владыка’ как с лексемами, почерпнутыми древними книжниками из народной славянской речи, так и с сугубо книжными лексемами. Так, в старославянских евангельских кодексах для передачи греч. ἡγεμῶν используется также грецизм **ИГЕМОНЪ** (Мт 27,2; 27,11; 27,14; 27,15; 27,21; 27,23; 28,14) и его вариант **ГЕМОНЪ** (Мт 27,11; 27,15; 27,21); в апостольском тексте для перевода греч. ἡγεμόνος употребляется также грецизм **ИГОУМЕНЪ**¹². Лексема **ИГОУМЕНЪ** закрепляется затем в более узком

¹² Грецизм сохраняют большинство старших списков Апостола, отражающих первоначальный перевод: в Евр 13,7 Ен, Охр, Слепч, Струм_(bis) — 61b 7 и 67b 23), Шиш; в Евр 13,17 Охр, Слепч, Струм, Шиш; в Евр 13,24 Слепч. В Матичином апостоле видим результат правки текста преславскими

значении ‘игумен, настоятель монастыря’, что отражено в Синайском евхологии и Супрасльской рукописи, и используется также для перевода греч. ὀρχιμανδρίτης . Ср.:

πάντων συνελθόντων ἱερέων τε καὶ κληρικῶν, μοναχῶν τε καὶ ὀρχιμανδριτῶν καὶ λαϊκῶν ... ὥστε ἐπιτελέσαι ἑορτὴν μεγάλην ...¹³

— **ВСИ БО СЪШЕДЪШЕ СД ПОПОВЕ ЖЕ И КЛИРИЦИ . ОБЛАШИ ЖЕ И ЧРЪНОРИЗЪЦИ . И ИГОУМЕНИ СЪТВОРИША ПРАЗДЪНИКЪ ВЕЛИКЪ .** Супр 219,21.

Начиная с текста тетраевангелия (Мк 13,9; Л 20,20) для перевода греч. ἡγεμών используется и «старое» бессуффиксальное сложение **ВОКВОДА** в значении ‘правитель, владыка’, структура значений которого пересекается таким образом со структурой значений сущ. **ВЛАДЪКА**. В Супрасльской рукописи мы насчитываем 73 случая перевода греч. ἡγεμών лексемой **ВОКВОДА**. В той же рукописи **ВОКВОДА** употреблено и при переводе греч. ἡγουμενος (Супр 262,16).

В тексте тетраевангелия (Л 22,26 в Зогра и Мар) ἡγουμενος переводится субстантивированной формой компаратива **старѣи** (от прил. **старѣ**) в значении ‘старший, главный’, а в Супрасльской рукописи для передачи греч. κρατῶν используется сущ. **старѣишина** (Супр 48,13–14) — «старое» образование с суффиксом -in(a) от основы косвенных падежей компаратива **старѣи**. Сущ. **старѣишина** для старославянского языка является высокочастотной лексемой (по данным Словаря 1994 — 49 уп.) и в значении ‘начальник, старейшина, глава’ используется для перевода целого ряда греческих соответствий различной морфемной структуры: ὄρχων (Супр 361,14; Супр 361,17), ὄρχηγός (Супр 39,23), ὁ πρῶτος (Мк 6,21; Супр 17,6),

книжниками: в Евр 13,7 — **наставьникъ**; в Евр 13,17 и Евр 13,24 — **старѣишина** (ср. перевод лексемой **старѣишина** греч. κρατῶν в Супр 48,13–14:). В Христинопольском апостоле во всех этих чтениях грецизм заменен на русизм **вожь**.

¹³ Греческий текст в работе цитируется по изданиям [Merk 1984; Nestle 1950; Rahlfs 1952; Frček 1933–1939; Заимов, Капалдо 1982–1983; Минчева 1978].

ὁ προεστῶς (Евх 87а 17; Супр 200,3; Зогр-лл 2b 10), ἀφηγούμενος (Супр 37,28). Например:

τινὰ ἄνθρωπον σφαλέντα καὶ καταδίκη ὑπὸ ἄρχοντος βληθέντα ... δι' ἑαυτοῦ πρόσεισι, καὶ τὸν ἄρχοντα παρακαλεῖ τῆς συμφορᾶς ἀπαλλαγῆναι;
— кого чловѣка съгрѣшив'ша . и въ тѣмницѣ [въ тѣмницѣ] вѣврѣженоу бѣвѣшоу старѣшиноу ли приходитъ самъ къ старѣшинѣ ти молитъ сѧ . да бѣ напасти избѣлѣ . Супр 361,12–18.

Судя по разночтению в Мф 2,6, для перевода греч. ἡγούμενος в значении 'правитель, владыка' могла быть употреблена и «старая» славянская лексема **ВОЖДЬ**. Такой перевод видим в Ассеманиевом евангелии — при том, что в Саввиной книге сохраняется перевод **ВЛАДЪКА**. Ср.:

ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.
— ис тебе бо изидетъ влѣка . иже оупасетъ люди моѧ и избѣлѣ . Сав 141b;
— ис тебе бо изидетъ вождь . иже оупасетъ люди своѧ илѣ . Ас 134a¹⁴ .

Значение 'господин, хозяин' являлось одним из значений исконнославянской лексемы **ГОСПОДЬ**, архаичного сложения по происхождению [ЭССЯ 7: 61–63), а также основным значением образованного от него с суффиксом -in(ъ) сущ. **ГОСПОДИНЪ**. Оба эти существительные многократно используются древними книжниками для передачи греч. δεσπότης, что говорит о частичном пересечении структуры их значений со структурой значений сущ. **ВЛАДЪКА**. Ср., например, текст из Супрасльской рукописи, в котором наблюдается употребление и лексемы **ВЛАДЪКА**, и лексемы **ГОСПОДИНЪ** при передаче греч. δεσπότης в отношении одного и того же лица:

¹⁴ В Зографском и Мариинском евангелиях начало Евангелия от Матфея утрачено. В Остромировом евангелии, однако, сохраняется перевод **ВЛАДЪКА** (Остр 251г 7).

τῷ ἀχρείῳ δούλῳ ἐστρατεύθητε, ὅς τῇ τοῦ δεσπότου ἀποστασία ἑαυτοῦ δούλους τύπτει καὶ φονεύει, ὃν ὁ δεσπότης ἐλθὼν διχοτομήσει.

— непотрѣбноуоумоу равоу воини ксте . кже отъшъдъшоу вл̄ѣцѣ . виктъ клеврѣтты своа . и оубивактъ . кгоже господинъ пришедъ на полты прѣсѣчетъ . Супр 107,26–30.

Для перевода греч. ἡγεμών и δεσπότης древние книжники использовали также «старые» славянские заимствования. Так, в Супрасльской рукописи мы насчитываем 33 случая перевода греч. ἡγεμών «старым» германизмом **кѣназь**¹⁵. Встречается перевод греч. ἡγεμών как **кѣназь** и в тексте Апостола (I Пет 2,14 Мат, Шиш, Гил; календарь Ен bis). Для перевода греч. δεσπότης мог быть использован и «старый» латинизм **цѣсарь**¹⁶ (Супр 100,12). Сущ. **цѣсарь** — одно из самых частотных в старославянском лексиконе (по данным Словаря 1994 — более 500 уп.), и структура его значений также частично пересекается со структурой значений сущ. **владыка**.

Относительно малочастотными лексемами являются **властель**, **строитель**, **приставникъ**, **сѣвѣтникъ**. Эти существительные образованы по славянским моделям с помощью славянских продуктивных суффиксов -tel(ь) и -bnik(ь) от славянских производящих основ. Их словообразовательные мотивации объясняются на славянской почве, а морфемные структуры не аналогичны структурам их греческих соответствий¹⁷, однако вполне вероятно, что данные

¹⁵ О происхождении лексемы **кѣназь** см. [ESJS 7: 393].

¹⁶ Лексема **цѣсарь** считается латинизмом, проникшим в славянский, возможно, через посредство готского [ESJS 2: 93].

¹⁷ Из этих существительных только **сѣвѣтникъ** на этапе вхождения в старославянский лексикон соответствовал суффиксальному греческому сущ. βουλευτής, однако **сѣвѣтникъ** относится к отыменным образованиям, характерным для «сферы действия» суффикса -bnik(ь), тогда как βουλευτής — к отглагольным образованиям (от гл. βουλεύω), характерным, в свою очередь, для «сферы действия» суффикса -τής [Chantraine 1933: 320]. В старославянском лексическом инвентаре греческим существительным с суффиксом

слова были образованы самими древними книжниками. Особенно это вероятно по отношению к образованному с суффиксом *-tel(ь)* сущ. **властель**¹⁸. Сущ. **властель** ‘владелец’ (мн. ч. ‘начальство, власти’) появляется в евангельском апракосном тексте в Л 7,8 для перевода греч. ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος ‘подвластный’ (ср. ἡ ἐξουσία в значении ‘власть’), однако в Саввиной книге, известной своими инновациями в сторону приближения ее языка к народной славянской речи¹⁹, сущ. **властель** заменяется на сущ. **владтыка**. Ср.:

καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ...
 — **лво азъ чкъбъ есмь подъ властели. оучиненъ** . Зоґр,
 Мар, Ас;
 — **нво азъ чкъбъ есмь подъ влѣдами оучиненъ** Сав.

В дальнейшем лексема **властель** «закрепляется» в старославянском языке (встречается в Синайском евхологии, Супрасльской рукописи), но остается малочастотной.

Сущ. **строитель** известно по Супрасльской рукописи, содержащей относительно поздние переводы и отражающей правку текстов преславскими книжниками. По своему значению лексема **строитель** относится к группе «властвующих и управляющих» лишь частично: из четырех случаев ее использования в Супрасльской рукописи дважды она употребляется в значении ‘создатель’ и также дважды — в значении ‘управляющий (в монастыре)’ для перевода двукорневого композита οἰκονόμος. Немаловажно при этом то, что в значении ‘управляющий (в монастыре)’ сущ. **строитель** появляется только в «Житии Иоанна Молчаливого» — одном из произведений Супрасльской рукописи, в которых наиболее часто встречается лексика, характерная для узуса преславских книжников [Благова 1980: 121–125; Дунков 1985: 11–20; Ефимова 1991: 76–77]. Ср.:

- τῆς часто соответствуют также отглагольные существительные с суффиксом *-tel(ь)*, но это соответствие не было обязательным [Ефимова 2006: 63 и сл.].

¹⁸ О «молодости» старославянских существительных с суффиксом *-tel(ь)* см. [Ефимова 2006: 60–61].

¹⁹ Ср., например, более частое употребление союза **а** в Саввиной книге вместо частицы в функции союза **же** в других кодексах, более точно следующих греческой конструкции с частицей *δέ* [Ефимова 1997: 65–66].

ὁ μὲν οὖν μακαρίτης Σάβας τοῦτον δεξάμενος παραδίδωσιν
τῷ οἰκονόμῳ τῆς λαύρας
— **блженикъ оубо сава того примъ. прѣда и стронтелю**
манастырьскоуоумоу . Супр 283,12–13.

В этом же житии для перевода греч. οἰκονομία употреблено и производное от **стронтель** с суффиксом -ьstv(о) сущ. **стронтельство** ‘управление, обязанности настоятеля монастыря’ (Супр 285,23 и 285,26). Как видим, преславские книжники использовали сущ. **стронтель** для перевода греч. οἰκονόμος в его узком значении, связанном с управлением монастырским хозяйством, отделяя по каким-то причинам это понятие от более широкого понятия ‘управляющий’, — несмотря на то, что начиная с апракосного текста Апостола и текста тетраевангелия для перевода οἰκονόμος в этом более широком значении ‘управляющий’ уже использовалось существительное с суффиксом -ьпik(ь) **приставьникъ**. Ср. в Л 16,1:

Ἀνθρώπος τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ.
— **Чкѣ етеръ вѣ богатъ . иже имѣаше приставьникъ . и**
тѣ оклеветанъ бысть к ѿнемоу . ѣко растачаѣ имѣньѣ
его . Зогр, Мар.

Лексема **приставьникъ**, в свою очередь, вошла в старославянский лексикон на самом раннем этапе становления старославянского языка — в тексте Евангелия-краткого апракоса, где использовалась для перевода греч. ἐπίτροπος в значении ‘управляющий’. Ср. в Мт 20,8:

λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ·
— **гѣа гднѣ винограда . къ прѣставѣнікоу своемуу** . Ас, Сав,
Мар.

В тексте тетраевангелия οἰκονόμος ‘управляющий’ переводится также и грецизмом **икономъ** (Л 16,8 Зогр, Мар)²⁰. Судя по сохранив-

²⁰ Интересно, что, по наблюдениям Р. М. Цейтлин, в Вукановом евангелии на **стронтель** заменяются и **приставьникъ** (в Л 16,1 и 3), и **икономъ** (в Л 16,8) [Цейтлин 1972: 261].

шемуся тексту в Слепченском, Христинопольском, Толковом 1220 г., Шишатовском списках Апостола, такая же передача греч. οἰκονόμος грецизмом **икономъ** была в первоначальном переводе Рим 16,23, тогда как в Матичином и Толстовском списках в этом месте — сущ. **строитель**, что мы предполагаем результатом правки апостольского текста преславскими книжниками²¹. Ср.:

ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἑραστός ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως
— **цѣлюкѣть вы ерастъ**, **икономъ градскыи** Христ,
Слепч, Толк, Шиш;
— **цѣлюкѣть вы красть**. **строитель града всего**. Мат, Толст.

Что же касается сущ. **сѣвѣтъникъ**, то к группе «властвующих и управляющих» его также можно отнести лишь частично: в соответствии со значениями мотивирующего его сущ. **сѣвѣтъ** ‘совет’ и ‘Совет, собрание’, оно имело не только значение ‘член Совета’ (переводя при этом греч. βουλευτής и πρωτεύων τοῦ βουλευτηρίου), но и значение ‘советчик’, т. е. семантически связанное с гл. **сѣвѣтовати** ‘советовать’ [Ефимова 1996: 22]. Тем не менее со значением ‘член Совета’ сущ. **сѣвѣтъникъ** употребляется для перевода греч. βουλευτής уже в тексте Евангелия-краткого апракоса. Ср. в Мк 15,43:

ἐλθὼν Ἰωσήφ ὁ ἀπὸ Αῤῥιμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής...
τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πιλάτον καὶ ἠτήσατο τὸ σῶμα
τοῦ Ἰησοῦ.
— **приде иосифъ отъ ариматеѣ . благообразнъ**
сѣвѣтъникъ... . и дрѣзнѣвъ вниде къ пилатоу . и проси
тѣла исѣа. Зогр, Мар, Ас.

По значению к сущ. **сѣвѣтъникъ** ‘член Совета’ близко субстантивно употребляемое в Супрасльской рукописи прил. **сановитъи** ‘высокопоставленный чиновник’ — образование с суффиксом -ovit- от сущ. **санъ** ‘сан, чин, ранг’. Полагаем, что субстантивно употребляемое **сановитъи** также следует отнести к группе «властвующих и управляющих». Ср.:

²¹ Об отражении правки апостольского текста преславскими книжниками в списках Апостола см. также в [Ефимова 2002].

приде съ множествомъ воєводъ и казньцъ и жоупанъ . и сановитъыми... Супр 561,25²².

Сущ. **самъчни** ‘начальник’ — гапакс²³ Супрасльской рукописи (Супр 297,30). По своему происхождению **самъчни** — тюркизм, введенный в старославянский лексический инвентарь преславскими книжниками. Есть основания полагать, что такие тюркизмы воспринимались преславскими книжниками в качестве слов народной славянской речи²⁴. В сущ. **самъчни** последовательность фонем -ъсїї была, видимо, осмыслена в качестве значащей части слова, т. е. в качестве словообразовательного суффикса -ъсїj(i)/-ъсїj(i) [Ефимова 2006: 172–173], и только в этом смысле **самъчни** можно считать «мотивированным словом». С деятельностью преславских книжников связано проникновение в старославянский язык значительной части старославянских тюркизмов, при этом преславские книжники вводили тюркизмы в тексты несмотря на наличие в старославянском лексиконе довольно частотных (т. е. «укорененных» в языке) слов с тем же значением [Ефимова 2005: 34]. В данном случае, возможно, использование тюркизма **самъчни** было спровоцировано желанием книжников адекватно перевести лексему μεζότερος греческого оригинала, отделяя ее от других лексем группы, так как на начальном этапе становления общеславянского литературного языка мы не видим примеров перевода греч. μεζότερος другими старославянскими существительными, входящими в группу «властвующих и управляющих», — хотя значение ‘начальник’ покрывалось семантическими полями нескольких из них²⁵. Не исключено, что тюркизмом

²² Текст из «Жития Анина», греческий оригинал к которому не найден.

²³ Широко распространенный в палеославистике термин «гапакс» — от греч. ἄπαξ ‘однажды употребленный’.

²⁴ Как писала Р. М. Цейтлин, слова «с формантом -чни» «вошли непосредственно из живой речи и связаны с восточноболгарским ареалом» [Цейтлин 1977: 124].

²⁵ Ранее мы уже неоднократно обращали внимание на стремление древних книжников соблюдать однозначное соответствие: «каждой греческой лексеме соответствует “своя” старославянская лексема» [Ефимова 1997: 63]. Эта тенденция отмечалась русскими палеославистами еще в конце XIX в.

является и лексема **жоупанъ**, также введенная в старославянский лексикон преславскими книжниками: в собственно старославянских рукописях она встречается всего лишь три раза, и все три ее употребления приходятся на «Житие Анина» в Супрасльской рукописи (Супр 561,7 и 24; 562, 26), т. е. на произведение, в котором палеослависты отмечают наиболее характерные черты, свойственные языку преславских книжников [Благова 1980; Дунков 1985: 11–20; Ефимова 1991: 76–77]²⁶. Обычно это слово, довольно широко распространенное в славянских языках, считают производным от о-с. *žura* [Фасмер II: 66; Vaillant 1974: 616²⁷], но есть и предположение о тюркском ее происхождении [Фасмер II: 66]. В пользу последнего говорит путь проникновения сущ. **жоупанъ** в старославянский лексикон — в результате деятельности преславских книжников.

Никак нельзя в рамках старославянского языка отнести к «мотивированным» словам лексемы **палатини** ‘сановник, придворный’ и **палатинъ** ‘то же’ (как, видимо, считает Т. И. Вендина [Вендина 2002: 29]). Здесь речь может идти только о разных вариантах адаптации заимствования. Общим источником этих старославянских лексем может быть лат. *palatinus* (как в некоторых других языках, см. [Фасмер III: 190]), однако более вероятным нам представляется отнесение их к книжным гречизмам: обе лексемы встречаются только в «Житии Анина» в Супрасльской рукописи, и, несмотря на то, что греческим оригиналом этого жития мы не располагаем, вполне правдоподобно предположить, что как **палатини**, так и **палатинъ** являются попытками передачи в процессе «текст → текст» греч. Παλατῖνος ‘Palatine’ [Liddell-Scott: 1291]²⁸.

²⁶ Как было сказано выше, греческий оригинал «Жития Анина» не найден, поэтому греческое соответствие в нем нам неизвестно. В «Законе судном людем» **жоупанъ** используется для перевода греч. ἄρχων и ταβουλλάριος [SJS I: 616].

²⁷ Видимо, не сомневается в производности сущ. **жоупанъ** от ***жоупа** и Т. И. Вендина, рассматривающая его среди мотивированных лексем: «ср. **жоупанъ** ‘глава жупы’» [Вендина 2002: 29].

²⁸ Греч. Παλατῖνος относится, несомненно, к латинизмам, широким потоком влившимся в греческий язык эпохи Византийской империи (см., например, [Dagron 1969: 54–55]). Следующим этапом «освоения» этого

Значительное место среди лексем группы «властвующих и управляющих» занимают кальки с греческого: **САМОВАЛАСТЬЦЬ**, **САМОДРЪЖИТЕЛЬ**, **САМОДРЪЖЬЦЬ**, **ЧЕТВЕРЬТОВАЛАСЬНИКЪ**, **ЧЕТВЕРЬТОВАЛАСЬЦЬ**. Однако все эти двукорневые композиты малочастотны и употребляются в «конкуренции» с другими словами данной группы. Лексемы **САМОВАЛАСТЬЦЬ**, **САМОДРЪЖИТЕЛЬ**, **САМОДРЪЖЬЦЬ** — кальки с греческого композита αὐτοκράτωρ (ср. αὐτός ‘сам’, κρατέω в значении ‘править, управлять’), последний имеет также примеры перевода «старым» латинизмом **ЦЪСАРЬ**. Ср.:

ὄσοι εἰσὶν στρατιῶται ὑπὸ τὸν αὐτοκράτορα...

— **КАНКО СЖТЪ ВОИНИ ПОД ЦРѢМЪ** . Супр 71,11;

или:

καὶ τοὺς αὐτοκράτορας ὑβρίσαι

— **И ТЪХЪ САМЪХЪ ЦРЪ ОУКАРАТИ** . Супр 102,23.

Кальки **САМОВАЛАСТЬЦЬ** и **САМОДРЪЖИТЕЛЬ** — гапаксы Супрасльской рукописи, причем **САМОВАЛАСТЬЦЬ** представляет собой сложение на базе имени (т. е. на базе сущ. **ВЛАСТЬ**), нехарактерное для словообразовательной модели суффиксально-сложного способа образования с суффиксом -ЬС(Ь), где участвуют, как правило, опорные компоненты глагольного происхождения [Ефимова 2006: 81–83]. В старославянском лексиконе наиболее «укорененной» из калек с греч. αὐτοκράτωρ оказалась калька **САМОДРЪЖЬЦЬ**, образованная на базе гл. **ДРЪЖАТИ**, по своей словообразовательной модели лучше всего соответствующая тенденциям в старославянском калькировании [Ефимова 2006: 339]: она употребляется в Супрасльской рукописи неоднократно, причем в разных произведениях (в «Житии Павла и Юлиании», в «Житии Савина», в «Житии Исакия»);

слова старославянским языком следует, возможно, считать сущ. **ПОЛАТЪНИКЪ** ‘придворный; тот, кто служит во дворце византийского императора’, встречающееся в переводе Хроники Иоанна Малалы (ὕπό τινος τῶν τοῦ παλατίου — **НЪКТО ОТ ПОЛАТНИКЪ** [СлРЯ XI–XVII 16: 195–196]), как образованное с суффиксом -ЬНИК(Ь) от греческой основы *παλατ-*. Более вероятно, однако, что непосредственно мотивирующим словом здесь было сущ. **ПОЛАТА** (греч. τὸ παλάτιον), употребляющееся уже в Супрасльской рукописи.

встречается лексема **самодръжьць** и в рукописях, восходящих к старославянским протографам (Изб 1073 60в 6–7; Изб 1073 61а 19; Шест 226а 25; 214с 4).

Композиты **четвьртовластьникъ** и **четвьртовластьць** — кальки с греч. **тетраόρχης** (ср. **тетράς** ‘четыре’, **тетράφυλος** ‘разделенный на четыре филы’, **όρχή** в значении ‘управление, власть’) — появляются в тексте тетраевангелия (**четвьртовластьникъ** — в Л 3,19, **четвьртовластьць** — в Л 9,7). Эти кальки следует, видимо, рассматривать как попытки заменить грецизм **тетраархъ** (вариант **тетрархъ**), который вошел в старославянский лексикон также в переводе Евангелия (Мт 14,1 в Зогра и Мар).

К указанным пяти калькам следует добавить и двукорневой композит **миродръжитель** ‘владыка мира’ — кальку с греческого композита **κοσμοκράτωρ** (ср. **κόσμος** в значении ‘мир, свет, земля’, **κρατέω** в значении ‘править, управлять’). Эта лексема с контекстным значением ‘один из правителей нашего мира’ встречается в Синайском евхологии в цитате из Апостола (Евх 93б 24, Ефес 6,12).

Таким образом, анализ происхождения, а также времени и путей вхождения в старославянский лексикон и дальнейшего употребления в рукописях существительных группы «властвующих и управляющих» показывает, что среди старославянских лексем, ее составляющих, находятся как высокочастотные лексем, так и малочастотные и гапаксы старославянских рукописей, как мотивированные лексем и кальки с греческого, так и немотивированные. Среди последних — как латинизмы, германизмы и тюркизмы, почерпнутые древними книжниками из народной славянской речи, так и книжные грецизмы, возникшие в процессе перевода (т. е. в процессе «текст → текст»). Среди мотивированных лексем — как «старые» лексем с непродуктивными суффиксами (**владъика**) и архаичные сложения (**вожвода**, **господь**), так и новые образования, созданные по славянским словообразовательным моделям, возможно, самими книжниками (**властель**, **стронтель**). Кальки были созданы, безусловно, самими книжниками, также по славянским словообразовательным моделям. Проведенный выше анализ «взаимоотношений» слов внутри этой лексической группы выявляет интересный факт, что, несмотря на ее многочисленность, создаваемую за счет ввода в старославянский лексический инвентарь новых книжных лексем, в большинстве

случаев древние книжники старались обходиться при переводе «старыми» лексемами (**владѣка, вождо, кѣназь, цѣсарь**), о чем свидетельствует высокая частотность последних *versus* низкая частотность новой лексики. Эта тенденция не отменяла, однако, стремления книжников к наибольшей лингвистической точности и адекватности перевода (ср., например, стремление к дифференциации по значению лексем **приставьникъ, икономъ** и **строитель** при переводе греч. οἰκονόμος).

В группе «молящихся» Т. И. Вендина выделяет три «блока» имен: 1) с «общим названием священнослужителей»: **жьрьць, законьникъ, клиросьникъ, молитвьникъ, причтьникъ, сватитель, свашеникъ, свашенъин, старьць, чиститель, чрьноризць, чрьньць**; 2) «с названиями их духовных званий»: **архидиаконъ, архиепископъ, архисинагогъ, диакониса, нгоумениа, таньникъ**; 3) «с названиями отшельников»: **оходьникъ, ошьльць, съвъздрьжьникъ, троудьникъ, постьникъ, поустыньникъ, поустыньнъ, стльпникъ**. Не будучи полностью согласными с таким распределением старославянским лексем в данной группе по блокам, выясним их «удельный вес» в старославянском лексиконе.

Основное греческое соответствие имен «с общим названием священнослужителей» — ἱερεύς. Хотя ἱερεύς в греческих оригиналах старославянских текстов служит наименованием священнослужителей как христианской церкви, так и нехристианской, мы будем, учитывая возможное стремление древних славянских книжников к дифференциации священнослужителей при их номинации, считать этот признак в составе значений рассматриваемых лексем существенным. Среди лексем, представляющих собой блок «общих названий священнослужителей», наиболее частотными в старославянском инвентаре оказываются грецизм **икреи**/вариант **икрѣи** (по данным Словаря 1994 — 43 уп.) и «старый» германизм **попъ** (по данным Словаря 1994 — 76 уп.)²⁹. Грецизм **икреи/икрѣи** входит в старославянский лексикон начиная с самых первых переводов, с текста Евангелия-краткого апракоса, и, как выявляется из

²⁹ Эти лексемы Т. И. Вендиной не указываются — видимо, как «немотивированные».

контекстов, используется чаще для наименования священнослужителя нехристианской (иудейской) веры, хотя в некоторых случаях и для наименования священнослужителя христианской церкви. Ср.:

οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ... τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὐς οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν...εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις;

— **нѣстѣ ли чѣли чѣто сътвори дѣвѣ... хлѣбы прѣдъложениѣ сънѣстѣ . ихъже не достоинно емоу бѣ вѣсти... тѣкъмо нереомъ единѣмъ .** Мт 12,4 Мар, Зогр;

[Κατήχησις σύντομος λαμβάνειν μέλλοντος σχήμα μοναχοῦ] ἐπερωτᾷ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς λέγων·

— **И по сѣм̄ приводаѣ хотѣцааѣ пострѣци и въпрашаеѣ и церѣи глѣ .** Евх 86b 17 (чин пострижения).

«Старый» германизм **попъ**³⁰ появляется в Синайском евхологии и Супрасльской рукописи, т. е. в старославянских рукописях, содержащих несколько более поздние переводы, где используется для номинации священнослужителя только христианской веры. Например:

— **Попъ творитъ пакы моѣ младенцю .** Евх 8a 4.

В единственном случае, когда речь идет о священнослужителе иудейской веры (реминисценция синоптических евангельских стихов Мт 27,1 и Мк 15,1), дается уточнение **попове жидовьсци**:

о немъ же заоутра съвѣтъ дѣаша старѣшинны и попове жидовьсци и старьци людѣсци . Евх 49a 11.

Ср. в Мт 27,1:

Πρωῖας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ.

— **Ютроу же бывъшоу . Съвѣтъ сътвориша вси архиереи и старци людѣсци на нѣа .** Мар, Ac bis, Cав bis.

³⁰ Слав. **поръ** < др.-в.-н. *pfaffo* ‘поп, священник’ [Фасмер III: 326]. По мнению К. А. Максимовича, эту лексему следует признать моравизмом [Максимович 2005: 140], что, возможно, справедливо в отношении старославянского лексикона.

В Супрасльской рукописи лексема **попъ** используется как для перевода греч. ἱερεύς, так и греч. πρεσβύτερος, конкурируя в последнем случае с грецизмом **презвнтеръ**. Этот грецизм встречается также и в календаре Ассеманиева евангелия, но в варианте **прозвнтеръ**. В большинстве случаев сущ. **попъ** употребляется для наименования священнослужителя вообще. Так, например, в следующем пассаже из гомилии № 31 Супрасльской рукописи имеется, очевидно, в виду любой священнослужитель (греч. ἱερεύς):

Σὺ δὲ, ὦ ἄνθρωπε, εἰ διὰ τοῦτο οὐ βούλει προσελθεῖν τῇ μετανοίᾳ, ὅτι ἄνθρωπός ἐστιν ὁ ἱερεὺς ἁμαρτωλός, μηδὲ βαπτισθῆς·

— **Нъ ѡ чловѣче аште сего дѣла не хоштеши прити на показанъ . како чловѣкъ кетъ попъ грѣшнъ . то и не крѣсти са . Супр 361,25.**

Такое же, видимо, значение наименования любого священнослужителя имеет в той же гомилии лексема **попъ** и при переводе греч. πρεσβύτερος:

Ἐγὼ ἔχω τῷδε τῷ πρεσβυτέρῳ προσελθεῖν, καὶ ἔξομολογήσασθαι... τὰς ἁμαρτίας μου, ...

— **мнѣ ли кетъ пришѣдѣше къ семоу попоу ти исповѣдати грѣхы свои . Супр 358,19.**

Однако при переводе греч. πρεσβύτερος лексема **попъ** может использоваться и для наименования лица как обладателя определенной церковной иерархической степени или должности. Ср.:

ἐπίσκοπος δὲ ἤδη χειροτονηθεὶς πρεσβύτερος νῦν γενέσθαι οὐ δύναται

— **епискоупъ бо оуже поставькнъ нынѣ попъ не можетъ бытъ . Супр 287,23.**

Или:

πολλοὺς τῶν νεοφωτισθέντων κατέστησαν πρεσβυτέρους καὶ διακόνους. Τὸν δε Βιτάλιον ποιήσαντες ἐπίσκοπον, ...

— **и многы крѣштенныа отъ мжченика . постави попы и диакты . и виталиа постави епискоупа . Супр 236,27.**

Грецизм **презвѣтеръ** используется в Супрасльской рукописи для наименования лица как обладателя церковной иерархической степени или должности:

μετακόλεσαι δὲ Ἀχιλλῶν καὶ Ἀλέξανδρον τοὺς
πρεσβυτέρους, ... αὐτοὶ ἐκ διαδοχῆς τὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου
θρόνον ἐμπιστευθήσονται·

— **призови же ахиллѣ и александра оба презвѣтера та
прѣкмлета по радѡу епискоупъскыи столъ .** Супр 187,20³¹.

Довольно частотная лексема с суффиксом -ЬС(Ь) **жьрьць** (по данным Словаря 1994 — 17 уп.), почерпнутая, видимо, древними книжниками из народной славянской речи, в старославянском лексиконе X–XI вв. относится, главным образом, к священнослужителям нехристианской веры. В Супрасльской рукописи она используется для номинации языческих жрецов, необходимость в которой диктуется содержанием текстов. Например:

Ἐτερος δὲ τις ἱερεὺς... λέγει «... οὐ δύναμαι ἀνοῖξαι ἄνευ
θυμιάματος καὶ σπονδῆς, μεγάλη γάρ ἐστιν ἁμύνη παρὰ
τῷ... θεῷ Ἀσκληπίῳ»

— **инъ же нѣкто жьрець ... глагола . «... не мож
отврѣсти бесъ ѡмыяна и жрьтвы . великъ бо гнѣвъ
кстѣ отъ бога асклипия .»** Супр 228,23.

Вместе с тем терминологические словосочетания **старѣшина жьрьцемъ** и **старѣшина жьрьчскъ** (с образованным от сущ. **жьрьць** притяжательным прил. **жьрьчскъ**) в практике преславских книжников используются для перевода греч. ὄρχιερεὺς, т. е. для номинации иерарха иудейской церкви. Ср. употребление грецизма

³¹ Интересно, что в Житии Пиония лексема **презвѣтеръ** употребляется и для наименования лица, имеющего должность в еретической церкви. Ср.:

Ἀνώρθωσαν οὖν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου, καὶ λοιπὸν μετὰ ταῦτα καὶ
πρεσβύτερόν τινα Μητροδώρον τῆς αἰρέσεως τῶν Μαρκιωνιστῶν.

— **поставиши оубо кго (т. е. Пиония. — В.Е.) на дрѣвѣ . таче по
томъ и пресвѣтера кокго митродора вѣрты маркианскыи .**
Супр 141,9–10.

архирей в Мт 26,14 и реминисценцию этого евангельского стиха в Супрасльской рукописи:

Τότε πορευθεῖς... Ἰούδας Ἰσκαριώτης πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς εἶπεν· τί θέλετέ μοι δοῦναι, καὶ γὰρ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν;

— **Тѣгда шьдѣ... юда искаріотскы . къ архиреомъ рече . чѣто хоштете ми дати . ꙗ азъ прѣдамъ и .** Зогр, Мар, Ас, Сав;

— **Тѣгда шьдѣ... нюда искаріотинъ . къ старѣишинамъ жъречьскамъ . чѣто ми хоштете дати . ꙗ азъ прѣдамъ и .** Супр 407,27³².

Греческим сущ. ἱερεὺς и ἀρχιερεὺς в старославянском лексиконе соответствовало также несколько малочастотных лексем, созданных, видимо, самими древними книжниками. К ним относятся два существительных с суффиксом -tel(ь) — **сватитель** и **чиститель**, субстантивно употребляемое адъективированное причастие **свщении** и образованное от него с суффиксом -ik(ъ) сущ. **свщеникъ**. Из этих лексем наиболее «укорененной» в старославянском лексическом инвентаре оказалось сущ. **сватитель**, однако ни в евангельском тексте, ни в тексте Псалтыри оно не встречается. Трижды **сватитель** употребляется в Супрасльской рукописи и многократно (пять раз) в календаре Ассеманиева евангелия. Часто встречается сущ. **сватитель** и в более поздних списках со старославянских преславских протографов. Так, в Изборнике Святослава 1073 г. сущ. **сватитель** употреблено 39 раз, в то время как сущ. **чиститель** — лишь один раз (л. 185в 25–26, при наименовании первосвященника Ахимелека). Об «укоренении» сущ. **сватитель** в старославянском лексиконе свидетельствует и наличие в нем образованного от **сватитель** с суффиксом -ьsk- прил. **сватительскъ**, а в более поздних списках со старославянских протографов и других производных (например, в Изборнике Святослава 1073 г. помимо прил. **сватительскъ** встречаются также прил. **сватительквѣ** [4 уп.],

³² Замена евангельского грецизма **архирей** в Супрасльской рукописи на **старѣишина жърчъскъ** при цитации Мт 26,14 и на **старѣишина молитвѣнникомъ** при цитации Мт 21,15 была отмечена Д. Дунковым [Дунков 1995: XXIII].

сущ. **СВАТИТЕЛЬСТВО** [4 уп.], глагол **СВАТИТЕЛЬСТВОВАТИ** [1 уп.], прич. **СВАТИТЕЛЬСТВОУКМЪ** [1 уп.]). Прил. **СВАТИТЕЛЬСКЪ** встречается в Супрасльской рукописи трижды (причем в разных произведениях); отмечено оно и в Енинском апостоле — не в собственно апостольском тексте, но в тексте тропаря Дионисию Ареопагиту (Ен 396 1–2). Сущ. **СВАТИТЕЛЬ** достаточно часто встречается в старших списках Апостола и в самом апостольском тексте, однако в своем большинстве (если не везде) случаи его употребления выглядят как ранние замены грецизмов **икреи** и **архикреи** первоначального перевода. Как правило, эти замены имеют следующий вид: **икреи/икрѣи** на **сватитель** и **архикреи/архикрѣи** на словосочетание **старѣшина сватитель**. Ср.:

Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος (Евр 7,15)

— и лише еще тавѣ естѣ . аще бо по подобию мелхиседековоу инѣ и ереи вѣстаетѣ . в Охр;

— излииха кще тавѣ кстѣ . аще по сп'облению мелхиседековоу . встати и крѣю инномоу . в Мат;

— И лише и кще тавѣ кстѣ . аще по подобьствью Мелхиседековоу вѣстактѣ с'тль инѣ . в Христ;

Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν (Евр 9,11)

— хѣ . пришедѣ архиерен . граджцимѣ благомѣ . Охр, Струм, Шиш;

— хсѣ же пришѣ архикрѣи . воудощек бл҃гостине . Мат;

— хсѣ же . пришѣдѣ . старѣшина с'тль . градоуцимѣ бл҃гомѣ . Христ.

Тем не менее у нас нет надежных доказательств, что лексемы **СВАТИТЕЛЬ** в первоначальном переводе Апостола не было совсем и что все случаи ее употребления в списках — результаты таких замен. Так, например, в Евр 2,17 старшие списки разных изводов согласно показывают на **СВАТИТЕЛЬ**:

ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν θεόν.

— да мл҃стивѣ воудетѣ и вѣрнѣ с'тль тже кѣ бдѣ . Христ, Охр, Слепч, Струм, Шиш, Мат.

Сущ. **СВАТТИТЕЛЬ** используется для наименования как христианского, так и нехристианского священнослужителя, как для перевода греч. ἱερεὺς, так и греч. ἄρχιερεὺς. Так, в Супрасльской рукописи оно во всех трех случаях переводит греч. ἱερεὺς, однако в «Житии Якова-черноризца» речь идет о христианском епископе (Супр 530,17 и 532,9), тогда как в гомилии № 21 оно употреблено в толковании слов пророка Исаии (Ис 29,11) и относится к наименованию ветхозаветных священнослужителей (Супр 246,12). Как можно видеть из приведенных выше примеров, в списках Апостола сущ. **СВАТТИТЕЛЬ** может соответствовать греческим и ἱερεὺς (Евр 7,15), и ἄρχιερεὺς (Евр 2,17). Однако в ряде случаев в ходе повествования требуется различение в наименовании простого священнослужителя (ἱερεὺς) и первосвященника (ἄρχιερεὺς). Например, в пассаже Евр 9,6 – Евр 9,7 это привело к формированию терминологического словосочетания **старѣшина сваттитель**. Ср.:

εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίστασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἀπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἄρχιερεὺς, οὐ χωρὶς αἵματος ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἁγνοημάτων

— Въ прьвоу ю сѣбѣвающе . въ второу же кдиноу лѣта . кдинь икрѣби и не бес крове . юже приносить за се и в людскихъ невѣжѣствинхъ . Мат;

— въ прьвоу ю сѣбѣвающе . въ второу же кдинаю лѣта кдинь архикрѣби не бес крове . юже приносить ω севѣ . ни (так!

— В.Е.) ω людскихъ невѣждѣствинхъ . Шиш;

— въ прьвоу же сѣбѣвающе . въ второу же кдиноу лѣта кдинь старѣшина сѣбѣвающе . въ второу же кдиноу лѣта кдинь старѣшина сѣбѣвающе . не бес крове . юже приносить о севѣ и о людскихъ невѣждѣствинхъ . Христ.³³

³³ Интересно, что эта потребность различения в наименовании просто священнослужителя и первосвященника в других старших списках Апостола

Сущ. **ЧИСТИТЕЛЬ** из собственно старославянских рукописей встречается только в Супрасльской (4 уп.), там же встречается и образованное от него с суффиксом -ьstv(о) сущ. **ЧИСТИТЕЛЬСТВО** ‘сан священнослужителя’ (2 уп., Супр 287,11 и 294,28). Лексема **ЧИСТИТЕЛЬ** употребляется как для номинации священнослужителя вообще (перевод греч. ἱερεύς), так и для номинации лица, имеющего определенную церковную иерархическую степень (перевод греч. πρεσβύτερος в значении ‘пресвитер’). Ср.:

1) τιμᾶται δὲ ὑπὸ βασιλέων καὶ προσκυνεῖται ὑπὸ ἱερέων καὶ θεοσεβῶν λαῶν.

— **ЧЪТОМЪ ЖЕ КСТЪ КЪНАЗИ . ПОКЛАНЯЕМЪ ЖЕ ЧИСТИТЕЛИ . И ДОБРОЧЪСТИВЪИМЪ ЛЮДЕМЪ** Супр 219,30;

2) Μαρτύριον τοῦ ἁγίου πρεσβυτέρου Ἀρτέμονος

— **СТРАСТЬ СВАТААГО ЧИСТИТЕЛЪ И МЪЧЕНИКА . АРТЕМНА .** Супр 220,8–9.

Субстантивное употребление адъективированного причастия **СВАЦЕНЪИ** в качестве наименования лица в пределах собственно старославянских рукописей встречается всего три раза. В Синайском евхологии так называется христианский священнослужитель: в тексте Чина над исповедающимся (Евх 68а 3) **СВАЦЕНЪИ** употребляется наряду с **ИКОРЪИ**, в тексте Чина пострижения (Евх 95b 2) **СВАЦЕНЪИ** употребляется наряду с **ПОПЪ**. Однако в Саввиной книге в стихе И 7,45 **СВАЦЕНЪИ** используется для номинации священнослужителя нехристианской (иудейской) веры и является заменой

спровоцировала ошибку писцов, заключающуюся в переводе греч. ὀρχιερεύς как **ИЕРЕН БЕСКВРЪНЪИ** (видимо, по созвучию **БЕС КРЪВЕ** — **БЕСКВРЪНЪИ**):

ВЪ ПРЪВЪЖ СКИНИЖ . ВЪ НА ЖЕ ВЪХОЖДААХЪ ИЕРЕН СЛОУЖЪБЪИ СЪДЪВААЩЕ . ВЪ ВТОРЪЖ ЖЕ ЕДИНОЖ ЛЪТА . ЕДИНЪ ИЕРЕН БЕСКВРЪНЕНЪ . ЖЖЕ ПРИНОСИТЬ У СЕБЪ И У ЛЮДЪСКИХЪ НЕВЪЖДЕСТВИХЪ . Охр;

ВЪ ВТ°РАА (так!) СКИНИА . ВЪ НА ЖЕ ВЪХОЖАШЕ ЕРЕН . СЛЪЖБА СЪДЪВААЩЕ . ВЪ ВТОРАА ЕДИНОА ЛЪТ° ЕДИНЪ ЕРЕН . БЕСКВРЪНЕНЪ . ЕЖЕ ПРИНОСИТЬ ЗА СА И ЗА ЛЮДСКА НЕВЪАНИЪ . Струм.

грецизма **архикрен**, представленного в других старославянских кодексах. Ср.:

Ἐκθρον οὖν οἱ ὑπηρετοὶ πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ φαρισαίους ...

— Придѣ же слоуггы . къ архiereомъ ꙗ фарисеомъ . в Зопр, Мар, Ас и придѣ же слоуггы къ сщєнымъ . и фарисеомъ . в Сав.

Образованное от **сващенъи** с суффиксом **-ik(ъ)** сущ. **сващеникъ** в собственно старославянских рукописях употребительно немногим более. Трижды оно встречается в Синайском евхологии (Евх 67b 16; 57b 12; 103b 15, ср. в той же рукописи: **икрѣи** — 13 уп., **попъ** — 58 уп.) и дважды в календаре Ассеманиева евангелия. Во всех случаях это — наименования христианского священнослужителя.

Таким образом, мы видим, что в первоначальном евангельском тексте и тексте Псалтыри, т. е. на начальном этапе славянских переводов с греческого, славянских наименований священнослужителей **сватитель**, **чиститель**, **сващенъи**, **сващеникъ** в старославянском лексическом инвентаре еще не было, и лишь постепенно они входят в узус, являясь в собственно старославянских рукописях еще очень малоупотребительными лексемами. Есть основания полагать, что сначала образование нескольких наименований священнослужителя на базе славянских морфем для перевода одного и того же греческого соответствия было обусловлено не столько стремлением к дифференциации этих наименований по значениям или стилистическим оттенкам, сколько попытками древних книжников по мере становления старославянского языка и его лексикона избегать употребления грецизмов **икрен** и **архикрен**.

В Супрасльской рукописи для наименования священнослужителя при переводе греч. **iereús** и **архiereús** встречается также употребление славянского образования с суффиксом **-ьnik(ъ)** **молитвѣникъ**. Однако это значение у сущ. **молитвѣникъ** — вторичное, развившееся на базе основного значения ‘проситель’, которое, в свою очередь, закономерно соответствует значению мотивирующего сущ. **молитва** ‘просьба’. Со значением ‘проситель’ сущ. **молитвѣникъ** употребляется для перевода греч. **ikéτης** в Синайской псалтыри (Пс 68,11), Синайском евхологии (Евх 64b 14),

дважды в Супрасльской рукописи (в Супр 68,11 — для перевода греч. *πρεσβευτής*). Например:

ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ταπεινῶν [καὶ] σῶν ἱκετῶν...
— **ТЫ ОУВО ПОСЛОУШАИ НАСЪ . СЪМЪРЕНЪХЪ ТВОИХЪ**
МОЛИТВЪНИКЪ . Евх 64b 14.

Вместе с тем дважды в Супрасльской рукописи (Супр 358,29 и 420,17–18) **МОЛИТВЪНИКЪ** переводит греч. *ἱερεύς*, называя священнослужителя. Ср.:

Οὐδὲ γὰρ ἄνθρωπός ἐστιν..., ἀλλ' αὐτὸς ὁ σταυρωθεὶς ὑπὲρ ἡμῶν Χριστός. Σχήμα πληρῶν ἔστηκεν ὁ ἱερεύς, τὰ ῥήματα φθεγγόμενος ἐκεῖνα:
— **НЕ БО КСТЪ ЧЛ'ВЪКЪ... НЪ РАСПЪНЪИ СА ЗА НЫ ХЪ .**
ОБРАЗЪ ИСПЪНЪАА СТРОИТЪ . МОЛИТВЪНИКЪ СЛОВЕСА ГЛАГОЛА
ОНА... Супр 420,17–18.

Словосочетанием же **старѣшина молитвѣникомъ** в Супрасльской рукописи также дважды (Супр 330,13 и 359,7) переводится греч. *ἀρχιερεύς* (ср. приведенные выше аналогичные словосочетания **старѣшина жрьцемъ** в Супрасльской рукописи и **старѣшина свѣтитель** в списках Апостола). Ср.:

οὐ γὰρ αὐτὸς παρέχει σοὶ τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, ἀλλ' ὁ ἀρχιερεὺς ὁ πιστεύσας αὐτῷ τὴν ἱερωσύνην.
— **НЕ БО ПОДАКЪ ТИ ОСТАВЪНИК ГРѢХОМЪ . НЪ**
СТАРѢШИНА МОЛИТВЪНИКОМЪ . КЪ КМОУ ДАСТЪ ПОПЪСТВО .
Супр 359,7.

Гапакс Супрасльской рукописи сущ. **ТАИВЪНИКЪ** 'посвященный в таинство', образованное с суффиксом -βνικ(ъ) от сущ. **ТАИВА**³⁴,

³⁴ Сущ. **ТАИВА** в собственно старославянских рукописях не встречается, но отмечено в списке XI в. 13 слов Григория Богослова [Срезн III: 912], восходящем к старославянскому протографу. В Супрасльской рукописи употребляется и прил. **ТАИВЪНЪ**, образованное с суффиксом -βп- от этого существительного — в субстантивированной форме ж. р. **ТАИВЪНА** и ср. р. **ТАИВЪНО** со значением 'тайна'. А.-М. Тотоманова, посвятившая статью истории словообразовательной модели с суффиксом -βb(a) в болгарском

употребляется не для наименования священнослужителя в обычном смысле, но для обозначения лиц, причастных арианской ереси, и используется в контексте послания цесаря этим лицам в качестве его адресата:

πᾶσι τοῖς τοῦ Ἀρείου δυσσεβείας συμμύσταις³⁵
— **къ вьсѣмъ арианъскомъ танибъникомъ** . Супр 199,21–22.

Славянское образование с суффиксом **-ъникъ** (**ъ**) **законъникъ** ‘знаток закона, учитель закона’, мотивированное существительным **законъ**, довольно частотно (по данным Словаря 1994 — 23 уп.), однако в значении ‘священник’ является моравизмом, и в пределах собственно старославянских рукописей в этом значении оно зафиксировано только один раз (в Киевских листках, 16 17–18).

Названиями «духовных званий» священнослужителей х р и с т и - а н с к о й церкви в собственно старославянских рукописях в основном выступают книжные грецизмы. Одним из них является упомянутый выше грецизм **презвѣтеръ** ‘пресвитер’ (хотя, как было показано, значение ‘пресвитер’ в некоторых случаях могли иметь и **попъ**, и **чиститель**). Из лексем с этим типом значений наиболее часто в старославянских текстах встречаются **епископъ** (вариант **епискоупъ**) — греч. ἐπίσκοπος (по данным Словаря 1994 — более 100 уп.), **архиепископъ** (вариант **архиепискоупъ**) — греч. ἀρχιεπίσκοπος (по данным Словаря 1994 — 38 уп.), **диакаъ** — греч. διάκος [ESJS 3: 132] (по данным Словаря 1994 — 36 уп.). Греч. ἐπίσκοπος в старославянских рукописях, как правило, переводится книжным грецизмом **епископъ**, однако в текст «Жития Артемия» в Супрасльской рукописи для перевода греч. ἐπίσκοπος проникает также слово **пискоупъ**, заимствованное, видимо, из народной латыни (< *piscoru

языке [Тотоманова 2005], считает, что эта модель пользовалась приоритетом в Преславской школе письменности, не сомневаясь также в принадлежности сущ. **таниба** к старославянскому лексическому фонду и предполагая, что оно «е означавало первоначально ‘тайнство, мистерия’, а не просто ‘тайна’» [Тотоманова 2005: 238].

³⁵ В старославянских словарях в качестве греческого соответствия указано не συμμύστης, а μύστης [Словарь 1994: 686; SJS IV: 419]. К. Майер также указывает μύστης [Meuer 1935: 255], однако эти данные устарели.

[ESJS I, 62]); в том же житии употреблено для перевода греч. ἐπίσκοπος и образованное от него прил. **пискоупль** — с посесивным значением ‘епископский’. Надо полагать, что не является книжным грецизмом (т. е. заимствованным в процессе «текст → текст») довольно распространенная лексема **дпакъ**, переводящая διάκονος и διάκων греческих оригиналов, — в отличие от гораздо более редкого в старославянских рукописях грецизма **дпаконъ**, который лишь дважды употреблен в Супрасльской рукописи и один раз в календаре Ассеманиева евангелия (141a 11). Единичны также употребления грецизмов **архидпаконъ** — греч. ἄρχιδιάκονος (в календаре Ассеманиева евангелия, 135b 8), **дпакониса** — греч. διακόνισσα [ESJS 3: 132] (Супр), **нгоумениа** — греч. ἡγουμένη³⁶ (Супр 515,26–27). Грецизм **дпакониса** в пределах сохранившихся до нашего времени старославянских рукописей известен только по Супрасльской рукописи, где переводит греч. ἡ διάκονος (а не греч. διακόνισσα). Такой перевод находим трижды в «Житии Иоанна Молчаливого» (Супр 297,28; 298,3–4 и 299,29). Греческому ἡ διάκονος соответствует **дпакониса** и в некоторых древнейших списках Апостола в Рим 16,1 (в Слепч, Шиш, см. также примечание Г. А. Воскресенского в [Воскресенский 1892: 216], в то время как в Христ, Толк и Мат — перевод **слоужительница**). Однако, возможно, суш. **дпакониса** все же является грецизмом книжного происхождения, так как в списках кормчей (Ефремовской кормчей XII в., Рязанской кормчей 1284 г.) оно соответствует греч. διακόνισσα [СДЯ XI–XIV II: 470].

К названиям «духовных званий» священнослужителей нехристианской веры относятся упоминавшийся выше очень распространенный грецизм **архикрен/архикрѣи** — греч. ἀρχιερεύς (по данным Словаря 1994 — более 200 уп.), а также **архисинагогъ** — греч. ἀρχισυνάγωγος (по данным Словаря 1994 — 12 уп.).

На начальной стадии становления старославянского языка его лексикон еще не содержит слов, номинирующих лиц, имеющих определенную иерархическую степень или должность в христианской церкви: их нет ни в евангельском тексте (но они появляются в

³⁶ Грецизм **нгоумениа** адаптирован с закономерной заменой греч. -η на ст.-слав. -ija [ESJS 4: 239].

календарях евангельских кодексов), ни в тексте Псалтыри. Такое отсутствие лексем с данным типом значений в первых славянских переводах объясняется, конечно, отсутствием потребности в них при переводе соответствующих греческих оригиналов. Частотность этих грецизмов также обусловлена, главным образом, содержанием старославянских текстов, так как славянские образования с этим типом значений в старославянских рукописях очень редки и не составляют конкуренции грецизмам. К таким редким славянским наименованиям относится сущ. **причьтъникъ** ‘причетник, клирик’, образованное с помощью суффикса **-ьпѣк(ъ)** от сущ. **причьтъ** в значении ‘церковный причт’³⁷. Сущ. **причьтъникъ** многократно употребляется в Синайском евхологии (8 уп.), в то время как в Супрасльской рукописи для наименования причетника как члена церковного причта используются другие лексемы: трижды грецизм **клирикъ** (греч. κληρικὸς) и дважды сущ. **клеросьникъ**. Последнее образовано с помощью суффикса **-ьпѣк(ъ)**, но представляет собой нехарактерное для существительных с этим суффиксом образование, так как в старославянском языке суффикс **-ьпѣк(ъ)** присоединяется, главным образом, к производящим основам славянского происхождения [Ефимова 2006: 41–60], здесь же в качестве корневой морфемы используется целиком греческая лексема κληρος ‘клир’.

«Названия отшельников», напротив, представлены славянскими образованиями с продуктивными суффиксами **-(ьп)ѣк(ъ)** и **-ьс(ъ)** и парными к ним наименованиями ж. р. с суффиксом **-(ьп)ѣс(а)**: **отъхъдъникъ** ‘отшельник, анахорет’, **отъшьльць** ‘то же’, **ошьльць** ‘то же’, **съвъздръжьникъ** ‘сподвижник, тот, кто вместе с кем-либо ведет жизнь аскета’, **троудъникъ** ‘подвижник’, **постъникъ** ‘подвижник, постник’ и *femininum* к нему **постъница** ‘подвижница, постница’, **поустыньникъ** ‘отшельник, пустынный’, а также исходное для него субстантивно употребляемое прил. **поустыньнь** ‘то же’, **стапльникъ** ‘столпник (подвижник, живущий на столпе’. К этому

³⁷ Сущ. **причьтъ** в дошедших до нашего времени старославянских рукописях X–XI вв. не зафиксировано, но известно как перевод греч. κληρος (в том числе и в значении ‘церковный причт’) по ряду списков, восходящих к старославянским протографам [SJS III: 324; Срезн II: 1496–1497; СлРЯ XI–XVII 20: 77–78].

ряду следует добавить также несколько наименований подвижников, страдальцев за христианскую веру и монахов: **чръньць** ‘монах’ и *femininum* к нему **чръница** ‘монахиня’, **чръноризць** ‘монах’, **страстьникъ** ‘мученик, подвижник’, **страстоносць** ‘страдалец, мученик’, **страстотръпць** ‘то же’, **мъченикъ** ‘мученик’ и *femininum* к нему **мъченица** ‘мученица’, **сващеномъченикъ** ‘священномученик’. Вместе с тем в отношении некоторых из перечисленных выше лексем можно уверенно утверждать, что на их образовании сказалось влияние греческого языка. Композит **сващеномъченикъ** образован способом чистого сложения в сочетании с калькированием греческого композита $\dot{\iota}\epsilon\rho\mu\acute{\alpha}\rho\tau\upsilon\varsigma$, причем с повторением словообразовательной структуры последнего (первый компонент греч. $\dot{\iota}\epsilon\rho\mu\acute{\alpha}\rho\tau\upsilon\varsigma$ представляет собой корень $\dot{\iota}\epsilon\rho$ -с семантикой ‘священности’ [Frisk I: 712–713], а опорный компонент — сущ. $\mu\acute{\alpha}\rho\tau\upsilon\varsigma$ ‘мученик’). В результате калькирования греческого двукорневого композита $\acute{\alpha}\theta\lambda\omicron\phi\acute{o}\rho\omicron\varsigma$ в старославянском лексиконе появились варианты калек. В «Житии Феодора, Константина, Феофила, Калиста, Васоя и их дружины» $\acute{\alpha}\theta\lambda\omicron\phi\acute{o}\rho\omicron\varsigma$ передается калькой **страстоносць** (Супр 60,7; Супр 61,5 и Супр 64,23), образование которой характеризуется неполным соответствием морфемной структуры³⁸, но буквальным соответствием семантики обоих корней с семантикой корней греческого композита (ср.: $\tau\acute{o}$ $\acute{\alpha}\theta\lambda\omicron\nu$ ‘тяжелое испытание, страдание’ — **страсть** в значении ‘страдание’; $\phi\omicron\rho\acute{\epsilon}\omega$ ‘носить; переносить, выдерживать’ — **нести** ‘носить’). В «Житии же Ионы и Варахисия» (Супр 271,9) греч. $\acute{\alpha}\theta\lambda\omicron\phi\acute{o}\rho\omicron\varsigma$ переводится калькой **страстотръпць** — с неполным соответствием как морфемной, так и семантической структуры, однако, видимо, в соответствии со славянской сочетаемостью сущ. **страсть** и гл. **тръпѣти**, на базе которых образован этот композит³⁹.

³⁸ Греческое слово суффиксально не оформлено как существительное или прилагательное, старославянское же слово, в отличие от греческого, оформлено суффиксом существительных -ьс(ь). Такое несоответствие морфемных структур вообще характерно для старославянского калькирования как специфического способа словообразования [Ефимова 2007а: 122].

³⁹ Характерность сочетаемости в старославянском сущ. **страсть** и гл. **тръпѣти** подтверждается также калькой **страстотръпникъ** ‘сладострастие’ с

Заметим, что лексема **страстотръпць**, будучи образована калькированием греч. ἄθλοφόρος, употребляется в других частях Супрасельской рукописи не только для перевода этого исходного композита, но и греческого сущ. ἄθλητής (в частности, в «Житии Кодрата», Супр 105,3 и 117,6), которое, однако, чаще (и в разных житиях, представленных в этой рукописи) переводится образованным от сущ. **страсть** с суффиксом -ьпик(ь) существительным **страстьникъ**.

Гапакс Зографских листков сущ. **съвъздръжьникъ**, образованное для перевода греч. συνασκούμενος, полной поморфемной калькой не является, но префикс съ- в нем калькирует греческий префикс συν-, добавляя к уже, видимо, готовой лексеме **въздръжьникъ**⁴⁰ семантику 'совместности' [Ефимова 2004: 40–41].

Греческое сущ. ἀναχωρητής (с префиксом ἀνα- и суффиксом -τής, суффиксальное образование от гл. ἀναχωρέω 'уходить, удаляться') калькируется в нескольких вариантах с префиксами о- и оть- и суффиксами -ьпик(ь) и -ьс(ь): в «Житии Иоанна Молчали-

композита ἡδυλόθεια (корни ἡδ(υ)- с семантикой 'наслаждения' и πάθ- с семантикой 'претерпевания' [Frisk I: 622–623; II: 478–479], ср. гл. πάσχω 'терпеть'), употребленной в Синайском евхологии (Евх 38а 3). В Словаре 1994 **страстотръпник** рассматривается как ошибочное написание вместо **сластотръпник** [Словарь 1994: 611], однако ст.-слав. **страсть** могло соответствовать и греч. ἡδονή. Кроме того, даже если лексеме **страстотръпник** считать возникшей в результате ошибки писца, все равно она свидетельствует о привычности для него такой сочетаемости. Ср. также сочетаемость сущ. **страсть** с гл. **прѣтрьпѣти** в списках Апостола:

Ἀναμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων... Евр 10,32.

— **въспоминанте прѣвъж дѣи вашѣ . въ на же просвѣщѣше сѧ . многы страсти прѣтрьпѣсте и мѧкы . Охр, Слепч, Струм, Мат, Шиш; ... многоу стрѣть прѣтрьпѣсте моукъ** в Христ.

⁴⁰ Сущ. **въздръжьникъ** не встречается в пределах старославянских рукописей, однако вероятность его наличия в старославянском лексиконе высока, так как оно известно по ряду древнерусских списков с различных произведений, восходящих к старославянским протографам [Срезн I: 356; СДЯ XI–XIV II: 52].

вого» как **отъходьникъ** (Супр 289,13), в «Житии Якова черноризца» как **отъшьльць** (Супр 514,7 и 519,24), в календаре Енинского апостола как **ошьльць** (Ен 38а 3)⁴¹. В «Житии Иоанна Молчаливого» греч. ἀναχωρητής переводится также и славянским сложением с суффиксом -ьс(ь) **чръноризць**, что говорит о близости значений этих слов в понимании древних книжников:

γεγονῶς τοίνυν εἰς τὴν Μεγίστην λαύραν εἶδεν τὸν μακαρίτην Σάβαν συνοδίαν ἑκατὸν πεντήκοντα ἀναχωρητῶν περιποιησάμενον...

— **бъвъ оубо въ велицѣи лаврѣ . обрѣте облаженика савѣ дружинны прибравъша рѣ чръноризць** . Супр 283,8.

В свою очередь сложение **чръноризць** образовано, возможно, под влиянием композита μελανεῖμων ‘одетый в черное’ [ESJS 2:115], однако в круге текстов, представленных в старославянских рукописях, такое соответствие старославянской и греческой лексем неизвестно. Из собственно старославянских рукописей лексема **чръноризць** встречается только в Супрасльской, но в остальных случаях ее употребления (за исключением указанного выше в Супр 283,8) греческим соответствием для нее — как и для **чръньць** — является μοναχός. Обычным соответствием для **чръноризць** является μοναχός (реже ὁ μονάζων и ἀσκητής) и в других текстах, восходящих к старославянским протографам [SJS IV: 888; Срезн III: 1561–1562] (см. также Изб 1076 231,11 и 111,5; и др.). Греч. μοναχός в списках Номоканона переводится также моравизмом **мъннхъ** ‘монах’ [SJS II: 237] (< др.-в.-н. *munih* ‘монах’ [ESJS 9: 512]), хотя для собственно старославянских рукописей он является гапаксом Синайского евхология (Евх 57b 13). Вместе с тем в той же рукописи употребляется и образованное от него с суффиксом -ьsk- прил. **мънншьскъ** ‘монашеский’ (для перевода греч. μοναχοῦ [Gen. Sg. от μοναχός] и μοναζόντων [Gen. Pl. от μονάζων]).

⁴¹ Другими, видимо, более поздними, вариантами калек с греч. ἀναχωρητής являются **ошьльникъ** (встречается уже в Синайском патерике XI в.) и **отъшьльникъ** [Срезн II: 824 и 851; СлРЯ XI–XVII 14: 67 и 107] > русск. *отшельник*. См. также [ESJS 10: 605].

Судя по значениям прил. **иначьскъ** ‘иначеский, монашеский’ и сущ. **иначьство** ‘иначество, монашество’ (оба слова употреблены в «Житии Анина», части Супрасльской рукописи, греческий оригинал которой неизвестен), значение ‘монах’ в старославянском языке приобрело и славянское по происхождению слово **инокъ**. Однако в сохранившихся старославянских рукописях оно встречается только однажды (Пс 79,14 в Синайской псалтыри), причем в своем первоначальном значении ‘живущий одиноко’. Судя по контексту, **инокъ** здесь называет одиноко живущее животное, скорее всего, одиноко живущего кабана («единца»):

ἐλυμήνατο αὐτήν (т. е. виноградную лозу. — В.Е.) σὺς ἐκ
δρυμοῦ,
καὶ μονιὸς ἄγριος κατενεμήσατο αὐτήν.
— **ωзоба і вепрь отъ лжга .**
инокъ дивьєі поѣлъ єсть .

Для наименования монахов в старославянских текстах нередко используется также и славянское образование **старьць** ‘старик, старец’. Развитие семантики здесь такое же, как и в греческом соответствии: γέρων ‘старик, старец’ → почетное наименование монаха. Например:

τότε ὁ γέρων εὐλόγησας αὐτὸν καὶ ἀναστήσας μετέδωκεν
αὐτῷ πρῶτος τῶν ἀχράντων μυστηρίων...
— **тъгда старьць благослови и . и въставивъ дастъ**
кмоу пръвоу прѣчистъиныхъ таинъ . Супр 299,4–5.

Наименования отшельников, христианских подвижников, страдалцев и монахов, так же как и лиц, имеющих определенную иерархическую степень или должность в христианской церкви, еще отсутствуют в старославянском лексиконе на начальной стадии становления старославянского языка, что объясняется теми же причинами — отсутствием потребности в них при переводе соответствующих греческих оригиналов. Так же как названия «духовных званий» священнослужителей христианской церкви, наименования ее подвижников появляются в календарях евангельских и апостольских кодексов. Судя по данным Словаря 1994, эти лексемы имеют разный уровень частотности, что, видимо, следует

объяснять содержанием переводимых текстов. Так, содержанием текстов обусловлена в старославянских рукописях отмеченная этим словарем высокая частотность такой лексемы, как сущ. **мѣченикъ** (> 100 уп.), довольно высока частотность и парного образования ж. р. к нему **мѣченица** (12 уп.). С другой стороны, наименования отшельников и аскетов — малочастотные лексемы или гапаксы, старославянский язык как бы только «нащупывает» адекватные имена для этих понятий: **отъходьникъ** — 1 уп., **отъшьльць** — 2 уп., **ошьльць** — 1 уп., **съвъздръжьникъ** — 1 уп., **троудьникъ** — 1 уп., **постъникъ** — 4 уп., **постъница** — 2 уп., **поустыньникъ** — 3 уп., **поустыньнъ** — 1 уп., **стлъпникъ** — 3 уп., **страстьникъ** — 5 уп., **страстоносць** — 3 уп., **страстотръпць** — 5 уп. Из наименований монахов наиболее «укорененным» в старославянском лексиконе оказывается сущ. **чрьньць** (15 уп.), менее частотным — **чрьноризць** (9 уп.), единично употребление моравизма **мънихъ**.

«Воинственность сознания средневекового человека», как отмечает Т. И. Вендина, придает особое значение группе «сражающихся». К этой группе она относит наименования воинов и воинских званий военачальников, а также примыкающие к ней «номинации, так или иначе связанные с темой “войны”»: **воинъ**, **ратъникъ**, **копийникъ**, **оржьникъ**, **працьникъ**, **архистратигъ**, **воквода**, **тысацьникъ**, **казньць**, **повѣдьникъ**, **плѣньникъ**, **свободитель**, **противьникъ**, **сжпротивьникъ**, **сжпърь**, **сжпърьникъ**, **повѣдитель**, **повѣдотворць** [Вендина 2002: 32–33].

Наиболее частотным наименованием воина в старославянском лексиконе было сущ. **воинъ** (по данным Словаря 1994 — более 100 уп.) — славянское образование с суффиксом -ip(ъ), имеющим значение сингулятивности (pl. **вои** без этого суффикса использовалось для перевода греч. τὸ στρατεύμα ‘войско’). Лексема **воинъ** «покрывала» достаточно широкое семантическое поле с общим значением ‘воина вообще’, переводя уже в евангельском тексте не только греч. στρατιώτης (наиболее частое соответствие) и субстантивно употребленное причастие στρατευόμενος (Л 3,14), но в тексте тетра и **σπεκουλάτωρ** ‘охранник’. Последнее отмечено в Мк 6,27, где имеет контекстное значение ‘охранник, выполнявший также функцию палача’. Ср.:

καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, ...

— **І авѣе посълавъ црѣ воина . повелѣ принести главѣ его . онъ же шьдъ оусѣкнѣ І въ тьмьници .** Зопр, Мар;

— в Ассеманиевом евангелии грецизм **σπεκουλάτορѣ: И авие посълавъ црѣ спекулатора** (Ac 153a 24)⁴².

В более поздних переводах лексема **воинъ** используется также и для перевода греч. δῆμιος ‘палач’ (в «Житии Савина», Супр 146,20; 154,16), διωγμίτης ‘гонитель’ (в «Житии Пиония», Супр 137,11; 137,17; 139,8), προτίκτωρ ‘протиктор’ (в «Житии Исакия», Супр 186,28), στρατηλάτης ‘полководец’ (в календаре Ассеманиева евангелия: **Мѣца и ѿ ю ѿ ... сѣаго мѣа ѿеодора воина на вѣтоцѣ .** — Ac 146b 16). В Супрасльской рукописи для перевода греч. δῆμιος, διωγμίτης и σπεκουλάτωρ употребляются также славянские образования с суффиксом -ьс(ь)/-ьс(а) **сѣчьць** и **сѣчьца**: в «Житии Павла и Улиании» σπεκουλάτωρ переводится как **сѣчьца** (Супр 14,13–14 и 17–18), а δῆμιος — как **сѣчьць** (Супр 6,9); в «Житии Кодрата» δῆμιος переводится как **сѣчьца** (Супр 114,14–15), а διωγμίτης — как **сѣчьць** (Супр 114,21). В отличие от Р. М. Цейтлин [Цейтлин 1977: 126], мы не видим в старославянских контекстах указаний на пейоративность значения сущ. **сѣчьца** [Ефимова 2006: 79], хотя и не оспариваем мнения А. Вайана о первоначальном значении экспрессивности и разговорности всех славянских имен мужского рода на -а [Vaillant 1974: 343] (см. также [Bláhová 2007: 348]).

Наименования воинов «по родам войск» в старославянских рукописях единичны: **копниникъ** ‘копьеносец’, переводящее греч. σκληπτοῦχος; **оржжъникъ** ‘тяжело вооруженный воин’, переводящее

⁴² Видимо, следует согласиться с Й. Враной, что перевод греч. σπεκουλάτωρ словом **воинъ** появляется в тексте тетра [Vrana 1970: 59]. В дальнейшем древние книжники стремятся избавляться от грецизма **σπεκουλάτορѣ** и в тексте апракоса. Таким образом в Остромировом евангелии появляется **мечъникъ** (и **авикъ посъла црѣ мечъника** Остр 288a 8), в Вукановом евангелии — **оусѣкатель** (**пославъ црѣ оусѣкателѣ... 182д 5**). См. [Львов 1972; Цейтлин 1972: 270; Цейтлин 1977: 125].

греч. *ὀπλίτης*; **працьникъ** ‘пращик’, переводящее греч. *σφενδονήτης*. Все эти наименования — гапаксы Супрасльской рукописи, однако их не востребованность в старославянских текстах можно объяснить специфическим содержанием последних. Существительные **копниникъ**, **оръжъникъ** и **працьникъ** образованы по славянской модели с помощью суффикса *-ьпик(ь)* от славянских имен — наименований оружия, которым были вооружены подлежащие номинации войны (**копниникъ** от **копикъ** ‘копье’, **оръжъникъ** от **оръжникъ** в значении ‘доспехи’, **працьникъ** от **праца** ‘праща’⁴³). На основании наших данных трудно определить, имелись ли эти существительные в народной славянской речи или они были созданы самими книжниками для нужд перевода.

В наименованиях «офицерства» также прослеживается стремление древних книжников использовать славянские слова: *ἑκατοντάρχη* ‘сотник, начальник отряда в сто воинов’, *ἑκατόνταρχος* ‘то же’, *κεντυρίων* ‘то же’ и *χιλίαρχος* ‘хилиарх, начальник отряда в тысячу воинов’ переводятся славянскими образованиями с суффиксом *-ьпик(ь)* **сътьникъ** и **тысящъникъ** соответственно. Можно бы сказать, что существительному **сътьникъ** составляет конкуренцию книжный грецизм **кентътоурнонь** (греч. *κεντυρίων* < лат. *centuriō* [ESJS 5: 308]), однако эта конкуренция очень слаба: по данным Словаря 1994 сущ. **сътьникъ** употребляется в старославянских рукописях 39 раз (добавим, что 37 уп. из них приходится на текст евангельских кодексов), тогда как грецизм **кентътоурнонь** появляется для перевода греч. *κεντυρίων* только один раз в Супрасльской рукописи (Супр 178,15), а также в Мк 15,45 в тексте тетров (в тексте апракоса и в этом стихе употреблено сущ. **сътьникъ** — Ас 11d). Примечательно, что в предыдущем стихе Мк 15,44 в этих кодексах *κεντυρίων* согласно переводится как **сътьникъ**. Ср.:

⁴³ Слово **праца** в значении греч. *σφενδόνη* ‘праща’ в старославянских рукописях не встречается, что, впрочем, объясняется содержанием текстов. В значении греч. *πέτροβόλος* ‘каменеметательное орудие’ **праца** употреблено в паримийном тексте [SJS III: 252].

Мк 15,44: καὶ προσκαλεσόμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπρώτη-
σεν αὐτόν, εἰ πάλοι ἀπέθανεν·

Мк 15,45: καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδώρησατο τὸ
πτῶμα τῷ Ἰωσήφ.

Мк 15,44: ꙗ приꙗвавъ сътъника . въпроси ꙗ аште
о҃мрѣтъ . Зо҃р, Ма҃р; ꙗ пріꙗвавъ сътъника . въпроси ꙗ
аще о҃же мьрѣтъ . Ас 11d.

Мк 15,45: ꙗ о҃вѣдѣвъ отъ ꙗенъто҃҃риона . дастъ тѣло
иосифови . Зо҃р, Ма҃р; ꙗ о҃вѣдѣвъ о҃тъ сътъника . дастъ
тѣло иосифови . Ас 11d.

Й. Врана в свое время на основе сопоставления достаточно показательного ряда списков Евангелия пришел к выводу, что появление грецизма **ꙗенъто҃҃рионъ** в Мк 15,45 в тексте тетра — явление вторичное, результат «грецизации» текста [Vrana 1970: 59]. Р. М. Цейтлин, однако, не была согласна с выводом Й. Враны и, опираясь на авторитет И. В. Ягича, Й. Вайса и К. Горалека, придерживалась противоположной точки зрения, считая грецизм **ꙗенъто҃҃рионъ** архаизмом [Цейтлин 1977: 87]. Все же отмечаемая нами общая тенденция к использованию в старославянском лексическом инвентаре для наименований воинов с л а в я н с к и х образований свидетельствует, как кажется, в пользу вывода Й. Враны.

Невысокой востребованностью в старославянских текстах общего наименования полководца можно объяснить тот факт, что славянское образование **воквода** — бессуффиксальное сложение праславянского происхождения, однако с совершенно прозрачной в старославянском языке словообразовательной мотивацией, употребляется — притом широко — в собственно старославянских рукописях в явно вторичном своем значении ‘правитель, владыка’ (см. выше, с. 34). Употребление сущ. **воквода** в первичном значении ‘полководец’ встречается лишь в одном случае — в гомилии № 21 в Супрасльской рукописи, причем известный к настоящему времени греческий оригинал в этом месте не совсем совпадает со славянским переводом. Ср.:

᾽Εδει γὰρ προφθάσαι τὸν στρατιώτην, ...

— **ПОДОБАШЕ БО ВАРИТИ ВОИНОУ ВОКВОДЖ** . Супр 245,16⁴⁴.

В списках, восходящих к старославянским протографам, **ВОКВОДА** в значении ‘полководец’ также встречается редко. В некоторых старших списках Апостола **ВОКВОДА** заменяет грецизм **СТРАТИГЪ** (возможно, первоначальный) при переводе греч. στρατηγός (Деян 16,20; 16,22), однако не в значении ‘полководец’, а в значении ‘чиновник-управленец’. Например:

καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ’ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ περι-
ρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίσειν, ... Деян 16,22
— **и сниджтѣ сж народи на нѣ . и стратиги растръзашж**
ризты . и повелѣшж палицами бити га . Охр, Струм, Шиш,
Мат;

— **И съниде са народъ на на , и вокводты , растръза-**
въше има ризты , и повелѣша палицами бити . Христ,
Слепч.

Таким образом, лексема **ВОКВОДА** в старославянском лексиконе имела некоторую конкуренцию со стороны книжного грецизма **СТРАТИГЪ**, однако очень слабую: в собственно старославянских рукописях **СТРАТИГЪ** встречается лишь дважды в Супрасльской рукописи (Супр 130,30 и 565,2) в значении ‘чиновник-управленец’, а также в евангельском стихе Л 22,52, где употребляется в составе терминологического сочетания **СТРАТИГЪ ЦРЪКЪВЪНЪИ**, образованного для перевода греч. στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ ‘начальник церковной стражи’. Ср.:

имже тѣгда стратигоу быти томоу ар’нѣю . великааго
града прѣжде нареченааго . Супр 565,2;

Εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ’ αὐτὸν ἀρχι-
ερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους· Л 22,52
— **рече бо іс къ пришьдъшимъ къ немуу архiereомъ . і**
стратигомъ црѣковънымъ . і старьцемъ . Зопр, Мар.

⁴⁴ В более позднем списке этой гомилии в Германовом сборнике 1358/1359 гг. дается «фразъяснение»: **поѣбаше бо варити воиноу . варити**
бо емѣ вѣ , несжщѣ ѡржжне . Герм 155а.

Таким же образом и славянское образование праславянского происхождения **ВОЖДЬ** не встречается в собственно старославянских рукописях со значением, которое позволяло бы отнести его к группе «сражающихся». В евангельском тексте (Мт 15,14; Мт 23,16; Мт 23,24) **ВОЖДЬ** имеет значение ‘поводырь’. Например:

ἄφετε αὐτούς· τυφλοὶ εἰσὶν ὁδηγοὶ τυφλῶν· Мт 15,14
 — **УСТАНѢТЕ ІХЪ . ВОЖДИ СЖТЪ СЛѢПИ СЛѢПЦЕМЪ .** Зогр,
 Мар.

В единственном случае употребления этой лексемы в Синайском евхологии ее значение следует определить как ‘владыка’:

φόβῳ γενέσθαι αὐτῷ τε τῷ ἡγεμόνι [var. αὐτῷ προηγου-
 μένῳ] τῆς πονηρίας καὶ πάσαις ταῖς φάλαγγιν αὐτοῦ ταῖς
 συνεκπεσοῦσαις αὐτῷ ἐκ τῆς ἄνω φωτοφορίας, ...
 — **ДАЖДИ ЗАКЛИНАНИЕ МОЕ... ГРОЗЪНОУ БЪТИ ВОЖДЮ
 ЗЪЛОМОУ І ВЪСЪМЪ ХРАНИТЕЛЕМЪ ЕГО СЪПАДЪШИИМЪ СЪ
 НИМЪ СЪ ВЪШЪНАМЪ СВѢТЛОСТИ .** Евх 51b 9.

Значение ‘владыка’ имеет сущ. **ВОЖДЬ** и в Мт 2,6 в Ассеманиевом евангелии, заменившее в этом стихе лексему **ВЛАДЪКА**, видимо, первоначальную (см. выше, с. 35). Значение сущ. **КАЗНЬЦЬ**, образованного с суффиксом -ЪС(Ь) от сущ. **КАЗНЬ** ‘приказ, указ’, мы склонны вслед за А. Вайаном определять как обозначающее гражданское высокопоставленное лицо, а не военачальника [Ефимова 2006: 80]. Следовательно, можно сказать, что конкуренцию лексеме **ВОКВОДА** в старославянском лексическом инвентаре при наименованиях полководцев составлял только книжный грецизм **АРХИСТРАТИГЪ** ‘верховный военачальник’ (греч. ἀρχιστράτηγος), однако востребованность его в старославянских текстах тоже была невелика: в собственно старославянских рукописях известно только одно его употребление в Синайском евхологии (Евх 51a 20) и одно — в Супрасльской рукописи (Супр 464,11).

Наиболее частотной лексемой со значением ‘противник, враг’ в старославянском лексиконе было сущ. **ВРАГЪ** (по данным Словаря 1994 — более 200 уп.), слово праславянского происхождения, в старославянском языке уже непроемное. Однако сущ. **ВРАГЪ** «покрывало» широкое семантическое поле и в старославянских

текстах чаще использовалось для номинации враждебно настроенного лица в обыденной частной жизни или противника в духовной сфере, тогда как наименования «воина-неприятеля» были контекстно обусловлены. Например:

ἀπελεύση γὰρ ἐπὶ πόλεμον καὶ συνάψεις αὐτὸν καὶ οὐ
δυνήσῃ ἀντιστῆναι κατ' ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν σου ...

— **ИДЕШИ БО НА РАТЬ И СЪИДЕШИ СЯ . И НЕ ВЪМОЖЕШИ
СТАТИ ПРОТИВЪ ВРАГОМЪ СВОИМЪ .** Супр 195,11.

Довольно частотной лексемой с общим значением ‘противник, враг’ в старославянском лексиконе было **сѣпостатѣ**⁴⁵: согласно данным Указателей к старославянскому словарю, учитывающим новооткрытые рукописи старославянского «канона», число ее употреблений доходит до 13 раз [Indexy 2003: 90], причем встречается она в разных рукописях — новооткрытой части Синайской псалтыри, Синайском евхологии, Супрасльской рукописи. Семантика этой лексемы также довольно разнообразна, и она использовалась для номинации противника как военного, так и в словесном споре, в суде, в духовной сфере, переводя целый ряд греческих соответствий: ἀντίπαλος, ἀντίδικος, πολέμιος, ὑπεναντίος, σύμμαχος. Ср.:

καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους·
Исход 15,7

— **І МНОЖЬСТВОМЪ СЛАВЫ ТВОЕѦ СЪТРЪЛЪ ЕСИ СѢПО-
СТАТЫ .** СинН 12b 19;

κύριος ἀσθενῆ ποιήσει ἀντίδικον αὐτοῦ, ... 1 Царств 2,10

— **ГЪ НЕМОЦНА СЪТВОРИТЪ СѢПОСТАТА ЕГО** СинН 22b 9;

ζῆλος λήμψεται λαὸν ἀπαίδευτον, καὶ νῦν πῶρ τοὺς
ὑπεναντίους ἔδεται. Исая 26,11

— **ЖАЛОСТЬ ПРИМЕТЪ ЛЮДИ НЕНАКАЗАНЫ . І НЫНѢ ОГНЬ
СѢПОСТАТЫ ПОѢСТЪ .** СинН 20a 3;

⁴⁵ Т. И. Вендина не включает лексему **сѣпостатѣ** в группу «сражающихся», видимо, потому, что относит ее к «немотивированным».

ὦ φθόνε, φιλίας ἐχθρέ, εἰρήνης ἀντίπαλε, ...

— ω зависти люб'ви вражда . мироу сжпостатъ . Супр 388,27.

Начиная с перевода Евангелия для номинации «противника» в старославянский лексикон входит лексема **сжпрь**, но в текстах она называет противника не на поле брани, а в обыденной жизни или в судебном разбирательстве, соответствуя греч. ἀντίδικος⁴⁶. Например:

Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ, ... μήποτε σε παραδῶ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ ... Мт 5,25

— бжди оувѣштаѡ сѡ съ сжпрьмь своимь скоро да не прѣдастъ тебе сжпрь сжди . Зогр.

В Супрасльской рукописи для перевода ἀντίδικος (также и δυσμενής) используется «обновленное» продуктивным суффиксом -bник(ъ) сущ. **сжпрьникъ** [Ефимова 2006: 58–59]. Обозначает оно, однако, также противника не на поле брани, а в словесном споре. Ср.:

Εἰ δοῦλος εἶ, ἐν τρόμῳ τῷ δεσπότη ὑποτάγηθι. Ὁ γὰρ λογομάχος οὐκ εὐγνώμων δοῦλος, ἀλλὰ πρόδηλος δυσμενής.

— аште ли робѣ кси . съ страхомъ си господиноу покорн сѡ . словесы бо прѣпирали сѡ не приазнивъ робѣ . нѣ авѣ сжпрьникъ . Супр 328,16.

Субстантивированное прил. **противьнъ** и образованное от него с суффиксом -ik(ъ) сущ. **противьникъ** — гапаксы Супрасльской рукописи, где употреблены также не для обозначения «воина-неприятеля», а «противника» в духовной сфере. Прил. **противьнъ** используется в «Похвале 40 мученикам» для перевода греч. ἀντίπαλος:

Τούτους τοὺς παρακλητικοὺς ἐνδιδόντες ἀλλήλοις, ... φέροντες τὰ παρόντα γενναίως, χαίροντες τοῖς ἐλπιζομένοις, καταγελῶντες τοῦ ἀντιπάλου.

⁴⁶ Следует отметить, что корень греческого соответствия ἀντίδικος имеет «судейскую» семантику — ср., например, ἡ δίκη 'право', 'судебное дело, тяжба'.

— **Си** слова **оуѣшьнага** . подаваѣште дроуѣ дроуѣгоу
трьпаште страсть . довьлно радоуѣште са . о надѣ-
кмынхъ . рѣгаѣште са противънѣоуѣмоу . Супр 92,2–3.

Сущ. **противъникъ** употреблено в «Слове Епифания Кипрского» для перевода греч. ἀλάστωρ ‘преступник, похититель’:

οὗς ἐτυράννισεν ὁ μικρὸς καὶ ἀνίκητος τύραννος
τυραννήσας καὶ ἐκ θεοῦ ὡς ἀλάστωρ ἀποσυλήσας ...

— **аже оумжчи** овидьливъ и неповѣдимъи мжчитель .
оумжченъ и отъ бога . тако противникъ оукрадъ . Супр
460,8. (Ср. в Германовом сборнике: ... и ѿ бѣ тако
разбонникъ ѣкрадъ ... Герм 186б 2.)

Из рукописей «старославянского канона» только в Супрасльской рукописи встречается сущ. **сжпротивъникъ**, однако оно более частотно, чем сущ. **противъникъ** (7 уп.) и переводит целый ряд греческих соответствий: ἀντίπαλος, ἀντικείμενος, ἀνταγωνιστής, πολεμήτωρ, τύραννος, ὁ ἐξ ἐναντίας. Сущ. **сжпротивъникъ** используется для номинации и «воина-неприятеля», и противника в духовной сфере, но последнее встречается чаще. Например:

Ἐπόθου μοι, ὦ ἄνθρωπε, ὁ τῆς μετανοίας ἀντίπαλος, ...

— **сѣкажи ми** ѡ чловѣче . **кже** са твориши покаанню
сжпротивъникъ . Супр 361,12.

Также только в Супрасльской рукописи встречаются субстантивно употребляемое прил. **ратънъ** (4 уп.) и образованное от него с суффиксом -ік(ъ) сущ. **ратъникъ** (11 уп.) В текстах эти лексемы имеют значение ‘противник, воин-неприятель’ (т. е. всегда называют воина только неприятельского войска), следовательно, мотивирующим существительным для этих лексем следует считать сущ. **ратъ** в значении ‘неприятельское войско’. При этом **ратънъ** и **ратъникъ** переводят ряд греческих соответствий: πολέμιος, ἐναντίος, ὑπεναντίος со значениями ‘враг (на войне)’, ‘противник’, а также и βάρβαρος, и ἄλλόφυλος со значениями ‘варвар’, ‘иноземец, чужеземец’.

Обращает на себя внимание, что номинирующие «противника» существительные с префиксом sq- — **сжпърь**, **сжпърьникъ**, **сжпостатъ**, **сжпротивъникъ** — всегда находят среди своих греческих соответствий лексемы с префиксом ἀντι-, имеющим

значение как ‘противоположности’, так и ‘ответности, взаимности’:
сжпърь — ἀντίδικος, **сжпърьникъ** — ἀντίδικος, **сжпостатъ** —
 ἀντίπαλος, ἀντίδικος, **сжпротивьникъ** — ἀντίπαλος, ἀντικείμενος,
 ἀνταγωνιστής (алломорф ἀντ-). Как показывают и другие греческо-
 старославянские параллели, древние книжники калькировали гре-
 ческий префикс ἀντι- старославянским префиксом sq- [Ефимова
 2006: 185–186]. Таким образом, можно предположить, что старосла-
 вянские лексемы с префиксом sq- и общим значением ‘противник’
 были образованы не без влияния их греческих соответствий, т. е.
 префигированы префиксом sq- под влиянием префикса ἀντι-. Такое
 предположение подтверждается еще и тем, что по крайней мере в
 лексемах **сжпърь**, **сжпърьникъ**, **сжпротивьникъ** префикс sq-
 избыточен для значения этих лексем: **противьникъ** без префикса
 имеет то же значение, что и **сжпротивьникъ**; в корне -ръг- лексем
сжпърь, **сжпърьникъ** уже заложена семантика ‘противоречия’ (ср.
пърѣти — ἀντιλέγειν ‘спорить’, **пърѣ** — ἀντιλογία ‘спор, распря’
 и др.). Что касается лексемы **сжпостатъ**, то мы не располагаем
 примерами свободного употребления адъективированного причастия
 ***постатъ** в старославянском языке (ср. у А. Вайана: «composé avec
 sq- ... et po-statiŭ, adjectif verbal substantivé...» [Vaillant 1974: 679]),
 однако наличие в старших списках Апостола такой лексемы как
постатъ ‘сторона, часть’ [SJS III: 198]⁴⁷ (которая, однако, смещи-
 вается с грецизмом **ипостась** [SJS IV: 1041–1042]) говорит о том, что
 в старославянском языке сущ. **сжпостатъ** могло иметь морфемную
 членимость, а префикс sq- в нем — значение, сопоставимое с его
 значением в других лексемах этого ряда.

⁴⁷ Очень вероятно, что лексема **постатъ** была в тексте Апостола
 изначально, так как сохраняется в списках и болгарского, и сербского
 изводов, хотя и имеется тенденция к ее замене. Ср., например, в II Кор 3,10:

καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ δεδόξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει...

— **нбо не прославлаетъ се прославланокъ въ постатн сен**.
 Шиш; **части** в Христ, Толк, Толст; **чъсти** в Мат; **ипостати** в Слеч (см.
 также примечание Г. А. Воскресенского в [Воскресенский 1908: 32]). Сущ.
постатъ сохраняется и при цитации этого текста в списке XIV/XV вв.
 Пандектов Антиоха [Срезн II: 1261; СлРЯ XI–XVII 17: 236].

Для наименования «победителя» в старославянском лексиконе основной лексемой было образованное от гл. **побѣдѣти** с суффиксом **-tel(ь)** сущ. **побѣдѣтель**, которое встречается в нескольких старославянских рукописях и переводит как греч. *νικητής* ‘победитель’ (Супр 489,23; Ен 12b 14), так и двукорневой композит *νικηφόρος* ‘букв. победоносный’ (Супр 467,25). «Словообразовательный вариант» **побѣдѣникъ**, образованный от прил. **побѣдѣнъ** при мотивации также существительным **побѣда** ‘победа’ [Ефимова 2006: 54–55], со значением наименования лица — гапакс Супрасльской рукописи, где употреблен в качестве относящегося к цесарю эпитета — вместо *νικητής*, *τροπαιοῦχος* в греческом оригинале:

«Βασίλειος Θεοδόσιος, νικητής, τροπαιοῦχος ...»
 — **цѣсарь ѿѡдосин . побѣдѣникъ самодръжець ...** Супр 199,20.

Также гапаксом Супрасльской рукописи является и композит **побѣдотворьць** ‘победитель, букв. творящий победу’ (Супр 95,10), который переводит греч. *τροπαιοφόρος* ‘букв. несущий победные трофеи’ (ср. *τὸ τροπαιον* ‘победный трофей’, *φορέω* ‘носить’). В этом случае мы видим пример несовпадения семантики компонентов старославянского двукорневого композита при сопоставлении его с греческим двукорневым композитом, которому он соответствует в тексте греческого оригинала. Такие случаи нередко объясняются тем, что старославянские композиты, созданные как кальки греческих композитов, могли впоследствии использоваться и для перевода других греческих лексем, сходных по значению [Bláhová 1996: 261; Ефимова 2007а: 124–125]. Калькируемым греческим композитом, использованным для создания ст.-слав. **побѣдотворьць**, мог бы быть *νικητοίος* (ср. *ἡ νίκη* ‘победа’, *ποιέω* ‘создавать, творить’). В отличие от оформленного суффиксом **-ьс(ь)** старославянского композита, греч. *νικητοίος* — лексема с аффиксально невыраженной принадлежностью к категориям существительного или прилагательного, однако такие соотношения в парах «калькируемое — калькированное» типичны для старославянского калькирования [Ефимова 2006: 12, 67, 81–83 и др.; Ефимова 2007а: 122]. В пределах греческих оригиналов старославянских рукописей *νικητοίος* встречается в оригинале гомилии № 28 из Супрасльской

рукописи, однако передается в славянском переводе прилагательным **ПОВѢДЛИВЪТИ** — в соответствии с требованиями контекста (так же и в Успенском сборнике, Усп.сб. 234б 12). Ср.:

καὶ τὸ καινὸν σύνθεμα τῆς εἰρήνης ἕδειν τῷ νικητοῖῳ
Χριστῷ ἐδίδαξαν.

— и новок съложеник мироу . пѣтию . повѣдливоуоумоу
христосовоу (вм. христосоу) наоучиша . Супр 319,8.

Случая употребления композита **ПОВѢДОТВОРЬЦЬ** в собственно старославянских рукописях более не имеется, но в древнерусском списке XI в. Пандектов Антиоха — произведения, восходящего к старославянскому протографу, находим соответствие **ПОВѢДОТВОРЬЦЬ** — νικητοῖος [Срезн II: 991], т. е. соответствие с совпадением семантики компонентов. Таким образом, мы имеем основания утверждать, что **ПОВѢДОТВОРЬЦЬ** является закономерной калькой греч. νικητοῖος.

Следует отметить, что сущ. **ПОВѢДИТЕЛЬ** в старославянских рукописях используется не в «военных» контекстах, а для номинации «победителя смерти», «победителя болезни», «победителя дьявола», «победителя злых сил», являя собой метафорическое наименование Христа. Например, в Тропаре на воскресение Лазаря:

из мрѣвхъ въскрѣси лазарѣ хѣ бѣ ншь ... тебѣ въпиемъ .
повѣдителю смрѣти . Струм 61а 12;
... [по]вѣдителю съ[мрѣти] ... Ен 12b 14⁴⁸.

Так же **ПОВѢДОТВОРЬЦЬ** используется и в контексте, где речь идет о победе д у х о в н о й («Похвала 40 мученикам»):

‘Н ἄφθονος εὐεργεσία, ἢ μὴ δαπανωμένη χάρις, ἐτοίμη βοή-
θεια χριστιανοῖς, ἐκκλησία μαρτύρων, στρατὸς τροπαιοφό-
ρων (букв. ‘войско победоносных’), χορὸς δοξολογούντων.
— не завидаштек благодѣаник . неиздакмаа благодѣть .
готова помошть крѣстьяномъ . съборъ мжченикъ . воини
повѣдотворци . ликъ славословантиихъ . Супр 95,10.

⁴⁸ Так как в Енинском апостоле текст сохранился плохо, цитируем сначала по Струмицкому апостолу.

Таким образом, можно заключить, что группу «сражающихся» в старославянском лексиконе составляли в основном славянские образования: как «старые» лексемы (**воинъ, вождь, врагъ**), так и — в большей мере — новые образования с продуктивными суффиксами, среди которых были явно созданные самими древними книжниками, в том числе и с помощью калькирования. Книжные гречизмы в этой группе были редки и не составляли серьезной конкуренции славянским лексемам.

Рассмотрев группу «сражающихся», как бы в противоположность ей упомянем еще об одной интересной кальке с греческого — композите **миротворецъ** ‘миротворец’, так как с помощью этой лексемы можно наглядно продемонстрировать механизм использования древними книжниками калек с греческого в славянских переводах. В гомилии № 28 из Супрасльской рукописи лексема **миротворецъ** (Супр 329,9) переводит греческий композит εἰρηνόρχης ‘букв. судья’ [Liddell-Scott 1996: 490], являя собой пример несовпадения семантики компонентов старославянского двукорневого композита при сопоставлении его с греческим двукорневым композитом, которому он соответствует в тексте греческого оригинала, подобный случаю с **побѣдотворецъ** — τροπαιφόρος (в случае **миротворецъ** — εἰρηνόρχης наблюдается несовпадение семантики только вторых опорных компонентов — ср.: εἰρήνη ‘мир, мирная жизнь’, ὄρχη ‘начало’, ‘первопричина’, ‘власть’, ὄρχω ‘начинать’, ‘быть первопричиной’, ‘править, властвовать’). Однако в Сборнике Клоца композит **миротворецъ** употреблен для перевода греческого композита εἰρηνοποιός (Клоц 9а 38–39), а в паре **миротворецъ** — εἰρηνοποιός семантика компонентов совпадает (ср. ποιέω ‘создавать, творить’). Таким образом, мы видим как лексема **миротворецъ**, созданная как калька с греч. εἰρηνοποιός (оформление старославянского композита суффиксом -ьс(ь) аналогично тому, какое наблюдается в образовании композита **побѣдотворецъ**, см. выше), далее используется древними книжниками для перевода другого греческого композита со сходным значением.

Последняя из рассматриваемых в нашей работе групп наименований лица — большая группа имен «трудящихся». Как полагает Т. И. Вендина (и в этом с ней можно согласиться), эта группа

позволяет составить «общее представление о профессиональной деятельности средневекового человека» [Вендина 2002: 34]. С разбиением имен «трудящихся» на подгруппы мы не совсем согласны с Т. И. Вендиной, хотя и считаем целесообразным ее намерение выделить в отдельные группы наименования лиц, «относящиеся к традиционной трудовой деятельности сельского населения», «средневековую интеллигенцию», наименования лиц, «связанных с мореплаванием и торговлей». В подгруппу наименований лиц, «относящихся к традиционной трудовой деятельности сельского населения», вслед за Т. И. Вендиной включаем следующие лексемы: **дѣлатель**, **винарь**, **врьтоградарь**, **гръньчарь**, **дрѣводѣла**, **жатель**, **жателанинъ**, **жньни**, **сѣвѣи**, **звѣрокрѣмьникъ**, **ловыць**, **ловаи**, **пастырь**, **пастоухъ**, **пасѣи**, **старѣишина паствинѣ**, **ратан**, **рыбарь**, **рыбитѣвъ**, **скждальникъ**. По своему значению слова этой группы, казалось бы, должны относиться к слою обывденной лексики, отбираемой, как правило, древними книжниками из народной славянской речи, однако наш анализ показывает, что даже эта группа имен довольно «пестра» по своему происхождению и способам вхождения в старославянский лексикон.

Есть в этой группе «старые» славянские лексемы с непродуктивными суффиксами, унаследованные старославянским языком из праславянского: **пастырь** 'пастух; пастырь' [ESJS 10: 630], **пастоухъ** 'то же' [ESJS 10: 629–630], **ратан** 'пахарь' [ESJS 13: 754], **рыбитѣвъ** 'рыбак' [Meillet 1905: 306], **дрѣводѣла** 'плотник' [Мейе 1951: 289]. Есть существительные с продуктивными суффиксами: с суффиксом **-(ь)ik(ь)** **скждальникъ** 'гончар'; с суффиксом **-tel(ь)** **дѣлатель** 'земледелец', **жатель** 'жнец', а также образованное от него с «лишним» суффиксом **-(j)anin(ь)** **жателанинъ** 'то же' (мы называем это явление «удвоенной аффиксацией» [Ефимова 2006: 18–20]); с суффиксом **-ьс(ь)** **ловыць** 'ловец'; с суффиксом **-ar(ь)** **винарь** 'виноградарь', **врьтоградарь** 'садовник', **гръньчарь** 'гончар', **рыбарь** 'рыбак'.

Пара **пастырь** — **пастоухъ** давно привлекала внимание палеославистов, и было доказано, что первоначально в переводах употреблялось слово **пастырь**, тогда как **пастоухъ** вошло в старославянский лексический инвентарь позже и является в нем восточноболгаризмом [Львов 1966: 206–209]. Однако оба слова —

как **пастырь**, так и **пастоухъ** — переводят всегда сущ. ποιμήν ‘пастух, перен. пастырь’, тогда как для перевода субстантивно употребляемых причастий ὁ βόσκων ‘пастух’ (Мт 8,33; Мк 5,14; Л 8,34) и ὁ ποιμαίνων ‘пастух, перен. пастырь’ (Пс 79,2) древние книжники использовали субстантивно употребляемое причастие **пасыи**. Например, в Мт 8,33:

οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, ...

— **и пасыштен вѣжаша** . Зогр, Мар, Ас, Сав;

в Пс 79,2:

‘Ὁ ποιμαίνων τὸν Ἰσραὴλ, πρόσχες, ὁ ὀδηγῶν ὡσεὶ πρόβατα τὸν Ἰωσήφ, ...

Пасыи-и-иѣ вънѣми . **водиѣ ѣко овчѣи иосефа** . Син 107а 18.

Перевод греч. ὁ ποιμαίνων субстантивированным причастием сохраняется при цитации этого стиха и в Синайском евхологии (Евх 11b 15 и 100а 4), и в Енинском апостоле (ср.: **пасыи иѣ вънѣми** Ен ба 1).

Поскольку перевод субстантивированным причастием **пасыи** осуществлялся при наличии в старославянском лексиконе существительного **пастырь**, а затем и **пастоухъ**, следует, видимо, предположить, что **пасыи** появляется в нем под влиянием языка греческих оригиналов. Обращает на себя внимание наличие в группе наименований лиц, «относящихся к традиционной трудовой деятельности сельского населения», и других субстантивно употребляемых причастий: **жньни** ‘жнец’, **сѣвѣи** ‘сеятель’, **ловани** ‘охотник’. К ним мы можем добавить еще и **сѣвѣи** ‘сеятель’ (перевод ὁ στείρων в Мт 13,3 и Мт 13,4 в Зогр и Мар; в Мк 4,14 там же; в Л 8,5 там же; в И 4,36 в Зогр, Мар, Ас, Ват; в И 4,37 там же; в Мк 4,3 в Мар и Ват; в Зогр 129v 5; в Мар 76b 1; в Евх 12b 9), **въсѣвѣи** ‘то же’ (перевод ὁ στείρων в Мт 13,37 в Зогр, Мар, Ас, Унд), **оуловѣи** ‘ловец’ (перевод ὁ θηρεύσας в Супр 328,27–28).

Соотношение с греческими соответствиями в синонимическом ряду **жатель** — **жателанинъ** — **жньни** примерно такое же, как в ряду **пастырь** — **пастоухъ** — **пасыи**. Существительные **жатель** и **жателанинъ** переводят суффиксальное сущ. θεριστής, а субстантивно употребляемое причастие **жньни** — субстантивно употребляемое причастие ὁ θεριζών. Причем в евангельском тексте перевод **жньни** оказывается устойчивым (И 4,36 bis в Зогр, Мар, Ас, Ват; в

И 4,37 в тех же списках), тогда как суффиксальное сущ. **ЖАТЕЛЬ** (Мт 13,39 в Зогр, Мар и Унд; Мт 13,30 в Унд) производит впечатление неологизма и имеет тенденцию к замене — как образованным от него путем «удвоенной аффиксации» явным неологизмом **ЖАТЕЛАННИЪ**, так и существительным **ДѢЛАТЕЛЬ**. Ср. в И 4,37:

καὶ ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων.

— **ѢКО ИНЪ ЕСТЬ СѢМИ** . **І ИНЪ ЕСТЬ ЖЫНІ** . Зогр, Мар, Ас, Ват; и в Мт 13,30:

καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς·

— **И ВЪ ВРѢМА ЖАТВѢ РЕКЖ ЖАТЕЛЕМЪ** . Унд;

— **И ВЪ ВРѢМА ЖАТВѢ . РЕКЖ ЖАТЕЛѢНЕМЪ** . Ас 126b 4;

— **І ВЪ ВРѢМА ЖАТВѢ РЕКЖ ДѢЛАТЕЛЕМЪ** . Зогр, Мар.

Сущ. **ДѢЛАТЕЛЬ** — наиболее частотное в данной группе имен (по данным Словаря 1994 — более 100 уп.) и покрывает широкое семантическое поле, означая лицо, мотивированное гл. **ДѢЛАТИ** и получающее свое значение по формуле «тот, кто + действие по мотивирующему глаголу», характерной для существительных с суффиксом **-tel(ь)** [Ефимова 2006: 62]. Таким образом, среди значений сущ. **ДѢЛАТЕЛЬ** оказываются как более общие типа ‘делающий что-либо’, ‘деятель’ (при переводе греч. ἐργάτης и даже κήρυξ ‘проповедник’), ‘работник’ (при переводе греч. ἐγκάθετος, ὁ κοπιῶν), так и менее общие типа ‘земледелец’ (при переводе греч. γεωργός ‘земледелец’), и совсем частное ‘жнец’ (при переводе греч. θεριστής).

Греч. γεωργός ‘земледелец’ имеет также в старославянском лексиконе своими соответствиями сущ. **ТАЖАТЕЛЬ** и «старую» лексему **РАТАИ**. В притче о злых виноградарях в Евангелиях от Матфея и Луки (Мт 21,22–41 и Л 20,9–16) греч. γεωργός переводится как **ДѢЛАТЕЛЬ** (в том числе и в тексте апракоса), тогда как в Евангелии от Марка (Мк 12,1–9) — как **ТАЖАТЕЛЬ**. Следует отметить, что образование и сущ. **ДѢЛАТЕЛЬ**, и сущ. **ТАЖАТЕЛЬ** не связано с калькированием двукорневого греческого соответствия γεωργός, так как оба существительных — однокорневые и образованы от соответствующих глаголов **ДѢЛАТИ** и **ТАЖАТИ**⁴⁹ с

⁴⁹ Гл. **ТАЖАТИ**, мотивирующий сущ. **ТАЖАТЕЛЬ**, в старославянских рукописях не встречается, но причастные формы этого глагола отмечены —

помощью продуктивного суффикса *-tel(ь)*. В относительно более поздних переводах (паремейный текст, Пандекты Антиоха) к этому ряду присоединяется еще и словообразовательный синоним существительного **тѣжатель** — сущ. **тѣжарь** [SJS IV: 559; Срезн III: 1102], образованное от гл. **тѣжати** с суффиксом *-af(ь)*. Этот факт был замечен еще А. Мейе [Meillet 1905: 212], и связан он с общей тенденцией активизации словообразовательной модели с суффиксом *-af(ь)* в старославянском языке и развития ее продуктивности в общеславянском литературном языке XI–XIV вв. [Чурмаева 1964; Ефимова 2006: 85–91]. Существительное с непродуктивным суффиксом *-taj(ь)* **ратан** в старославянском лексиконе — гапак Супрасльской рукописи, хотя встречается (однако, нечасто) и в паримийном тексте, и в сочинениях Иоанна Экзарха Болгарского, и в других текстах, восходящих к старославянским протографам (см., например, в [SJS III: 627; Срезн III: 104]). Выбор «старой» лексемы **ратан** в Супрасльской рукописи обусловлен, возможно, и стилистическими причинами: речь идет не просто о земледельце, а о земледельце-«деревенщине» (не просто **ратан**, а **польскъин ратан** — ἄγροικος γεωργός):

Πᾶνλος τίς ἄγροικος γεωργός, καθ' ὑπερβολήν ἄκακος καὶ ἄπλοῦς τὸν βίον, ὠραιοτάτη γυναικὶ συνεζεύχθη...

павль нѣкъто польскъин ратан . издрадь безълобенъ и простъ житникъ . съ красъноѡ женоѡ съпраже са .
Супр 169,4.

Семантическое различие греч. ὀλιεῖω ‘рыбачить, ловить рыбу’ (от ὀ ἅλις ‘соль’, ἡ ἅλις ‘поэтич. море’ [Frisk I: 78]) и θηρεῖω ‘охотиться’ (от ὀ θήρ ‘дикий зверь’ [Frisk I: 671–672]) получает свою «нейтрализацию» в ст.-слав. **ловити** ‘ловить’, **оуловити** ‘поймать’ и, соответственно, в образованном от этих глаголов ряде наименований лица: **ловьць** — **лован** — **оуловъти**, в котором и образованное с

причем в разных контекстах — в древнерусских списках Изборников, восходящих к старославянским протографам (Изб 1073 119г 10–11 и Изб 1076 84а 12–13). Встречается гл. **тѣжати** и в древнерусской Декабрьской минее XII/XIII вв. (л. 15,1) [Christians 2001: 215], что тоже свидетельствует о вероятности наличия этого глагола в старославянском языке.

продуктивным суффиксом -ЬС(Ь) сущ. **ЛОВЬЦЬ**, и субстантивированные причастия **ЛОВАН** и **ОУЛОВЪТИ** получают свое значение по формуле «*кто + действие по мотивирующему глаголу*», а в зависимости от контекста могут передавать значения ‘охотник’, ‘ловчий’, ‘рыбак’ и т. п. Исходя из того, что сущ. **ЛОВЬЦЬ** употребляется для передачи как греч. ἄλιεύς — суффиксального существительного, но с семантикой ‘*ловли рыбы*’ (в Мт 4,18 в Ас и Сав; в Мт 4,19 в Зогр, Ас, Сав и при цитации этого стиха в Супр 496,3; в Мк 1,17 в Зогр и Мар), так и двукорневого композита λυκόθηρ (Супр 328,24; ср. ὁ λύκος ‘*волк*’, ὁ θήρ ‘*дикий зверь*’), можно предполагать, что **ЛОВЬЦЬ** является исконно славянским словом, образование которого не связано с влиянием морфемных и семантических структур его греческих соответствий. Что же касается субстантивированных причастий **ЛОВАН** и **ОУЛОВЪТИ**, их появление в старославянском лексическом инвентаре, так же как и упомянутых выше **ЖЬНЫИ**, **СЪЬИИ**, **СЪВЪТИ**, **ВЪСЪВЪТИ**, обязано языку греческих оригиналов. Ср. перевод греческого субстантивно употребленного причастия ὁ θηρεύων как **ЛОВАН** в Пс 123,7:

ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὡς στρουθίον ἐρρύσθη ἐκ τῆς παγίδος τῶν
θηρευόντων·

— **ДѢША НАША ꙗко птица избавитъ ся отъ сѣти
ловѣштитѣхъ** . Син;

перевод в Супрасльской рукописи греческого субстантивно употребленного причастия ὁ ἄλιεύων тоже как **ЛОВАН**:

Οἱ γὰρ ἀλιεύοντες ἀεὶ ἐκ τῶν ὑδάτων ἐκβάλλουσι τοὺς
ἰχθύας, ...

— **ЛОВѢШТИИ БО ПРИСНО ОТЪ ВОДѢ ИЗНОСАТЪ РИБЫ** . Супр
496,4;

перевод в Супрасльской рукописи греческого субстантивно употребленного причастия ὁ θηρεύσας как **ОУЛОВЪТИ**:

οὕτω τοῖς νοητοῖς καὶ ψυχοφθόροις λύκοις ἑαυτὸν ὡς
ἄνθρωπον προθεῖς ὁ ἀρχιποιμὴν θήραμα ποιήσῃ τοὺς
θηρεύσαντας τῷ πάλαι θηρευθέντι ὑπ’ αὐτῶν Ἀδάμ.

— **СИЦЕ РАЗОУМЪНЫИМЪ И ДОУШЕГОУВЪНЫИМЪ ВЪЛКОМЪ .
СЕБЕ СИ АКЪ ЧЛОВѢКА ПОЛОЖИВЪ СТАРѢШИИНА ПОСТВИНѢ .
ЛОВИТВѢЖ СЪТВОРИТЪ ОУЛОВЪШНИИМЪ . ПРѢЖДЕ ОУЛОВЪКНОУ-
ОУМОУ ОТЪ НИХЪ АДАМОУ** . Супр 328,27–28.

Однако не всегда в дошедших до нашего времени рукописях «старославянского канона» соответствия в ряду **ЛОВЬЦЬ** — **ЛОВАН** — **ОУЛОВЪИ** полностью совпадают морфологически, и в Синайской псалтыри наблюдается перевод генитива суффиксального сущ. $\theta\eta\rho\epsilon\upsilon\tau\acute{\eta}\varsigma$ притяжательным прил. **ЛОВЬЧЬ**, образованным от сущ. **ЛОВЬЦЬ**. Ср. в Пс. 90,3:

$\theta\tau\iota\ \alpha\upsilon\tau\acute{o}\varsigma\ \rho\acute{\upsilon}\sigma\epsilon\tau\alpha\acute{\iota}\ \mu\epsilon\ \epsilon\kappa\ \rho\alpha\gamma\acute{\iota}\delta\omicron\varsigma\ \theta\eta\rho\epsilon\upsilon\tau\acute{\omega}\nu\ \dots$
 — **ѢКО ТЪ ИЗБАВІТЬ МЯ ОТЪ СѢТИ ЛОВЬЧЬА** . Син.

Употребление прил. **ЛОВЬЧЬ** сохраняется и при цитации этого псалма в Супрасльской рукописи (Супр 70,23), однако в Синайском евхологии при его реминисценции используется субстантивированное причастие **ЛОВАН**:

ДАННА ИЗ ОУСТЪ ЛЬВОВЪ (Дан 6,22 — В.Е.) . **ИЗБАВИ МА ОТЪ СѢТИ ЛОВАЩИИХЪ М'НЕ** . Евх 85а 15.

Греческое сущ. $\acute{\alpha}\lambda\epsilon\upsilon\acute{\sigma}$ переводится также и словом **РЪВАРЬ** ‘рыбак’ — существительным, образованным с суффиксом -аг(ь). Этот суффикс стал, как упоминалось выше, в старославянском языке продуктивным. Сущ. **РЪВАРЬ** появляется, возможно, только в тексте тетраевангелия (в Мк 1,16 в Зогр и Мар; в Л 5,2 в Зогр), заменяя при этом в Мт 4,18 (Зогр) употребленное в тексте апракоса сущ. **ЛОВЬЦЬ**, видимо, первоначальное. В Л 5,2 в Мариинском и Ассеманиевом евангелиях на месте $\acute{\alpha}\lambda\epsilon\upsilon\acute{\sigma}$ употреблена «старая» лексема **РЪБИТВЪ** ‘рыбак’, которую, однако, Р. М. Цейтлин считала для старославянского языка «вряд ли... архаизмом, скорее диалектизмом» [Цейтлин 1977: 119].

Кроме **РЪВАРЬ** из существительных с суффиксом -аг(ь) в евангельском тексте употребляются **ВИНАРЬ** ‘виноградарь’ (Л 13,7 в Зогр и Мар) и **ВРЪТОГРАДАРЬ** ‘садовник’ (И 20,15 в Ас и Мар). Судя по несовпадению морфемных и словообразовательных структур этих существительных и их греческих соответствий, образование лексем **ВИНАРЬ** и **ВРЪТОГРАДАРЬ** не связано с греческим влиянием. Так, сущ. **ВИНАРЬ**, суффиксальное образование от сущ. **ВИНО** в значении ‘виноградная лоза’, используется для перевода двукорневого композита $\acute{\alpha}\mu\pi\epsilon\lambda\omicron\upsilon\rho\gamma\acute{o}\varsigma$ ‘виноградарь’ (< $\acute{\alpha}\mu\pi\epsilon\lambda\omicron$ - $\epsilon\rho\gamma\acute{o}\varsigma$, ср. $\acute{\eta}\ \acute{\alpha}\mu\pi\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ ‘виноградная лоза’, $\tau\acute{o}\ \acute{\epsilon}\rho\gamma\omicron\nu$ ‘труд, работа’); сущ. **ВРЪТОГРАДАРЬ**,

суффиксальное образование от сущ. **врътоградъ** ‘сад, огород’, используется для перевода двукорневого композита κηπουρός ‘хранитель садов, садовник’ (ср. ὁ κήπος ‘сад’, ὁρῶ ‘смотреть’, ὁ οὐρός ‘сторож, хранитель’). Образованная с суффиксом -аг(ь) от сущ. **гръньць** ‘горшок’⁵⁰ лексема **гръньчарь** ‘гончар’, переводящая греч. κεραμεύς, — гапак Супрасльской рукописи (Супр 396,20–21). Есть основания полагать, что первоначально в старославянский лексический инвентарь для перевода κεραμεύς вошло сущ. **скждальникъ** (образованное с суффиксом -ьпик(ь) от сущ. **скждальъ** ‘глиняный черепок’): оно используется в тексте Псалтыри (Пс 2,9 Син), а в евангельском тексте для перевода генитива τοῦ κεραμεῶς употребляются образованные от него притяжательные прилагательные: **скждальничъ** уже в тексте апракоса (Мт 27,7 в Ас и Сав; Мт 27,10 в Ас, Сав, Зоґр и Мар), **скждальниковъ** — в тексте тетра (Мт 27,7 в Зоґр и Мар).

Лексема **звѣрокрѣмьникъ** ‘тот, кто кормит зверей’ — гапак Супрасльской рукописи. Образованная по славянской словообразовательной модели, с ясной мотивацией, она употреблена в «Житии Александра Сидского», греческий оригинал которого на сегодняшний день неизвестен (т. е. в пределах собственно старославянских рукописей лексема не знает греческого соответствия). Тем не менее, этот композит несомненно является калькой с греч. θηροτρόφος [Bláhová 2007: 348], двукорневого композита (ср. ὁ θήρ ‘дикий зверь’, ὁ τροφός ‘кормилец’). Следует отметить, что оформление этой кальки суффиксом -ьпик(ь), не очень типичное для старославянского калькирования, особенно для калек с опорным компонентом глагольного происхождения [Ефимова 2006: 339], не было «устойчивым»: более поздние памятники демонстрируют несколько вариантов калькирования греч. θηροτρόφος с другими суффиксами: **звѣрокрѣмьць**, **звѣрокрѣмитель**, **звѣрокрѣмъчии** [Срезн II: 966; СлРЯ XI–XVII 5: 352–353].

«Старая» славянская лексема **дрѣводѣла** ‘плотник’, используемая для перевода греч. τέκτων, появляется только в Супрасльской

⁵⁰ Сущ. **гръньць** не встречается в собственно старославянских рукописях, но неоднократно употребляется в списках, восходящих к старославянским протографам [Ефимова 2006: 86].

рукописи (Супр 246,13), содержащей относительно поздние по переводу тексты. В евангельском тексте в соответствии с τέκτων употребляется грецизм **тектонъ** (Мк 6,3 в Зогра и Мар), а для перевода генитива τοῦ τέκτονος — притяжательное прил. **тектоновъ** (Мт 13,55 в Зогра и Мар). К группе наименований лиц, относящихся «к традиционной трудовой деятельности сельского населения», следует, видимо, отнести также еще один грецизм, употребляющийся в евангельском тексте (Мк 9,3 в Зогра и Мар), а именно сущ. **гнафен** (греч. γναφεύς ‘валяльщик, сукновал’⁵¹, от гл. κνόπτω ‘валять, чесать шерсть’ [Frisk I: 881]).

В терминологическом словосочетании **старѣшина паствинѣ** слово **паствина** имеет значение ‘паства’ [Ефимова 2006: 113, примечание 1], а сам термин, переводящий греч. ἄρχιποιόν в Супрасльской рукописи — значение ‘главный пастырь’ (Супр 328,26–27; контекст см. выше в примере на употребление субстантивированного прич. **оуловъи**)⁵².

⁵¹ Старославянские словари указывают для **гнафен** значение ‘белильщик’ [Словарь 1994: 171; SJS I: 406], подсказанное контекстом.

⁵² Как было отмечено еще И. Добревым [Добрев 1978: 93–94], передача греческих композит с первым компонентом ἄρχι- словосочетаниями со словом **старѣшина** характерна для переводов, связанных с деятельностью преславских книжников (в том числе и с редактированием текстов Супрасльской рукописи). Помимо упомянутых выше примеров передачи в Супрасльской рукописи греч. ἄρχιερεύς словосочетаниями **старѣшина жрьцѣмъ** (Супр 340,15; 340,18), **старѣшина жрьчьскъ** (Супр 230,14; 407,27; 408,28; 410,26–27), **старѣшина молитвѣникомъ** (Супр 330,13; 359,7), укажем также на передачу греч. ἄρχιεργός ‘верховный жрец’ словосочетаниями **старѣшина жрьчьскъ** (Супр 257,6) и **старѣшина вльшьскъ** (Супр 260,7). Замена грецизма **архикрен** на **старѣшина жрьчьскъ** наблюдается и в Мт 21,23 в Зографском палимпсесте — рукописи, которую тоже связывают с деятельностью преславских книжников. Возможно также, что и упомянутая выше замена грецизма **архикрен** на **старѣшина сватитель** в списках Апостола имеет то же происхождение. В то же время в евангельском тексте компонент ἄρχι- в композите ἄρχιτελώνης передается словосочетанием с компаративом **старѣи**. Ср. в чтении Л 19,2: καὶ αὐτὸς ἦν ἄρχιτελώνης — **и съ вѣ старѣи мьтаремъ**. Зогра, Мар, Ас.

Таким образом, мы видим, что подгруппа наименований лиц, занимающихся традиционной трудовой деятельностью, включает в себя и «старые» славянские лексемы, унаследованные старославянским лексиконом из праславянского языка (**РАТАН**, **ДРЪВОДѢЛА** и др.), и новые образования с продуктивными суффиксами (**ЖАТЕЛЬ**, **ЖАТЕЛАНИНЪ**, образования с суффиксом -аг(ь)). Среди последних есть как лексемы, на словообразование которых морфемная структура греческих соответствий не оказала влияния (**ВИНАРЬ**, **ВРЪТОГРАДАРЬ**), так и лексемы, созданные под влиянием греческих соответствий (калька **ЗВЪРОКРЪМНИКЪ**, субстантивно употребляемые причастия), которые, следовательно, нужно отнести к слою книжной лексики. К книжной лексике относятся, конечно, и собственно грецизмы (**ТЕКТОНЪ**, **ГНАФЕН**).

В подгруппу «средневековой интеллигенции» вслед за Т. И. Вендиной мы относим следующие лексемы: **БОГОСЛОВЪ**, **БОГОСЛОВЬЦЪ**, **ЕВАНГЕЛИСТЪ**, **ПѢВЬЦЪ**, **ЧЪТЬЦЪ**, **САКЕЛАРИИ**, **ЗВЪЗДОЗЬРЬЦЪ**, **СЛОВОПИСАТЕЛЬ**, **СЪПИСАНИ**, **ИДРОПИШЬЦЪ**, **КЪНИЖНИКЪ**, **ЗАКОННИКЪ**, **ЗАКОНООУЧИТЕЛЬ**, **ЗАКОНОДАВЬЦЪ**, **ЗАКОНОДАНИ**, **КАЗАТЕЛЬ**, **НАСТАВНИКЪ**, **ПѢСТОУНЪ**, **ОУЧИТЕЛЬ**, **РАВВИ**, **ОУЧАНИ**, **СЪЖДИИ**, **СЪЖДИТЕЛЬ**, **КЛЕВЕТАРЬ**, **ОБАДИТЕЛЬ**, **ПОРЖЬНИКЪ**, **МЪТАРЬ**, **МЪТГОИМЬЦЪ**, **МЪЗДОИМЬЦЪ**. К ним мы добавим также **КЪНИГЪЧИИ**, **ШАРЪЧНИ**, **ШАРОПИСАТЕЛЬ**, **САКЕЛАРЬ** и **САКЕЛАРЪ**, **БАНИИ**, **ВРАЧЬ**, **ИЦѢЛИТЕЛЬ**, **ЦѢЛИТЕЛЬ**, **ОУЧЕНИКЪ**, **СЪВѢДѢТЕЛЬ**, **ОБЛИЧИТЕЛЬ**, **КЛЕВЕТНИКЪ**, **СЪСТАВЬНИКЪ**.

Как ни странно, в этой большой группе лексем, самым тесным образом связанной через язык греческих оригиналов с культурой византийского мира, почти нет грецизмов. В пределах старославянского лексикона мы можем указать на грецизм **ЕВАНГЕЛИСТЪ** ‘евангелист’ — греч. εὐαγγελιστής, высокая частотность которого (30 уп.) обусловлена специфическим содержанием старославянских текстов, **РАВВИ** ‘учитель’ — греч. ῥαββί (в греческом — гебраизм) и на встречающийся в Супрасльской рукописи адаптированный в разных вариантах грецизм **САКЕЛАРИИ/САКЕЛАРЪ/САКЕЛАРЬ** ‘хранитель церковной казны’ — греч. σακελλάριος, в котором последовательность фонем [аг'] или [аг] могла восприниматься уже как продуктивный суффикс -аг(ь) [Ефимова 2006: 91]. Вместе с тем в этой группе много образований с продуктивными суффиксами и особенно

много калек с греческого, на структуре которых, однако, в значительной мере отразились особенности старославянского словообразовательного механизма и даже славянской лексической сочетаемости исходных компонентов композитов.

Двукорневые композиты по большей части образуются суффиксально-сложным способом словообразования и калькируются с неполным соответствием морфемных структур в парах «калькируемое — калькированное», что, как уже было сказано выше, вообще характерно для старославянского калькирования. Эти несоответствия обуславливаются как случаями несовпадения частеречного происхождения вторых (опорных) компонентов греческого и старославянского композитов, так и — особенно часто — указывающим на частеречную принадлежность суффиксальным оформлением старославянской лексемы при отсутствии такового у лексемы греческой. Таким образом, мы имеем: θεολόγος — **БОГОСЛОВЬЦЬ** ‘богослов’, ἀστρομαγικός — **ЗВѢЗДОЗЬРЬЦЬ** ‘звездочет, астролог’, λογογράφος — **СЛОВОПИСАТЕЛЬ** ‘писатель, летописец’, ὀξύγραφος — **ИДРОПИШЬЦЬ** ‘скорописец’, ζωγράφος — **ШАРОПИСАТЕЛЬ** ‘живописец’. Более точный с точки зрения морфемной структуры вариант кальки с греч. θεολόγος представляет собой композит **БОГОСЛОВЪ**, так же суффиксально не оформленный. Более редким для старославянского калькирования способом чистого сложения образован композит **ЗАКОНООУЧИТЕЛЬ** — калька с греч. νομοδιδάσκαλος. В этом случае второй (опорный) компонент композита **ОУЧИТЕЛЬ** существует в старославянском лексиконе в качестве самостоятельной лексемы. Способ чистого сложения можно предполагать также для калек **СЛОВОПИСАТЕЛЬ** и **ШАРОПИСАТЕЛЬ** [Ефимова 2006: 67–68].

Композиты **ЗВѢЗДОЗЬРЬЦЬ**, **ЗАКОНОДАВЬЦЬ**, **ЗАКОНОДАЯИ**, **ШАРОПИСАТЕЛЬ** представляют собой частичные кальки своих греческих соответствий, совпадая семантически лишь с одним из двух компонентов. Так, **ЗВѢЗДОЗЬРЬЦЬ** ‘звездочет, астролог’, букв. ‘наблюдающий звезды’ калькирует композит ἀστρομαγικός ‘астролог’, т. е. ‘занимающийся изучением звезд как магической наукой’, совпадая семантически только с первым компонентом (ср. τὸ ἀστρον ‘звезда’, μαγικός ‘магический’). Композит **ШАРОПИСАТЕЛЬ** ‘живописец’ калькирует композит ζωγράφος, совпадая семантически

только со вторым компонентом (ср. **шаръ** ‘краска’, ἡ ζωή ‘жизнь’, ζῶς ‘живой’, γράφω ‘писать, рисовать’, ζῶα γράφεσθαί τι ‘писать с природы’). Возможно, в старославянский лексикон входила и семантически более точная калька с ζωγράφος — композит **живописьць** ‘живописец’, так как он встречается в древнерусском списке Минеи 1097 г. [Срезн I: 866; СлРЯ XI–XVII 5: 102]. Можно также предположить, что первый компонент **шаръ** в композите **шарописатель**, гапаксе Супрасльской рукописи (Супр 83,9), был выбран преславскими книжниками под влиянием сущ. **шаръчни** ‘живописец’, который также встречается в Супрасльской рукописи (Супр 418,1). Мотивирующее для **шаръчни** сущ. **шаръ** ‘краска’ (Супр 381,30; Супр 418,2) является тюркизмом [Фасмер IV: 406–407], а **шаръчни**, таким образом, в словообразовательной системе старославянского языка вычленил суффикс -ъСї(і), но, возможно, по происхождению и **шаръчни** — тоже тюркизм, т. е. целиком заимствованная лексема [Львов 1973: 226–227; Делева 1997: 38], который вошел в старославянский лексикон из народной славянской речи (см. выше на с. 40 о слове **самъчни**).

В композите **законодавыць**, кальке с греч. νομοθέτης, также семантически совпадает с греческим соответствием лишь первый компонент, однако здесь семантическое несовпадение вторых компонентов можно объяснить разной сочетаемостью слов, на базе которых создается композит, в славянском и греческом. В греческом ὁ νόμος ‘закон’ сочетался не с гл. δίδωμι ‘давать’, а с гл. τίθημι ‘ставить, класть’, а также ‘учреждать’ (ср. ἡ θέσις νόμων ‘законодательство’). Композит νομοθέτης (где θέτης от τίθημι) следует сочетаемости лексемы νόμος ‘закон’ с гл. τίθημι, тогда как калька с него **законодавыць** образована суффиксально-сложным способом на базе гл. **дати** с семантикой ‘давания, передачи, дарения’, не предполагаемой в гл. τίθημι. Очевидно, что здесь процедура калькирования следует славянской сочетаемости сущ. **законъ** с гл. **дати**, о которой свидетельствуют и перевод в Псалтыри субстантивно употребленного причастия ὁ νομοθετῶν (от гл. νομοθετέω ‘издавать законы’) калькированным причастием **законодамы** (Пс 83,7 Син), и композит **законоданик** ‘законодательство’, калькирующий греч.

νομοθέτης и употребленный в Синайском евхологии (Евх 64b 11–12).⁵³

В образовании нескольких лексем группы «средневековой интеллигенции» префиксально-суффиксальный способ словообразования сочетался, возможно, с процедурой калькирования, однако дефиниция таких случаев осложняется как возможностью аналогичных, но независимых параллельных образований в славянском и греческом, так и возможностью кальки «укорениться» в старославянском лексиконе и быть использованной для перевода других греческих лексем. К вероятным калькам с греческого мы относим **сѣставьникъ** ‘заступник, защитник’, гапакс Сборника Клоца (Клоц 11b 11), так как это существительное не находит словообразовательной мотивации на славянской почве [Ефимова 2004: 38]. Видимо, данное образование с префиксом сѣ- и суффиксом -ьник(ъ) следует рассматривать как неточную кальку с греч. συνήγορος ‘единомышленник; судебный защитник’, в котором префикс сѣ- соответствует префиксу συν-, а корневая морфема -stav- — корневой морфеме -αγορ-, претерпевшей на почве греческого языка развитие семантики от ‘связанного с (рыночной) площадью’ к ‘публичной речи’ (в том числе и ‘речи защитника’).

Калькой с греч. ἐπιστάτης принято считать сущ. **наставьникъ** [Molnár 1985: 213–214; ЭССЯ 23: 76]. Действительно, между многозначным сущ. ἐπιστάτης ‘на чем-либо стоящий; надзиратель; начальник; покровитель, заступник; знаток’ и сущ. **наставьникъ**

⁵³ Интересно, что уже вошедшие в старославянский лексикон кальки с неточным семантическим соответствием морфем могли не удовлетворять преславских книжников. Композит **законодавьць** появляется для передачи греч. νομοθέτης уже в переводе Псалтыри (Пс 9,21), употребляется он и в тексте Апостола в списках разных изводов (Иак 4,12 Христ, Шиш). В Супрасльской же рукописи находим перевод греч. νομοθέτης словосочетанием с буквальным следованием семантике опорного компонента греческого композита и греческой сочетаемости: **законъ положан** (Супр 401,20). Ср. также передачу в Супрасльской рукописи греч. νομοθεσία ‘законодательство’ как **законоположенник** (Супр 277,13–14) при **законоданик** в Евх 64b 11–12.

‘наставник, учитель; руководитель’ существует изоморфемность, при которой префикс па- соответствует префиксу ἐπι-, суффикс -ьnik(ъ) — суффиксу -της, а корневой морф -ста- — корневому морфу -stav-. В пользу такого объяснения происхождения сущ. **НАСТАВНИКЪ** говорит, как будто, и такой факт, что в старославянский лексикон оно вошло в качестве перевода греч. ἐπιστάτης уже в евангельском тексте (Л 5,5; Л 8,24; Л 8,45; Л 9,33; Л 9,49; Л 17,13), и только потом использовалось для перевода других греческих лексем: ὁδηγός (Супр 74,3), κυβερνήτης (Супр 523,10), χειραγωγός (Супр 523,2)⁵⁴, однако в евангельском тексте также и для перевода καθηγητής (Мт 23,10). С другой стороны, сущ. **НАСТАВНИКЪ** может быть и чисто славянским образованием с суффиксом -ьnik(ъ) от гл. **НАСТАВИТИ** ‘указать путь; научить’. Этот глагол в свою очередь тоже, видимо, является славянским образованием, а не поморфемной калькой с греческого соответствия, в пользу чего говорит тот факт, что в евангельском тексте он переводит только гл. ὁδηγέω (И 16,13 в Зогр, Мар, Ас bis, Сав, Остр bis), этот же глагол переводит он и в тексте Псалтыри (Пс 59,11; Пс 107,11; Пс 118,35).

Такая же изоморфемность наблюдается и между сущ. ἐγγυητής и сущ. **ПОРЖЧЬНИКЪ** ‘поручитель’, употребленным один раз в Синайском евхологии и дважды в Супрасльской рукописи, где используется как для перевода греч. ἀντιφωνητής, так и ἐγγυητής⁵⁵. В паре «ст.-слав. **ПОРЖЧЬНИКЪ** — греч. ἐγγυητής» префикс ро- соответствует префиксу ἐν-, суффикс -ьnik(ъ) — суффиксу -της, а корневой морф -γυη- — корневому морфу -γῶς- (ср. ἡ ἐγγύη ‘залог, порука’, τὸ γυῖον в значении ‘рука’). Однако словообразовательные мотивации сущ. **ПОРЖЧЬНИКЪ** объясняются на славянской почве как мотивации закономерного отыменного образования по продуктивной модели с

⁵⁴ Интересно, что в Струмицком апостоле композит χειραγωγός ‘проводник; руководитель’ (ср. ἡ χεῖρ ‘рука’, ἡ ἀγωγή ‘ведение; руководство; воспитание’) передается буквалистски как **ржкоѡ вождь**:

καὶ περιάγων ἐξήτει χειραγωγούς.

— и **мракъ осазал искаше ржкоѡ вожда**. Струм 20а 5 (в Мат: **искаше вожда** .; в Шиш: **искаше вожда** .).

⁵⁵ Греческий оригинал к тексту, в котором употреблено сущ. **поржчъникъ** в Синайском евхологии (Евх 83b 9), неизвестен.

суффиксом -ьпик(ъ) от сущ. **поржка** ‘поручительство, порука’ (греч. ἡ ἐγγύη ‘залог, порука’)⁵⁶. Менее вероятным, но возможным представляется образование сущ. **поржчъникъ** от гл. **поржчити** ‘поручить, доверить’ (Супр 285,22–23, перевод гл. ἐγγχειρίζω) или от гл. **поржчати сѧ** ‘ручаться’, который в Супрасльской рукописи передает гл. ἀντιφωνέω ‘говорить в ответ; защищать в суде’⁵⁷, однако в паримийном тексте старших списков (Притчи 6,1 в Григ и Зах) переводит гл. ἐγγυάω ‘давать ручательство’. Таким образом, в этом случае мы наблюдаем параллельное развитие семантики в словообразовательных гнездах с τὸ γυλον — ἡ ἐγγύη — ἐγγυάω — ἐγγυητής и **ржка** — **поржка** — **поржчити**, **поржчати сѧ** — **поржчъникъ** в греческом и старославянском⁵⁸.

Для наименования лиц «средневековой интеллигенции» в старославянских текстах иногда используются субстантивно употребляемые причастия. Как правило, эти случаи объясняются влиянием языка греческих оригиналов. Ср., например, типичный ряд риторических вопросов и «ответов» в гомилии № 28 из Супрасльской рукописи, где греческому субстантивно употребленному прич. ὁ διδάξας соответствует ст.-слав. **наоучивъи**, ὁ σοφίσας — **оумждривъи**, ὁ συναθροίσας — **свъвкоупивъи** и **свъбравъи**:

τίς ὁ διδάξας; τίς ὁ σοφίσας; τίς ὁ συναθροίσας;
— **кто наоучивъи въи . кто оумждривъи въи . кто сввъвкоупивъи** . Супр 321,1–3;

Μάθετε παρ’ αὐτῶν (т. е. детей. — В.Е.), τίς ὁ διδάξας, τίς συναθροίσας, πόθεν τὰ διδάγματα...

— **навтыкнѣте отъ нихъ к’то наоучивъи . к’то сввъбравъи . отъкждоу оучениа** . Супр 324,27.

Несколько примеров такого же субстантивного употребления прич. **оучъи** в значении ‘учитель’ имеется на месте субстантивно

⁵⁶ Сущ. **поржка** не встречается в рукописях «старославянского канона», но отмечено в Ефремовской кормчей XII в. [СлРЯ XI–XVII 17: 138].

⁵⁷ Греческий оригинал к тексту, в котором употреблен гл. **поржчати сѧ** в Синайском евхологии (Евх 82а 20), неизвестен.

⁵⁸ Выражаю глубокую благодарность за консультации Э. Благовой, которая согласна с таким решением вопроса о происхождении этих слов.

употребленного в греческих оригиналах старославянских текстов прич. διδάσκων (Мт 15,9 Зогр и Мар; Мк 7,7 Зогр и Мар; Пс 93,10 и Пс 118,99 Син; Супр 477,28 и 477,29). Гапаксом Супрасльской рукописи является субстантивно употребленное прич. **сѣписавѣи**, которое передает сущ. συγγραφεὺς ‘летописец, историк’:

ἀλλὰ τὰ τοῦτου ἄλλοις συγγραφεῦσιν παραχωρῶ διηγή-
σασθαι·

— **нѣ сего инѣмь сѣписавѣштнимъ . оставыѣж сѣповѣ-
дати . Супр 302,2.**

Несмотря на морфологическое различие суффиксального συγγραφεὺς и субстантивированного **сѣписавѣи**, и здесь, видимо, окказионализм **сѣписавѣи** был образован под влиянием греческого соответствия — в попытке передачи греческого префикса συν-, который, как правило, калькировался префиксом съ-.

Образованные под влиянием морфемных структур своих греческих соответствий старославянские лексемы многочисленны, но малочастотны. Если посмотреть на частотность двукорневых калек, то окажется, что **богословьць** употребляется по одному разу в календарях Ассеманиева евангелия, Саввиной книги и Енинского апостола, **законооучитель** — по одному разу в Ассеманиевом и Зографском евангелиях и дважды в Мариинском⁵⁹, остальные композиты — гапаксы старославянских рукописей. Гапаксами являются **сѣставьникъ** и **сѣписавѣи**, малочастотны **поржчъникъ**, **наоучивъи** и **оучѣи**. Исключение составляет только сущ. **наставьникъ** (по данным Словаря 1994 — 29 уп.), но оно, возможно, является славянским образованием, а не калькой с греческого.

Вместе с тем не всегда наличие в греческих оригиналах двукорневых композитов, являющихся соответствиями лексем этой группы, служило древним книжникам поводом для создания старославянских

⁵⁹ В Мт 22,35 в Мариинском евангелии **законооучитель** переводит не νομοδιδάσκαλος, а νομικός, которому соответствует перевод **законьникъ** в Ассеманиевом евангелии, видимо, первоначальный. Возможно, факт такого употребления композита **законооучитель** в Мариинском евангелии следует рассматривать как свидетельство его «укоренения» в старославянском лексиконе.

калек. Одним из примеров тому является употребление «старой» славянской лексемы со значением ‘воспитатель’ — сущ. **пѣстоунъ**. В кругу рукописей «старославянского канона» она встречается только один раз — в календаре Ассеманиева евангелия (также и в календаре Остромирова евангелия вне пределов «канона»), однако, возможно, сущ. **пѣстоунъ** вошло в старославянский лексикон в тексте Апостола, в качестве перевода двукорневого композита *παῖδαγωγός* (ср. *παῖς* ‘дитя’, *ἡ ἀγωγή* ‘ведение; руководство; воспитание’), так как этот перевод сохраняют старшие списки разных изводов: в I Кор 4,15 в Охр, Слепч, Струм, Мат, Шиш, см. также примечание Г. А. Воскресенского в [Воскресенский 1906: 42]; в Гал 3, 24 и 3,25 в Охр и Струм. Употребляемые по спискам в этих стихах **наставникъ** (в I Кор 4,15 в Христ, Толк и Толст), **казатель** (в Гал 3, 24 и 3,25 в Слепч, Мат и Толст), «обновленное» с суффиксом *-nik(ь)* сущ. **пѣстоунникъ** (в Гал 3, 24 и 3,25 в Христ и Толк), грецизм **педагогъ** (в Гал 3, 24 и 3,25 в Шиш) выглядят заменами первоначального **пѣстоунъ**. В Супрасльской рукописи композит *παῖδαγωγός* переводится (хотя не совсем точно) также не композитом, а сущ. **сѣвѣдѣтель** в значении ‘знаток’ (Супр 321,3–4), образованным с суффиксом *-tel(ь)* от гл. **сѣвѣдѣти** ‘знать, понимать’.

С другой стороны, даже при наличии в старославянском лексиконе хорошо «укорененных» лексем, постоянно соответствующих греческим композитам, древние книжники иногда вводили в перевод структурный аналог греческого соответствия. Так, двукорневой композит *τελώνης* ‘сборщик налогов’ (первоначальное значение ‘откупщик налогов’, ср. *τὸ τέλος* в значении ‘подать, налог’, *ὠνεομαι* ‘брать на откуп’ [Frisk II: 1149]) переводится в старославянских текстах, как правило, словом **мытарь** — одной из высокочастотных старославянских лексем (по данным Словаря 1994 — 78 уп.). Сущ. **мытарь** является старым германизмом, осмысленным позднее, видимо, как образование с суффиксом *-ar(ь)* от сущ. **мыто** ‘подарок, взятка’ [Ефимова 2006: 86] (т. е. в этом случае перевод осуществлялся «по смыслу», а не под влиянием морфемной структуры греческого соответствия). Тем не менее мы видим попытки употребления старославянских композитов, приближающихся по морфемной структуре к греческому композиту: **мъздоньць** (Мт 9,10 и 9,11 в Зогр) и **мытоньць** (Евх). Оба композита закрепились

в старославянском лексиконе и встречаются в списках, восходящих к старославянским протографам: **мъздомьць** в Остр (Мк 2,15 и 2,16; Л 18,11 и 18,13), в Зах (Пр 15,27), в Изб 1073 (82г 10), в КПр (75,8, цитата из Тит 1,7) и др.; **мъгтоньць** — в Григ (Пр 15,27), в Изб 1073 (187а 17–18), в Изб 1076 (197,2), в Панд.Ант. XI в. [Срезн II: 221] и др.

В формировании группы имен «средневековой интеллигенции» в значительной мере отразилась и еще одна тенденция в словотворчестве древних книжников — образование новых лексем по продуктивным моделям для нужд перевода слов греческих оригиналов, но с чисто славянской словообразовательной мотивацией, т. е. вне задачи создания структурного аналога греческого соответствия. Например, формальная и семантическая структура сущ. **казатель** ‘воспитатель, наставник’, образованного с продуктивным суффиксом *-tel(ь)* от гл. **казати** в значении ‘наставлять, поучать’, хорошо объясняется на славянской почве [Ефимова 1996: 28–30]. В кругу рукописей «старославянского канона» сущ. **казатель** встречается в Супрасльской рукописи (Супр 52,3), где переводит греческий двукорневой композит $\phi\omicron\tau\alpha\gamma\omega\upsilon\acute{o}\varsigma$ ‘воспитатель, букв. проводник света’ (ср. $\tau\omicron$ $\phi\acute{o}\varsigma$ ‘свет’, η $\acute{\alpha}\gamma\omega\gamma\acute{\eta}$ ‘ведение; руководство’, η $\phi\omicron\tau\alpha\gamma\omega\upsilon\acute{o}\varsigma$ ‘окно’), а также в новооткрытой части Синайского евхология в апостольском тексте Евр 12,9 [Tarnanidis 1988: 244], где переводит сущ. $\pi\alpha\iota\delta\epsilon\upsilon\tau\acute{\eta}\varsigma$ ‘воспитатель’, суффиксальное образование от гл. $\pi\alpha\iota\delta\epsilon\upsilon\acute{o}$ ‘воспитывать’. Впрочем, в таких случаях тоже можно усмотреть влияние языка греческого оригинала, хотя и минимальное: древних книжников, стремившихся в переводах, особенно в относительно поздних, к лингвистической точности, могло удовлетворять соответствие морфемных структур старославянской и греческой лексемы, что способствовало как выбору старославянской лексемы из синонимического ряда, так и созданию новых лексем. В случае с **казатель** и $\pi\alpha\iota\delta\epsilon\upsilon\tau\acute{\eta}\varsigma$ древних книжников могло удовлетворять соответствие суффиксов *-tel(ь)* и *-της* как значимых частей слова, сходно участвующих в отглагольном образовании наименований лица⁶⁰, легко идентифицируемых в качестве таковых благодаря достаточно длинным и выразительным последовательностям фонем, что отражается в использовании сущ. **казатель** для перевода $\pi\alpha\iota\delta\epsilon\upsilon\tau\acute{\eta}\varsigma$ в

⁶⁰ Об отглагольной «сфере действия» суффикса *-της* см. [Chantraine 1933: 320]; см. также примечание 17.

других текстах, не сохранившихся в круге собственно старославянских рукописей, но дошедших до нас в более поздних списках [SJS II: 3; Срезн I: 1174; СлРЯ XI–XVII 7: 16].

Соответствие суффиксов *-tel(ь)* и *-tĭs* могло послужить поводом для образования от глаголов **ицѣлити** ‘излечить, исцелить’ и **цѣлѣти** ‘лечить, исцелять’ наименований **ицѣлитель** ‘врач, целитель’ и **цѣлитель** ‘то же’, которые используются для перевода греч. *θεραπευτής*, суффиксального существительного от гл. *θεραπεύω* в значении ‘лечить’. В синонимическом ряду **врачь** — **бални** — **цѣлитель** — **ицѣлитель** существительные **ицѣлитель** и **цѣлитель** являются малочастотными лексемами, вошедшими в старославянский лексикон относительно поздно: **ицѣлитель** встречается в Синайском евхологии (4 уп.), **цѣлитель** — в Синайском евхологии (4 уп.) и Супрасльской рукописи (2 уп.). В евангельском тексте и Псалтыри употребляются только «старые» славянские лексемы **врачь** и **бални**, которые как в евангельском тексте, так и в более поздних переводах соответствуют греч. *ἰατρός* ‘врач’ (т. е. образованию от другого корня, чем *θεραπευτής*, а именно от гл. *ἰάομαι* ‘лечить’ [Frisk I: 704–705]). Наиболее частотной лексемой в этом ряду является **врачь** (по данным Словаря 1994 — 36 уп.). Сущ. **бални** встречается в ограниченном круге старославянских рукописей (Мариинском евангелии, Синайской псалтыри, Сборнике Клоца), на основании чего А. С. Львов считал эту лексему и ее производные моравизмами [Львов 1966: 47–48], что, однако, сомнительно в свете данных более широкого круга списков и этимологии [Рибарова 2005: 26–27; РЦМ I: 333; ESJS 1: 56].

Таким же стремлением древних книжников к соответствию суффиксов *-tel(ь)* и *-tĭs* можно объяснить образование сущ. **сѣдитель** при наличии в старославянском лексиконе основного и высокочастотного слова со значением ‘судья’ — «старой» славянской лексемы **сѣднѣ** (по данным Словаря 1994 — 58 уп.). Самым распространенным греческим соответствием для **сѣднѣ** является сущ. *κριτής* с суффиксом *-tĭs*. Однако суффикс *-ij-* в сущ. **сѣднѣ**, уже не продуктивный и не очень выразительный с фонетической точки зрения, не воспринимался, видимо, древними книжниками как значащая часть слова, почему и возникла потребность в «обновле-

нии» этой лексемы продуктивным суффиксом *-tel(ь)*. Сущ. **сѣднѣль**, однако, осталось на периферии старославянского лексикона: в кругу рукописей «старославянского канона» оно встречается лишь по одному разу в Синайской псалтыри и Сборнике Клоца, нечасто оно встречается и в списках, восходящих к старославянским протографам [SJS IV: 398; Срезн III: 597].

Вместе с тем образование новых лексем с продуктивными суффиксами не обязательно инициировалось структурой греческих соответствий. Тому примером может служить образование целого ряда наименований еще одного лица «судейской практики» — лексем со значением ‘обвинитель’: **обадитель**, **обличитель**, **клеветарь**. Все эти лексемы малочастотны (**обадитель** — Супр 2 уп., **обличитель** — Клоц 2 уп, Супр 1 уп., **клеветарь** — Супр 1 уп.), характеризуются исключительно славянскими словообразовательными связями (**обадитель** — отглагольное образование с суффиксом *-tel(ь)* от **обадити** ‘обвинить’, **обличитель** — также отглагольное образование с суффиксом *-tel(ь)* от **обличити** ‘обвинить’, **клеветарь** — отсубстантивное образование с суффиксом *-ar(ь)* от **клевета** в значении ‘обвинение’⁶¹) и используются для перевода греч. *κατήγορος*, лексемы, не имеющей специального суффикса существительного. Как показывают косвенные источники, в старославянском лексическом инвентаре для перевода *κατήγορος* была и еще одна лексема с продуктивным суффиксом — еще одно отсубстантивное образование от **клевета** с суффиксом *-ьnik(ь)*, а именно сущ. **клеветьникъ** в значении ‘обвинитель’, которое использовалось в тексте Апостола [Ефимова 2006: 90, примечание 1]. Мы полагаем, что образование целого ряда малочастотных лексем с продуктивными суффиксами и значением ‘обвинитель’ свидетельствует о поиске древними книжниками адекватного слова славянского происхождения для выражения этого понятия, переданного в греческих оригиналах словом *κατήγορος*. В пользу такого предполо-

⁶¹ Сущ. **клевета** в собственно старославянских рукописях встречается только со значением ‘клевета’, однако в значении ‘обвинение’ употребляется в тексте Апостола [SJS II: 26] и, очевидно, имело это значение и в пределах старославянского лексикона.

жения говорит и тот факт, что в евангельском тексте οἱ κατήγοροι (мн. ч.) переводится «описательно» как **ИЖЕ ВАЖДААХЖ**:

ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ποῦ εἰσὶν ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροι σου; (И 8,10)

— **ИЃ РЄЧЄ ЄІ . ЖЕНО . КЪДЕ СЖТЪ ЛЖЕ НА ТА ВАЖДААХЖ .**
Зогр, Мар.

Ясными словообразовательными мотивациями характеризуются также и другие суффиксальные наименования лиц «средневековой интеллигенции», в числе которых есть и высокочастотные. Эти лексемы используются для перевода греческих соответствий как имеющих специальный суффикс существительных, так и не содержащих его, но при этом формальная и семантическая структура старославянских слов хорошо объясняется на славянской почве. Так, в отглагольных образованиях с суффиксом -ЬС(Ь) **ПѢВЬЦЬ** ‘певчий’ (в кругу старославянских рукописей греческое соответствие неизвестно, но в более поздних списках переводит греч. ψάλτης) и **ЧЬТЬЦЬ** ‘чтец в церкви’ (перевод греч. ἀναγνώστης⁶²) значение принадлежности к «церковной интеллигенции» вторично, но первичные значения этих существительных, которые должны быть ‘певец’ и ‘чтец’ соответственно, объясняются славянскими мотивациями. Начиная с перевода евангельского текста (т. е. на самом раннем этапе) в старославянский лексикон вошли существительные **КЪНИЖЬНИКЪ** и **ЗАКОНЬНИКЪ** — лексемы, сходные по значению ‘знаток закона’, но образованные для перевода разных греческих соответствий: **КЪНИЖЬНИКЪ** — греч. γραμματεὺς, **ЗАКОНЬНИКЪ** — греч. νομικός. Благодаря специфическому содержанию старославянских текстов оба существительных стали высокочастотными (**КЪНИЖЬНИКЪ** — более 100 уп., **ЗАКОНЬНИКЪ** — 23 уп.⁶³). Как **КЪНИЖЬНИКЪ**, так и **ЗАКОНЬНИКЪ**

⁶² В старославянском лексическом инвентаре, возможно, имелся и грецизм **АНАГНОСТЪ**, так как он употребляется в более поздних списках [SJS I: 33]. В Супрасльской рукописи встречается также сущ. **АНАГНОСТЬСТВО**, но этот гапакс мог быть образован и независимо, от греч. τῶν ἀναγνώστων τάξις [Ефимова 2006: 160, примечание 1].

⁶³ В кругу рукописей «старославянского канона» сущ. **ЗАКОНЬНИКЪ** в значении ‘знаток закона’ употребляется только в евангельских кодексах, однако встречается оно также и в более поздних списках со старославянских

возникли в качестве книжных лексем, но были образованы по продуктивной славянской модели с помощью суффикса *-ъnik(ъ)* в качестве отсубстантивных существительных с ясными словообразовательными мотивациями (от *кѣнигы* ‘книги, в том числе и Св. Писание’ и *законъ* ‘закон, установление, в том числе и Св. Писание’ соответственно). «Словообразовательный вариант» к сущ. *кѣнижьникъ* — сущ. *кѣнигъчии* с суффиксом *-ъсїj(i)*, также используемое для перевода греч. *γραμματαῦς*, гораздо менее частотно (6 уп.), однако благодаря наличию сущ. *кѣнигъчии* в старославянских Мариинском и Ассеманиевом евангельских кодексах пара *кѣнижьникъ* — *кѣнигъчии* давно привлекала внимание палеославистов. Исследовавший в свое время употребление этой пары по рукописям А. С. Львов пришел к выводу, что в первоначальном переводе евангельского текста греч. *γραμματαῦς* передавалось как *кѣнигъчии*, но при составлении тетра или даже позже сущ. *кѣнигъчии* было заменено на *кѣнижьникъ* [Львов 1966: 163–168; Львов 1971: 30–31]. Однако главный аргумент А. С. Львова в пользу этой гипотезы — присутствие сущ. *кѣнигъчии* в Ассеманиевом евангелии: «Невозможно допустить, что в Мф XXIII,34 в Асс. слово *кѣнигъчїѡ* могло появиться в результате редакционного пересмотра этого памятника где-нибудь на территории Болгарии» [Львов 1966: 166]. В наше время, когда в Ассеманиевом евангелии найдены другие следы редакционной правки евангельского текста преславскими книжниками [Пичхадзе 2002; Ефимова 1991: 73], наличие сущ. *кѣнигъчии* в Ассеманиевом евангелии хорошо объяснимо как одна из таких правок: лексема *кѣнигъчии* могла быть внесена преславскими книжниками в редактируемый текст таким же образом, как и другие существительные с суффиксом *-ъсїj(i)/-ъсїj(i)* (см. выше о *самъчии*, *шаръчии*, с. 40, 84). В отношении же предположения о времени вхождения слов *кѣнижьникъ* и *кѣнигъчии* в старославянский лексикон следует, видимо, вернуться к мнению В. И. Ягича, что в евангельском тексте первоначальное *кѣнижьникъ* было очень рано заменено на *кѣнигъчии* [Јагїс 1913: 289]. Отметим также, что Р. М. Цейтлин, знакомя с исследованиями А. С. Львова,

протографов, где также используется при переводе греч. *νομικός* [SJS I: 644; Срезн I: 923; СлРЯ XI–XVII 5, 218].

считала все же **кѣнигъчни** «диалектно ограниченным словом» [Цейтлин 1977: 122].

Ясными словообразовательными мотивациями на славянской почве характеризуются и «противоположные» образования от гл. **оучити** — **оучитель** ‘учитель’ (с суффиксом -tel(ь) от основы инфинитива) и **оученикъ** ‘ученик’ (с суффиксом -ik(ь) от страдательной причастной формы), высокая частотность которых объясняется особым содержанием старославянских текстов. Основные греческие соответствия этих существительных образованы от разных глаголов: **οὐχитель** от *διδάσκω* ‘учить, обучать’, **οὐченикъ** от *μαθητής* для **οὐченикъ** от *μαθάνω* ‘узнавать, понимать; учиться’. Сущ. **οὐчитель** используется также для перевода *ῥαββί* (в евангельском тексте, в Супр 339,22), двукорневого *παιδοτριβης* (Супр 273,22), *παιδευτής* (в списках, восходящих к старославянским протографам), но субстантивно употребляемое причастие *διδάσκων* переводится как **оучьни** (см. выше).

Наименования лиц, «связанных с мореплаванием и торговлей», в старославянских рукописях не очень многочисленны, хотя лексемы, номинирующие купцов, торговцев, менял и кредиторов, входят в старославянский лексический фонд вместе с переводом евангельского текста, т. е. на самом начальном этапе его формирования. Эти слова различаются и по своему происхождению, и по своей дальнейшей судьбе в старославянском лексическом инвентаре. Исконно славянская лексема **коупьць** ‘торговец, купец’, образование с суффиксом -ьс(ь) от гл. **коупити**, используется для перевода префиксального греч. *ἔμπορος* (Мт 13,45), которое в зависимости от контекста может выступать и в роли существительного со значением ‘путник; путешественник; торговец, купец’, и в роли прилагательного со значением ‘торговый’, т. е. **коупьць** и *ἔμπορος* имеют разные морфемные структуры. Значение ‘торговец, купец’ в Мт 13,45 относится ко всему словосочетанию *ἄνθρωπος ἔμπορος*, т. е. *ἔμπορος* является здесь определением к *ἄνθρωπος* — как и суффиксальное сущ. **коупьць** является определением («приложением») к сущ. **чловѣкъ** в словосочетании **чловѣкъ коупьць** в старославянском переводе. Ср.:

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἔμπόρῳ...

— **Пакты подобно естъ црѣствие небское . чкѡу коупьцоу .**
Зогр, Мар, Ас, Сав.

(«Еще подобно Царство Небесное купцу...». В Вульгате также суффиксальное сущ. negotiator: Iterum simile est regnum caelorum homini negotiatori... .)

Таким образом, не только образование суффиксального сущ. **коупць** не связано с морфемной структурой его греческого соответствия, но даже и употребление его в качестве приложения нестандартно, т. е. перевод в данном стихе осуществляется «по смыслу».

Однако субстантивно употребляемое прич. ὁ πωλῶν ‘продающий что-либо, торговец’ передается субстантивно употребляемым прич. **продаѣни** (Мт 21,12 bis; Мт 25,9; Мк 11,15 bis; Л 19,45; И 2,14; И 2,16). Например, в Мт 25,9:

πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς.

— **ИДѢТЕ ЖЕ ПАЧЕ КЪ ПРОДАИШТИМЪ И КОУПИТЕ СЕБѢ** .
Зогр Мар, Ас, Сав, Ват.

Так же и субстантивно употребляемое прич. ὁ ἀγοράζων ‘покупающий что-либо на базаре, покупатель’ передается субстантивно употребляемым прич. **коупуѣни** (Мт 21,12; Мк 11,15). Ср. в Мк 11,15:

καὶ εἰσελθὼν εἰς ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ...

— **И ВЪШЪДЪ НСЪ ВЪ ЦРЪКЪВЪ . НАЧАТЪ ИЗГОНИТИ** .
ПРОДАИШТИМЪ И КОУПУИШТИМЪ ВЪ ЦРЪКЪВЕ . Зогр, Мар.

Для перевода трех греческих суффиксальных существительных со значением ‘меняла’ — *τραπεζίτης, κολλυβιστής, κερματιστής* — в старославянских евангельских кодексах употребляются два суффиксальных существительных **трѣжъникъ** и **пѣнажъникъ**: *τραπεζίτης* переводится как **трѣжъникъ** в Мт 25,27 (Зогр, Мар, Ас, Сав); как **трѣжъникъ** переводится и *κολλυβιστής* в Мт 21,12 (Мар), в Мк 11,15 (Зогр, Мар), в И 2,15 (Зогр, Мар); *κερματιστής* переводится как **пѣнажъникъ** в И 2,14 (Зогр, Мар, Ас); как **пѣнажъникъ** (**И ПО ЧЬТО НЕ ВЪДАСТЪ МОЕГО СЪРЪБРА ПѢНАЖЪНИКОМЪ**) переводится в Л 19,23 и греч. *ἐπὶ τράπεζαν* ‘букв. в меняльную лавку’. Надо полагать, что оба существительных — **трѣжъникъ** и **пѣнажъникъ** — являются старославянскими новообразованиями, созданными первыми славянскими переводчиками, так как они редко используются

впоследствии за пределами евангельского текста. Более того, и в евангельском тексте наблюдается тенденция к их замене. Еще Р. М. Цейтлин отмечала, что **пѣнажъникъ** в Вукановом и Добромировом евангелиях заменяется на **коупецъ** [Цейтлин 1977: 84]. Показательны замены сущ. **трѣжъникъ** при цитации евангельского стиха Мт 25,27 в Супрасльской рукописи — на **прикоупъ творам** (Супр 369,30) и **продажи** (Супр 377,8). Ср.:

ἔδει σε οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου τοῖς τραπεζίταις,...

— **подобаше ти оубо . вѣдати сѣребро мое трѣжъникомъ** . Зогр, Мар, Ас, Сав;

— **подоба ти бѣ дати сѣребро мое прикоупъ твора штнимъ** . Супр 369,30;

— **подоба ти бѣ положити сѣребро мое прѣдъ продажштними** . Супр 377,8.

Показательна также замена сущ. **трѣжъникъ** на **продажи** в И 2,15 и в Ассеманиевом евангелии. Ср.:

καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα...

— **и трѣжъникомъ расыпа пѣназа** . Зогр, Мар;

— **и продажщнимъ расыпа сѣребро** Ас ба 6–7.

Так как подобная замена была произведена преславскими книжниками при цитации чтения Мт 25,27 в Супрасльской рукописи, возможно, что и эта замена является одной из инноваций, внесенных в евангельский текст в Ассеманиевом евангелии преславскими книжниками (ср. выше о сущ. **кѣнигъчии**).

По мнению Н. Молнара, **пѣнажъникъ** является калькой греческого соответствия *κερματιστής* [Molnár 1985: 264–265]. Тем не менее образование обоих существительных — как **трѣжъникъ**, так и **пѣнажъникъ** — хорошо объясняется на славянской почве: словообразовательные мотивации и сущ. **трѣжъникъ**, и сущ. **пѣнажъникъ** соответственно существительными **трѣгъ** ‘рыночная площадь’ и **пѣназь** ‘монета’ ясны, оба существительных образованы от имен с помощью суффикса *-nik(ъ)*, для которого характерно взаимодействие с именными основами, в то время как их греческие соответствия *κολλυβιστής* и *κερματιστής* являются отглагольными образованиями (от гл. **κολλυβίζω* [Frisk I: 900] и гл. *κερματίζω*

соответственно). О том, что сущ. **трѣжъникъ** со значением ‘меняла’ не было «укорененной» лексемой в старославянском лексиконе, свидетельствует, как кажется, и употребление **трѣжъники** в качестве сущ. pl. tantum для перевода греч. οἱ ἀγοραῖοι ‘негодные люди (завсегдатаи рыночной площади)’ в апостольском тексте Деян 17,5, т. е. имеет место параллельная словообразовательная процедура от той же производящей основы сущ. **трѣгъ** ‘рыночная площадь’. Текст сохраняет данное употребление в старших списках Апостола разных изводов (в Христ, Охр, Слепч, Струм, Мат, Шиш; см. также [Христова-Шомова 2004: 106]).

Двукорневой композит **заимодавѣць** также вошел в старославянский лексикон при переводе евангельского текста, где использовался для передачи греч. δανειστής ‘заимодавец, ростовщик’ (Л 7,41 в Зогр, Мар, Ас). Этот композит образован суффиксально-сложным способом на базе широко употребляемого в старославянских рукописях для перевода гл. δανείζω ‘отдавать деньги в рост’ словосочетания **въ заимъ дати** и также демонстрирует отсутствие зависимости от морфемной структуры греческого соответствия δανειστής — существительного, образованного с суффиксом -της от гл. δανείζω (ср. τὸ δάνειον ‘суда’). Композит **заимодавѣць** тоже остался на периферии старославянского лексикона: характерно, что при цитации стиха Л 7,41 в Супрасльской рукописи греч. δανειστής переводится словосочетанием **давѣы заимъ** (Супр 393,20). Ср.:

δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανειστῆτινι·

— **дѣва длѣжъника бѣашете . заимодавѣцю етероу .** Зогр;

— **дѣва длѣжъника бѣаста . давѣшѣ заимъ нѣкѣмоу .**
Супр 393,20.

Наименования лиц, имеющих отношение к мореплаванию, в кругу старославянских рукописей встречаются только в Супрасльской; они немногочисленны и малочастотны: **корабльникъ** ‘мореплаватель’ (Супр 119,30, в варианте **корабъникъ**), **корабъчии** ‘то же’ (Супр 400,15), **крѣмьникъ** ‘рулевой’ (Супр 400,7; 429,11–12; 509,29), **крѣмьчии** ‘то же’ (Супр 472,13; 474,17), **прѣждьникъ** ‘помощник рулевого’. Две пары синонимов — **корабльникъ** и **корабъчии**; **крѣмьникъ** и **крѣмьчии** — являются парами словообразовательных вариантов, образованных с суффиксами -ьпik(ъ) и -ьсij(i)/-ьсij(i) от

сущ. **корабль** (вариант **коравь**) ‘корабль, судно’ и сущ. **крѣма** ‘корма’ соответственно. Надо полагать, что существительные с суффиксом -ѣсїj(i)/-ѣсїj(i) **коравьчии** и **крѣмьчии** были введены в старославянский лексический инвентарь, как и другие лексемы с этим суффиксом (см. выше о **самѣчии**, **шарѣчии**, **кѣнигѣчии**), из народной славянской речи преславскими книжниками. Сущ. **коравьчии**, употребленное в Супр 400,15 для перевода греч. ναύτης ‘моряк, мореплаватель’, осталось на периферии старославянского лексикона и почти не встречается в церковнославянских рукописях [Усп.сб.ХІІ–ХІІІ; Срезн I: 1285; СлРЯ ХІ–ХVІІ 7: 304–305]. Сущ. **корабльникъ** с тем же значением, напротив, «укоренилось» в лексическом инвентаре [Срезн I: 1284]; известно и употребление производного от него прил. **корабльничъ** в древнерусском списке ХІ в. 13 Слов Григория Богослова, восходящем к старославянскому протографу [Срезн I: 1285]. В старославянский лексикон сущ. **корабльникъ** вошло, видимо, при переводе Апостола, где использовалось для передачи греч. ναύτης (Деян 27,27; Деян 27,30), о чем свидетельствует сохранение этой лексемы в старших списках разных изводов (в Христ, Струм, Мат, Шиш). В Супрасльской же рукописи сущ. **корабльникъ** употреблено для перевода греч. ναύκληρος ‘хозяин корабля, судовладелец’ в словосочетании **старѣшина коравльникомъ** (ср. другие словосочетания с сущ. **старѣшина** в этой рукописи: **старѣшина паствинѣ**, **старѣшина молитвѣникомъ** и др.). Такое употребление словосочетания **старѣшина коравльникомъ** встречается в этой рукописи только однажды, в «Житии папы Григория» (Супр 119,30), однако, возможно, оно первоначально использовалось для передачи ναύκληρος и в гомилии № 35, но осталось «недописанным», так как там греческому сущ. ναύκληρος соответствует только сущ. **старѣшина** (Супр 400,6–7). Можно предположить, что **старѣшина коравльникомъ** — это «преславский» перевод греч. ναύκληρος, так как в тексте Апостола (Деян 27,11) ναύκληρος было, видимо, первоначально передано грецизмом **навѣкларѣ**, о чем свидетельствуют старшие списки. Ср.:

ὁ δὲ ἑκατονάρχης τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐλείβετο ἢ τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγομένοις. Деян 27,11

— **сѣтъникъ же крѣмьчиа и навѣклѣра паче послоушаше**, **нежели глѣмъхъ ѿт Павла**. Христ (навѣклѣра в Шиш; навѣклѣра в Струм; наоукѣра в Мат).

В паре **крѣмьникъ** — **крѣмьчии** оба существительных «уко- ренились» в старославянском лексическом инвентаре. Сущ. **крѣмь- никъ** ЭССЯ причисляет к праславянскому лексическому фонду, хотя указанная зона его распространения подозрительно мала [ЭССЯ 13: 229]. Это существительное, переводящее греч. κυβερνήτης ‘рулевой, кормчий’, достаточно часто встречается в списках, восходящих к старославянским протографам, однако содержащих относительно поздние переводы (Шест 2а 4; Шест-Бар 2а 18; Изб 1073 1146 8–9); см. также [Срезн I: 1409–1410]), в то время как в старших списках Апостола разных изводов в соответствии с κυβερνήτης употреблено сущ. **крѣмьчии** (Деян 27,11 в Христ, Струм, Мат, Шиш), а в соответствии с κυβέρνησις ‘управление’ — производное от **крѣмьчии** сущ. **крѣмьчѣствикъ** (I Кор 12,28 в Христ, Слеч, Струм, Мат, Шиш, Толк; **крѣмьчѣство** в Охр). Часто встречается сущ. **крѣмьчии** и в других в списках, восходящих к старославянским протографам [SJS II: 74–75; Срезн I: 1410]. Если считать сущ. **крѣмьчии** диалек- тизмом в старославянском языке, этот факт требует дальнейшего исследования и объяснения.

Сущ. **прѣждьникъ** ‘помощник рулевого’ следует рассматривать как мотивированное существительным **прѣждь** ‘носовая часть корабля’, так как помощник рулевого располагался в передней части судна. В старославянском лексиконе преобладают лексемы, имеющие корень **ргѣжд-** с семантикой ‘прежний, предшествующий’: **прѣжде** ‘прежде, сначала, давно’, **прѣждьнь** ‘прежний, предшествующий, более старый, древний’, **прѣжденаречень** ‘вышеназванный, вышеупомянутый’ и др. Однако в композитах сохраняется семантика корня **ргѣжд-** ‘передний; первый’. Ср.: **прѣждестѣданикъ** ‘почетное место, председательство’ (греч. *πρωτοκαθεδρία*, ср. *πρῶτος* ‘первый’) в Мт 23,6 в Мар и Ас; **прѣждевъзлѣганикъ** ‘возлежание на почетном месте’ (греч. *πρωτοκλίσιον*) в Мт 23,6 в Мар. Сущ. **прѣждь** не встречается в собственно старославянских рукописях, но отмечено в древнерусском списке XI в. 13 Слов Григория Богослова, восходящем к старославянскому протографу [Срезн II: 1645–1646]. Таким образом, сущ. **прѣждьникъ** объясняется на славянской почве как отыменное образование с продуктивным суффиксом **-ьпикъ(ь)** с ясной словообразовательной мотивацией, хотя и обнаруживает морфемную формальную и семантическую аналогию

в отношении своего греческого соответствия $\pi\rho\omega\rho\epsilon\upsilon\varsigma$, которое, в свою очередь, является существительным, образованным с суффиксом $-\epsilon\upsilon\varsigma$ от сущ. $\eta\ \pi\rho\hat{\omega}\rho\alpha$ 'носовая часть корабля' (<* $\pi\rho\hat{\omega}F\alpha\rho-\iota\alpha$ или * $\pi\rho\hat{\omega}F\epsilon\rho-\iota\alpha$; ср. родственное ст.-слав. ргь-въ [Frisk II: 609]). Сущ. **прѣждьникъ** оказалось на периферии старо-славянского лексикона, хотя и встречается в Успенском сборнике XII–XIII в. [СлРЯ XI–XVII 18: 230–231]. Отметим, что в паримийном тексте в старших списках греческому $\pi\rho\omega\rho\epsilon\upsilon\varsigma$ соответствует также образованное с суффиксом $-\beta\eta\eta\iota\kappa(\tau\eta)$ сущ. **носъникъ** (Ион 1,6 Григ, Лобк).

* * *

Итак, в работе были рассмотрены несколько лексических групп старославянских наименований лица. Ее целью было исследование старославянских наименований лица, однако объектом ее фактически были группы греческо-старославянские. Рассмотренные группы, хотя и выбранные как особо значимые в плане культурологии, не охватывают всего корпуса старославянских наименований лица, дальнейшее изучение которого представляется нам чрезвычайно важным не только для собственно палеославистики, но и для истории языка вообще. В связи с этим представленные в данной работе результаты можно расценивать как предварительные, т. е. как результаты проверки возможностей использования применяемых нами подходов для такого изучения старославянской лексики. Однако и на данном этапе исследования можно сделать некоторые выводы. Выводы частного характера мы пытались сформулировать при описании каждой лексической группы; дополним их рядом соображений относительно методики и перспектив подобных исследований.

Настоящая работа направлена на изучение путей формирования старославянского лексического фонда через вскрытие старославянских механизмов номинации. Исследование наименований лиц внутри тезаурусных греческо-старославянских лексических групп наглядно демонстрирует, как в «творческой лаборатории» древних книжников шел поиск адекватного лексического средства для обозначения того или иного культурного концепта. Как показывает практика подобной работы со старославянским лексическим инвентарем, решающее значение в ней имеет не только словообразовательный

(иногда и этимологический) анализ старославянской лексики, но и определение времени и путей вхождения в старославянский лексический инвентарь каждой лексемы, что заставляет постоянно обращаться в процессе исследования к приемам лингвотекстологии.

Воздействие византийской культуры на культуру славян в эпоху их христианизации трудно переоценить. Вместе с тем мы учитываем, что это воздействие осуществлялось в значительной мере посредством книжной культуры, т. е. через тексты. Нельзя забывать, что если, например, наименования лиц, связанных с «судейской практикой» (**ОБАДИТЕЛЬ**, **ОБЛИЧИТЕЛЬ**, **КЛЕВЕТАРЬ**, **КЛЕВЕТЬНИКЪ**, **ПОРЖЬНИКЪ**, **СЪСТАВЬНИКЪ**), и относятся к «судебно-правовой системе средневекового общества», как пишет Т. И. Вендина [Вендина 2002: 35], то относятся к ней опосредованно, через язык оригиналов старославянских текстов, отражая в первую очередь судебно-правовую систему общества византийского⁶⁴. Поэтому методологический подход к изучению старославянской лексики через исследования соотношений и взаимодействий внутри тезаурусных греческо-старославянских лексических групп базируется в первую очередь на выявлении отношений «текст → текст».

Оригиналы старославянских текстов в своем большинстве написаны на греческом языке византийского периода — одном из самых богатых и развитых языков в истории мировой цивилизации. Отличительная черта византийских текстов — употребление слов не только в их прямом значении, но и в переносном. Ввиду относительно небольшого объема настоящей работы эта черта осталась в ней вне фокуса внимания, однако она очень существенна для описания старославянской лексики в культурологическом плане и тоже требует дальнейшего исследования. Здесь ограничимся лишь

⁶⁴ Не удивительно, что в юридических текстах (дошедших до нашего времени в большинстве своем в более поздних списках) славянские писцы, зачастую не очень хорошо понимая их содержание, заменяли непонятные им слова на более привычные, создавая таким образом «темные места». В связи с этим, например, Й. Вашица писал в свое время о необходимости того, чтобы «трудным путем языкового и предметного анализа» «восстановить вероятное звучание первоначального текста краткой редакцией Закона судного» [Вашица 1963: 31].

несколькими замечаниями. Отметим, что употребление слов в переносном значении особенно характерно для гомилистических текстов, богатых образными метафорами. При этом разные группы наименований лиц оказываются «востребованными» в этих метафорах в разной мере. Так, в греческих оригиналах старославянских текстов в переносном смысле часто употребляются наименования лиц, имеющих отношение к «судейской практике». В старославянских текстах они также употребляются (как следствие отношений «текст → текст») в переносном смысле. Например:

᾽Ω ληστὰ πικρὲ τῶν Ἰουδαίων κατήγορε! ᾽Ω ληστὰ
δικαιοσύνης συνήγορε!
— ω разбои́ниче петроу помошѣ́ниче . людѣ́омъ
обличі́телю . съставъ́ниче правдѣ́ . Клоц 11b 11.

Наименования лиц группы «сражающихся», лиц, связанных с мореплаванием, также часто употребляются в образных метафорах. Например:

᾽Ω φθόνε, πλοῖον σηποειδές, ταρτάριον, ναυαγιοφόρον! σὸς
ναύκληρός ἐστὶν ὁ διάβολος, κυβερνήτης ὁ ὄφις, Κάιν δὲ
πρωρεύς.
— ω зависти кораблю гноа пльнѣ некрѣстьнааго .
иставы́ааи (вм. истапы́аа) твои старѣ́шина кѣтѣ диваволѣ .
крѣ́мникѣ змиа . а каинѣ прѣ́ждъ́никѣ . Супр 400,5–8.

Как показывает вышеизложенный материал, формирование старославянского лексического инвентаря происходило по-разному в разных лексических группах. В качестве общей тенденции в стратегии древних книжников в сфере наименований лица можно отметить их стремление к максимальному использованию лексики, почерпнутой из народной славянской речи (в том числе и «старых» заимствований). В разных группах к этому слою принадлежат наиболее частотные лексемы, переводящие, как правило, каждая целый ряд греческих соответствий разной морфемной структуры: **владыка, воквода, господь, старѣ́шина, цѣ́сарь, попъ, воинъ, врагъ, врачъ, пастырь, пастоу́хъ, мгытарь** и др. Слова этого слоя более всего оказались востребованными в группе наименований

«властвующих и управляющих»⁶⁵. Вторая тенденция — использование книжных грецизмов. Грецизмы обнаруживаются во всех рассмотренных лексических группах, но их «удельный вес» в разных группах различен. Наиболее важную роль играют грецизмы в группах «общих названий священнослужителей» и «названий духовных званий священнослужителей»: **иѡрєи/иѡрѣи, архѡиѡрєи/архѡиѡрѣи, презвѣтерѣ, єпископѣ/єпискоупѣ, архѡєпископѣ/архѡєпискоупѣ, архѡсѡнагогѣ, дѡнаконѣ, архѡдѡнаконѣ, дѡнаконѡса, иѡѡмєниѡга**. С другой стороны, почти нет грецизмов в группах наименований «сражающихся», «средневековой интеллигенции», наименований отшельников, христианских подвижников, страдальцев и монахов. Третья тенденция — словотворчество древних книжников, т. е. создание ими новых лексем. Последнее включает в себя как образование неологизмов по продуктивным словообразовательным моделям, обусловленное поиском адекватных лексических средств для нужд перевода греческого оригинала, но независимое от формальных и семантических структур греческих соответствий, так и калькирование. Эта тенденция прослеживается как важная составляющая в формировании всех рассмотренных лексических групп, но проявляется в них в разной мере. Словотворчество древних книжников играло ведущую роль в формировании групп наименований «отшельников, подвижников и монахов», «средневековой интеллигенции», «лиц, связанных с мореплаванием и торговлей».

Метод сравнения греческой лексики со старославянской, в котором «отправной точкой» является греческое соответствие, позволяет вскрыть взаимоотношения лексем внутри лексических групп, которые отражаются в узусе определенных рукописей. Так, например, мы видим, в каких случаях греч. οἰκονόμος передается как **икономѣ**, как **приставѣникѣ**, как **строитель**; греч. αὐτοκράτωρ — как **самовластьѣ**, как **самодръжитель**, как **самодръжьѣ**, как **цѣсарь**; греч. ἱερεὺς — как **иѡрєи/иѡрѣи**, как **попѣ**, как **жьрьѣ**, как **свѣтитѣ**, как **чиститѣ**, как **свѣщєникѣ**, как **молитѣвѣникѣ**, и т. п. Такое сравнение позволяет понять направления творческих поисков

⁶⁵ К этой же «стратегической линии» в узусе древних книжников мы относим и операции по расширению семантического объема славянского слова (см. примечание 10).

древних книжников, их «стратегию» в сфере номинации и словообразования.

Литература

Благова 1980 — Благова Э. Лексика Супрасльской рукописи и лексика Иоанна Ексарха // Проучвания върху Супрасълския сборник — старобългарски паметник от X век. София, 1980. С. 117–126.

Вашица 1963 — Вашица Й. Кирилло-мефодиевские юридические памятники // Вопросы славянского языкознания. Вып. 7. М., 1963. С. 12–33.

Вендина 2002 — Вендина Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002.

Верещагин 1997 — Верещагин Е. М. История возникновения древнего общеславянского литературного языка: Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997.

Верещагин 1985 — Верещагин Е. М. Великоморавский этап развития первого литературного языка славян: становление терминологической лексики // Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. М., 1985. С. 217–238.

Верещагин 2001 — Верещагин Е. М. Церковнославянская книжность на Руси: Лингвотекстологические разыскания. М., 2001.

Воскресенский 1892 — Воскресенский Г. А. Древнеславянский апостол. Послания святого апостола Павла. Вып. 1. Сергиев Посад, 1892.

Воскресенский 1906 — Воскресенский Г. А. Древнеславянский апостол. Послания святого апостола Павла. Вып. 2. Сергиев Посад, 1906.

Воскресенский 1908 — Воскресенский Г. А. Древнеславянский апостол. Послания святого апостола Павла. Вып. 3–5. Сергиев Посад, 1908.

Делева 1997 — Делева А. **кѣнѣгѣ** — произход и значение на думата // Преславска книжовна школа. Т. 2. София, 1997. С. 31–40.

Добрев 1978 — Добрев И. Гръцките думи в Супрасълския сборник и втората редакция на старобългарските богослужбени книги // Български език. Год. 28. София, 1978. № 2. С. 89–98.

Дограмаджиева 1981 — Дограмаджиева Е. Своеобразие этапов книжного староболгарского языка // Palaeobulgarica. София, 1981. № 1. С. 55–61.

Дунков 1985 — Дунков Д. Супрасълският сборник и етапите в развитието на преславската редакция на старобългарските книги // Език и литература. София, 1985. № 5. С. 11–20.

Дунков 1995 — Дунков Д. Библейските цитати в старобългарската книжина. 1. // Die slawischen Sprachen. Bd. 43. Salzburg, 1995. 390 + LV с.

Евангелие от Иоанна 1998 — Евангелие от Иоанна в славянской традиции. Изд. подготовили: А. А. Алексеев, А. А. Пичхадзе и др. СПб., 1998.

Ефимова 1991 — *Ефимова В.С.* Старославянские отадъективные наречия с суффиксом **-ѣ** // Советское славяноведение. 1991. № 3. С. 71–80.

Ефимова 1996 — *Ефимова В.С.* Лексика со значением речи в старославянском языке. I. Слова с корнями **-вѣт-**, **-вѣстѣд-**, **-каз-** // Славяноведение. 1996. № 1. С. 18–30.

Ефимова 1997 — *Ефимова В.С.* **нѣ** и другие союзы в старославянском // Славянские сочинительные союзы. М., 1997. С. 62–79

Ефимова 1999 — *Ефимова В.С.* О некоторых тенденциях развития первого литературного языка славян в произведениях древнеболгарских писателей (на материале отадъективных наречий) // Проблемы славянской диахронической социолингвистики: динамика литературно-языковой нормы. М., 1999. С. 23–67

Ефимова 2002 — *Ефимова В.С.* К характеристике книжной лексики в первом литературном языке славян (роль перевода Апостола) // Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков. М., 2002. С. 249–288.

Ефимова 2004 — *Ефимова В.С.* О влиянии языка греческих оригиналов на словообразовательные процессы в старославянском языке // Славяноведение. 2004. № 4. С. 35–47.

Ефимова 2005 — *Ефимова В.С.* К изучению лексического узуса преславских книжников // Пуристические тенденции в истории славянских литературных языков. М., 2005. С. 33–35

Ефимова 2006 — *Ефимова В.С.* Старославянская словообразовательная морфемика. М., 2006.

Ефимова 2007 — *Ефимова В.С.* Влияние греческого языка на формирование лексического фонда старославянского языка // Межъязыковое влияние в истории славянских языков и диалектов: социокультурный аспект. М., 2007. С. 196–244.

Ефимова 2007а — *Ефимова В.С.* О старославянском калькировании как специфическом способе словообразования // *Byzantinoslavica*. Т. LXV. Fasc. 2. Praha, 2007. S. 117–128.

Жуковская 1976 — *Жуковская Л. П.* Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.

Заимов, Капалдо 1982–1983 — *Заимов Й, Капалдо М.* Супрасълски или Ретков сборник. Т. 1–2. София, 1982–1983.

Львов 1966 — *Львов А. С.* Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966.

Львов 1971 — *Львов А. С.* Этимология старославянского **къѣи҃гы** — **къѣи҃гъчи** // Балканско езиковознание. Т. XV. № 2. София, 1971. С. 21–31.

Львов 1972 — *Львов А. С.* Старославянское ли слово *мечъникъ*? // Русское и славянское языковознание. М., 1972. С. 180–184.

Львов 1973 — *Львов А. С.* Иноязычные влияния в лексике памятников старославянской письменности (тюркизмы) // Славянское языковознание. VII Международный съезд славистов. М., 1973. С. 211–228.

Максимович 2005 — *Максимович К. А.* Региональные лексические архаизмы в моравских книжно-славянских памятниках IX в. // Русский язык в научном освещении. 2005. № 1 (9). С. 116–162.

Мейе 1951 — Мейе А. Общеславянский язык. М, 1951.

Минчева 1978 — *Минчева А.* Старобългарски кирилски откъследи. София, 1978.

Пичхадзе 2002 — *Пичхадзе А. А.* Две древнейшие редакции славянского Евангелия: Зографское и Ассеманиево евангелия // Палеославистика. Лексикология. Лексикография. Тезисы международной научной конференции, посвященной памяти Р. М. Цейтлин. М., 2002. С. 48–50.

Рибарова 2005 — *Рибарова З.* Јазикот на македонските црковнословенски текстови. Скопје, 2005.

РЦМ I — Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција. Т. I. Скопје, 2006.

Словарь 1994 — Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.

СДЯ XI–XIV — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I — М., 1988 —.

СлРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 1 — М., 1975 —.

Срезн — *Срезневский И. И.* Словарь древнерусского языка. Т. I–III. М., 1989.

Темчин 1997 — *Темчин С. Ю.* История формирования славянского краткоапракосного Евангелия: попытка обобщения // Slavia. Roč. 66. Praha, 1997. S. 21–34.

Тотоманова 2005 — *Тотоманова А.-М.* **ѠАНБЪНА**, **ѠАНБЪНИКЪ**, **ѠАНБЪНО** в Супрасльския сборник и историята на един словообразователен модел // Преславска книжовна школа. Т. 8. Шумен, 2005. С. 238–244.

Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1986–1987.

Христова-Шомова 2004 — Христова-Шомова И. Службният Апостол в славянската ръкописна традиция. Т. I. Изследване на библейския текст. София, 2004.

Цейтлин 1972 — Цейтлин Р. М. Из наблюдений над лексикой Вуконова евангелия // Исследования по сербохорватскому языку. М., 1972. С. 240–275.

Цейтлин 1977 — Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X–XI вв. М., 1977.

Чурмаева 1964 — Чурмаева Н. В. Существительные с суффиксом *-арь* со значением действующего лица в древнерусском языке XI–XIV вв. // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964. С. 260–271.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1 — М., 1974 —.

Vláhová 1996 — Vláhová E. Kompozita v staroslověnské terminologii // Slavia. Roč. 65. Praha, 1996. S. 261–271.

Vláhová 2007 — Vláhová E. [rec.]: В. С. Ефимова. Старославянская словообразовательная морфемика. Институт славяноведения РАН. Москва 2006, 366 с. // Slavia. Roč. 76. Praha, 2007. S. 345–353.

Chantraine 1933 — Chantraine P. La formation des noms en grec ancien. Paris, 1933.

Christians 2001 — Christians D. Wörterbuch zum Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember: slavisch-griechisch-deutsch / nach ostslavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts mit einem Glossar griechisch-slavisch bearbeitet von D. Christians / Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 107; Patrica slavica. Bd. 8. Wiesbaden, 2001.

Dagron 1969 — Dagron G. Aux origines de la civilisation byzantine: Langue de culture et langue d'État // Revue historique. T. 241. № 1. Paris, 1969. P. 23–56.

ESJS — Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 1 —. Praha, 1989 —.

Frček 1933–1939 — Frček J. Euchologium Sinaiticum / Patrologia orientalis. T. XXIV. Paris, 1933. T. XXV. Paris, 1939.

Frisk — Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1960; Bd. II. Heidelberg, 1970.

Indexy 2003 — Indexy k staroslověnskému slovníku. Praha, 2003.

Jagić 1913 — Jagić V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 1913.

- Lass 1997 — *Lass R.* Historical linguistics and language change. Cambridge, 1997.
- Liddell-Scott 1996 — *Liddell H. G., Scott R.* A Greek-English Lexicon. Oxford, 1996.
- Meillet 1905 — *Meillet A.* Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. P. II. Paris, 1905.
- Merk 1984 — *Merk A. S. J.* Novum Testamentum graece et latine: Apparatu critico instructum edidit Augustinus Merk S. J. Ed. 10. Romae, 1984.
- Meyer 1935 — *Meyer K.* Altkirchenslavisch-griechisches Wörterbuch des Codex Suprasliensis. Glückstadt & Hamburg, 1935.
- Molnár 1985 — *Molnár N.* The Calques of Greek Origin in the Most Ancient Old Slavic Gospel Texts. A Theoretical Examination of Calque Phenomena in the Texts of the Archaic Old Slavic Gospel Codices. Köln; Wien, 1985.
- Nestle 1950 — *Nestle E.* Novum Testamentum grace. 20. Aufl. Stuttgart, 1950.
- Rahlfs 1952 — *Septuaginta / Ed. A. Rahlfs.* Vol. I–II. Ed. 5. London, 1952.
- SJS — *Slovník jazyka staroslověnského.* T. I–IV. Praha, 1958–1997.
- Tarnanidis 1988 — *Tarnanidis I.* The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988.
- Vaillant 1974 — *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. IV. La formation des noms. Paris, 1974.
- Večerka 1997 — *Večerka R.* The Influence of Greek on Old Church Slavonic // *Byzantinoslavica.* T. LVIII. Fasc. 2. 1997. S. 363–386.
- Vrana 1970 — *Vrana J.* Makedonska redakcija staroslavenskih evanđelja // Кирил Солунски. Симпозиум 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски. Кн. 2. Скопје, 1970. С. 51–66.

Принятые сокращения

- греч. — греческий
др.-в.-н. — древневерхненемецкий
лат. — латинский
о.-с. — общеславянский
псл. — праславянский
ср.-греч. — среднегреческий
ст.-слав. — старославянский
уп. — употребление

Принятые сокращения названий рукописей

Ас — Ассеманиево евангелие, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *Kurz J. Evangeliiāŕ Assemanūv. Praha, 1955.*

Бог — Богословие (Небеса) Иоанна Экзарха Болгарского, древнерусская рукопись XII/XIII вв.; изд.: *Sadnik L. Des Hl. Johannes von Damaskus "Εκθεσις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes / Monumenta linguae slavicae. T. V. Wiesbaden, 1967; T. XIV. Freiburg, 1981; T. XVI, Freiburg, 1983.*

Ват — Ватиканское евангелие, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *Т. Кръстанов, А.-М. Тотоманова, И. Добрев. Ватиканско евангелие. Старобългарски кирилски апракос от X в. в палимпсестен кодекс Vat. Gr. 2502. София, 1996.*

Герм — Германов сборник, среднеболгарская рукопись 1358/1359 г.; изд.: *Е. Мирчева. Германов сборник от 1358/1359 г.: Изследване и издание на текста. София, 2006.*

Гил — Апостол Гильфердинга № 14, древнесербская рукопись XIV в.

Григ — Григоровичев паремейник, среднеболгарская рукопись XII–XIII в.; изд.: *Рибарова Зд., Хаунтова З. Григоровичев паримејник. Скопје, 1998.*

Евх — Синайский евхологий, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *Nahtigal R. Euchologium Sinaiticum. D. 2. Ljubljana, 1942.*

ЕвхН — Синайский евхологий, старославянская рукопись X–XI вв. (новооткрытая часть); изд.: *Tarnanidis I. The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988. P. 219–247.*

Ен — Енинский апостол, старославянская рукопись XI в.; изд.: *Мирчев К., Кодов Хр. Енински апостол. Старобългарски паметник от XI век. София, 1965.*

Зах — Захариинский паремейник, древнерусская рукопись 1271 г.

Зогр — Зографское евангелие, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *Jagić V. Quattuor evangeliorum codex glagoliticum dim Zographensis nunc Petropolitanus. Berolini, 1879.*

Зогр-лл — Зографские листки, старославянская рукопись XI в.; изд.: *Минчева А. Старобългарски кирилски откъслечи. София, 1978. С. 39–44.*

Изб 1073 — Изборник Святослава, древнерусская рукопись 1073 г.; изд.: *Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 1. Изследвания и текст. София, 1991.*

Изб 1076 — Изборник 1076 г., древнерусская рукопись; изд.: Голышенко В. С., Дубровина В. Ф., Демьянов В. Г., Нефедов Г. Ф. Изборник 1076 года. М., 1965.

Клоц — Клоцов сборник, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: Dostál A. Clozianus. Praha, 1959.

КПр — Беседа против богомилов Козьмы Пресвитера, русская рукопись конца XV в.; изд.: Попруженко М. Г. Козма Пресвитер. Болгарский писатель X века / Български старини. Кн. XII. София, 1936.

Лобк — Лобковский паремейник, среднеболгарская рукопись XIII/XIV в.

Мар — Мариинское евангелие, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: Ягич И. В. Мариинское четвероевангелие. Graz, 1960.

Мат — Матичин апостол, древнесербская рукопись XIII в.; изд.: Ковачевић Р, Стефановић Д, Богдановић Д. Матичин апостол (XIII век). Београд, 1979.

Остр — Остромирово евангелие, древнерусская рукопись 1056–1057 г.; изд.: Остромирово евангелие 1056–1057 года с приложением греческого текста евангелий и с грамматическими объяснениями, изданное А. Востоковым / Monumenta linguae slavicae. T. I. Wiesbaden, 1964.

Охр — Охридский апостол, среднеболгарская рукопись XII в.; изд.: Кульбакин С. М. Охридская рукопись апостола конца XII века. Български старини. Кн. III. София, 1907.

Сав — Саввина книга, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: Саввина книга. Древнеславянская рукопись XI, XI–XII и конца XIII века. Ч. I / Изд. подг. О. А. Князевская, Л. А. Коробенко, Е. П. Дограмаджиева. М., 1999.

Син — Синайская псалтырь, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: Северьянов С. Н. Синайская псалтырь. Graz, 1954.

СинН — Синайская псалтырь, старославянская рукопись X–XI вв. (новооткрытая часть); изд.: Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N) / Sub red. F. Mareš. Wien, 1997.

Слепч — Слепченский апостол, среднеболгарская рукопись XII в.; изд.: Ильинский Г. А. Слепченский апостол XII века. М., 1912.

Струм — Струмицкий апостол, среднеболгарская рукопись XIII в.; изд.: Блахова Е., Хауптова З. Струмички (Македонски) апостол. Кирилски споменик од XIII век. Скопје, 1990.

Супр — Супрасльская рукопись, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: S. Severjanov. Codex Suprasliensis / Editiones monumentorum slavicozum

veteris dialecti. Vol. I–II. Graz, 1956; *Заимов Й., Капалдо М.* Супрасълски или Ретков сборник. В 2 т. София, 1982–1983.

Толк — Толковый апостол, древнерусская рукопись 1220 г.; изд.: *Воскресенский Г. А.* Древнеславянский апостол. Послания святого апостола Павла. Вып. 1. Сергиев Посад, 1892. Вып. 2. Сергиев Посад, 1906. Вып. 3–5. Сергиев Посад, 1908.

Толст — Толстовский апостол, древнерусская рукопись XIV в.; изд.: *Воскресенский Г. А.* Древнеславянский апостол. Послания святого апостола Павла. Вып. 1. Сергиев Посад, 1892. Вып. 2. Сергиев Посад, 1906. Вып. 3–5. Сергиев Посад, 1908.

Усп.сб. XII–XIII — Успенский сборник, древнерусская рукопись XII–XIII вв.; изд.: Успенский сборник, древнерусская рукопись XII–XIII вв. / Изд. подг.: *О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон.* Под. ред. *С. И. Коткова.* М., 1971.

Хил — Хиландарские листки, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *Минчева А.* Старобългарски кирилски откъслци. София, 1978. С. 24–38.

Христ — Христинопольский апостол, древнерусская рукопись XII в.; изд.: *Kalužniacki E.* Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice ad fidem codicis Christopolitani. Vindebonae, 1896.

Шест — Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского, древнесербская рукопись 1263 г.; изд.: *Aitzetmüller R.* Das Hexaemeron des Exarchen Joannes / Editiones monumentorum slavicozum veteris dialecti. T. I–VI. Graz, 1958–1971.

Шест-Бар — Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского, русская рукопись XV в.; изд.: Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. Ранняя русская редакция / Изд. подг. *Г. С. Баранкова.* М., 1998.

Шиш — Шишатоввацкий апостол, древнесербская рукопись 1324 г.; изд.: *Stefanović D. E.* Apostolus Šišatovacensis anni 1324. Wien, 1989.

М. И. Ермакова

**РОЛЬ СЕРБОЛУЖИЦКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ СЕРБОЛУЖИЧАН
В ПЕРИОД НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ**

Развитие серболужицкого языка, различных форм его существования и особенно литературных, входит в общий процесс развития культуры серболужичан как основной элемент содержания этого процесса. На каждом новом этапе истории серболужицкой народности он приобретает новые черты и особенности. Последние проявляются в достижениях национальной культуры и, в частности, в формировании и развитии различных форм существования серболужицкого языка, в изменении их соотношения, в росте значения серболужицких литературных языков — верхне- и нижнелужицкого, в их совершенствовании и приобретении большей функциональной нагрузки.

Развитие всех сфер духовной жизни серболужичан — просвещения, науки, литературы, религии, искусства, национального самосознания — взаимодействует с развитием серболужицких литературных языков. Это взаимодействие по-разному проявляется на разных этапах исторического развития серболужичан и во многом обусловлено спецификой истории серболужицкой народности.

Постоянно действующим фактором и фоном развития серболужицкого языка и культуры являлось взаимодействие в течение ряда веков серболужицкого населения с немецким, длительные контакты и взаимовлияние двух языков — серболужицкого и немецкого, двух разных культур — господствующей немецкой и серболужицкой.

Связывая процесс развития серболужицкой культуры и серболужицких литературных языков с факторами внешней истории, можно выделить определенные периоды в истории и взаимоотношении серболужицкой культуры и письменных (литературных) языков.

В *дописьменный (долитературный)* период, то есть до XVI в., периода Реформации, начала формирования серболужицкой письменности, преобладающее значение имела традиционная, народная

культура серболужичан как историческое явление и составной элемент национальной культуры — духовной (фольклор, хоровое искусство, народный театр, исполнение обычаев и обрядов) и материальной (архитектура жилища, строительство, изготовление домашней утвари, орудий труда, народный костюм). Сбережение ряда традиций этой культуры, особенно в духовной сфере, в дальнейшем сыграло большую роль в сохранении самой серболужицкой народности, серболужицкого языка и во многом способствовало формированию основ профессионального художественного творчества у серболужичан, а в ранний период развития серболужицкой народности имело большое значение для укрепления этнического сознания и стабилизации серболужицкого этноса. Особое значение в духовной народной культуре имела лужицкая народная поэзия, которая, будучи достаточно независимой и замкнутой в себе, давала широкое представление о действительности, особенностях национального мышления, образа жизни и эстетических идеалах народа. Отметим, что примерно с XVI в. территория, населенная серболужичанами, получила характер этнического общества, для которого была характерна известная изоляция [Nedo-Nowotny 1976: 82–84].

С началом эпохи Реформации кончается дописьменный период развития серболужицкого языка, появляются первые произведения серболужицкой религиозной литературы, главным образом, протестантские переводы Библии, катехизиса, книги песнопений, агенды, псалтырь, молитвы и т. д. Первые серболужицкие переводы связаны с нижнелужицкой языковой территорией, ее периферийными районами на севере, западе и востоке: перевод Нового Завета М. Якубицы 1548 г., «Катехизис и книга песнопений» А. Моллера 1574 г., первая серболужицкая грамматика 1650 г., перевод псалмов — «Вольфенбюттельская псалтырь» во второй половине XVI в., *Enchiridion Vandalicum* Х. Тары 1610 г. Ранним памятником верхнелужицкой письменности является перевод Катехизиса В. Варихия 1597 г.

XVI в. — начало XVII в. можно считать первым периодом в развитии серболужицкой письменности, а начало 30-летней войны — условным концом этого периода.

В это время господствует устное функционирование нижнелужицкого языка, даже в тех сферах общественной жизни, где власти допускали его употребление (например, в ходе судебных процедур, в

церкви). При конкуренции немецкого и серболужицкого языков феодальные власти поддерживали немецкий язык. Серболужицкая церковная литература с явно выраженными местными чертами имела очень незначительное распространение, что в определенной степени объясняется общей неграмотностью серболужичан. Редкие и изолированные попытки фиксации языка отдельных нижнелужицких областей не стали авторитетными для переводчиков из других местностей.

В ходе 30-летней войны нижнелужицкая языковая территория уменьшилась почти на одну треть, куда вошли и некоторые районы, где в XVI в. появились первые ростки нижнелужицкой письменности [Mětšk 1965: 104–105]. Новые попытки создать нижнелужицкий письменный язык и продолжить дело первых переводчиков библейских текстов относятся к 50-60-м годам XVII в., но результаты этих попыток были уничтожены по приказу курфюрста (1667 г.) [Ермакова 1979: 220–221].

Новый, второй период в развитии нижнелужицкой письменности и начало формирования нижнелужицкого литературного языка связан с бранденбургско-прусским округом Коттбус. *Начиная с последних десятилетий XVII в. и в течение XVIII в.* — здесь под влиянием ряда внутренних и внешнеполитических причин сложились относительно благоприятные условия для формирования культурного центра серболужичан (серболужицкое богослужение, развитие школьного дела с начала XVIII в., преподавание на серболужицком языке). В XVIII в. округ Коттбус становится центром книгопечатания и издательского дела.

Другим культурным центром серболужичан в XVIII в. стал Бауцен в Верхней Лужице, где общественная жизнь характеризовалась конфессиональным расколом серболужицкого населения на протестантов и католиков.

В течение XVIII в. появляются переводы нижнелужицких церковных текстов. Письменная практика авторов переводов (в большинстве своем священников) основывалась на знании местного диалекта — коттбусского; закрепление и расширение их опыта в дальнейшем привело к тому, что коттбусский диалект приобрел значение образца. Он лег в основу переводов Нового Завета (1709 г.) и катехизиса М. Лютера (1706 г.), осуществленных Г. Фабрициусом (1679 – 1741). Орфографические нормы, введенные Г. Фабрициусом,

нашли отражение в произведениях Я. Л. Вилле, Я. Б. Фрике, И. Г. Гауптмана. В XVIII в. появляется первая печатная нижнелужицкая грамматика Я. Б. Гауптмана (1761 г.). В 1776 г. был подготовлен и опубликован перевод Ветхого Завета Я. Б. Фрице, в основе которого коттбусский диалект. Им была подготовлена и оставшаяся в рукописи нижнелужицкая грамматика и словарь. Позиции серболужицкого языка были наиболее сильными в деревне, в сельских районах, которые имели сплошь серболужицкое население. В смешанной структуре городского населения преобладали немцы, немецкий язык занимал господствующее положение в городской церкви, а в XVIII в. стал единственным языком богослужения даже в предместьях. Серболужицкое население в городах было двуязычным.

В Верхней Лужице, в экономическом отношении сравнительно более развитой, в церковной жизни католиков и протестантов употребление серболужицкого языка не только допускалось, но даже и поощрялось. Во второй половине XVII в. здесь вышло много печатных книг — протестантских и католических. Диалектная основа памятников протестантской и католической письменности различна. По инициативе представителей верхнелужицких сословий в 1703 г. комиссия верхнелужицких протестантских священников, представлявших разные диалектные территории Верхней Лужицы, выработала единую наддиалектную норму на основе бауценского диалекта. Результатом этой работы был перевод Библии 1728 г., который явился следующей (после работ М. Френцеля) и решающей ступенью в создании протестантского варианта верхнелужицкого литературного языка, в его применении в религиозной литературе [Ермакова 2002: 124]. Библия 1728 г. стала главным фактором развития литературно-языковой нормы верхнелужицких протестантов и в значительной мере способствовала в дальнейшем возникновению единого литературного верхнелужицкого языка.

В формировании верхнелужицкого литературного языка принимал участие и католический вариант, создателями которого были представители католического духовенства — Я. Тицин (1656 – 1693) и Ю. Х. Светлик (1650 – 1729). Я. Тициным был кодифицирован куловский диалект в качестве основы литературного языка, который должен был служить иезуитам в деле усиления позиций католицизма Верхней Лужицы [Михалк 1989: 40; 1972: 52–106; 1995: 37–50].

Разными исследователями по-разному определяется степень различия двух вариантов верхнелужицкого литературного языка, но основными признавались отличия в области орфографии [Михалк 1989: 42; Šewc 1977: 33–34; Lewaszkiewicz 1995: 14]. Протестантская система правописания использовала принципы орфографии З. Берлинга, опиравшейся на немецкое правописание; католическая была ориентирована на чешское правописание. Обе они сохранялись до первых десятилетий XIX в.

В течение XVIII в. различия между двумя вариантами постепенно сглаживались, особенно после смены диалектной базы католического варианта.

Исключительно религиозный характер серболужицкой письменности до XIX в. определяет тесные связи между серболужицкими переводами Библии и работами нормативно-языкового характера — грамматиками, орфографическими трактатами и словарями. Кроме того, языковой авторитет Библии мог быть действенным фактором кодификации литературно-языковой нормы [Lewaszkiewicz 1995].

На начальном этапе своего существования серболужицкая церковная литература свидетельствует о слабом развитии лексики (кроме церковной терминологии), наблюдается большое число заимствований из немецкого языка, различного типа калек с немецкого языка, гибридных словообразовательных форм, включающих морфемы немецкого и лужицкого происхождения [Ермакова 2007: 168–176]. Для переводов этого периода характерна нестабильность в орфографии, в фиксации отдельных форм. Первые попытки кодификации орфографии не получают достаточного распространения, некоторые из них так и не были опубликованы [Schuster-Šewc 1967: 18, 168–169; Šewc 1977: 32; Ермакова 1979: 212–230].

На начальном этапе существования серболужицких литературных языков ведущими были тексты религиозного содержания. Как активное коммуникативное средство эти языки использовались небольшим слоем интеллигенции — священниками, учителями. Носители серболужицкого языка, в большинстве своем крепостные крестьяне, в качестве средства коммуникации использовали немецкий язык, в том числе и письменный [Ермакова 1999: 109–116].

Светская литература была представлена, главным образом, грамматическими сочинениями, рукописями словарей, медицинскими

руководствами для сельского населения Лужицы. Характерно, что вступительные разделы и пояснения, например, к некоторым нижнелужицким переводам, обычно были написаны по-немецки. Но в XVIII в. появляются и книги для чтения, поэтические произведения на серболужицком языке, а к 60-м годам XVIII в. относятся попытки создать газету на верхнелужицком языке.

В области народной культуры начального периода развития серболужицкой письменности исследователи отмечают богатство народной поэзии, хотя в это время в этой сфере духовной культуры наблюдаются черты некоторого обеднения в тематике и отсутствие заметного развития [Nedo, Nowotny 1976: 85]. Материальная народная культура серболужичан, располагая очень незначительными возможностями, испытывает заметное влияние немецкой культуры (в архитектуре, национальном костюме и др.).

В отдельных церковных приходах предпринимаются попытки обучить детей пению некоторых церковных песен с помощью кантора: некоторое, хотя и незначительное, число детей серболужичан училось читать.

К концу XVII в. появляются запреты на серболужицкий язык в судопроизводстве, а любое обращение к властям осуществлялось только на немецком языке. В официальной административной практике и в церковной жизни применялся метод устного перевода с немецкого языка на серболужицкий [Ермакова 1979: 212–231; 1988: 84–87].

Процесс формирования серболужицкой письменности был сложным и противоречивым. Своеобразие развития серболужицких литературных языков и письменности объясняется рядом причин — языковых, политических, социальных. Возникновение двух литературных языков — верхне- и нижнелужицкого — явилось следствием не столько внутриязыкового развития, сколько результатом воздействия экстралингвистических обстоятельств, а точнее, комплекса внутри- и внешнелингвистических факторов: отсутствие единой светской, церковной, административной власти, единой системы школьного образования, отсутствие условий для формирования единого культурного центра серболужичан [Šewc 1977: 35; Jermakowa 1987: 48–68]. Большую роль играли меры властей, осуществлявших определенную политику, церковный раскол населения (большую часть серболужичан составляли протестанты, меньшую — католики).

Сферы применения обоих литературных языков были очень ограничены. Переводами церковной литературы пользовались в церковной жизни, в процессе школьного обучения, в домашнем обиходе (для поучений и наставлений). Письменные формы серболужицкого языка с их ограниченной сферой распространения при неразвитости светской литературы постепенно обособляются от живого разговорного языка серболужичан.

Во второй половине XVIII в. область серболужицких поселений охватывала в основном территорию маркграфства Верхняя Лужица, маркграфства Нижняя Лужица, Бранденбургско-пруссский округ Коттбус, наследственно-бранденбургско-вендский (лужицкий) округ. По решению Венского конгресса 1815 г. Пруссия вернула себе округ Коттбус, а вместе с ним Нижнюю Лужицу и две трети Верхней Лужицы. Саксонии принадлежал юг и юго-восток бывшего маркграфства Верхняя Лужица [Mětšk 1962: 60–70]. С 1815 г. большинство серболужицкого населения стало прусскими подданными. Верхняя Лужица входила в округ Лигниц (Силезия), Нижняя Лужица и округ Коттбус — в округ Франкфурт-на-Одере (Бранденбург), небольшой район на западе — в округ Мерзебург (Саксония). Таким образом, в начале XIX в. территория Верхней Лужицы была разделена на две части — саксонскую и прусскую.

Серболужичане католического вероисповедания жили в области Каменц — Хойерсверда — Бауцен, остальная часть населения были протестантами.

При смешанной национальной структуре в маркграфствах Верхней и Нижней Лужиц большую часть населения крупных и средних городов на территории Лужиц в этот период составляли немцы, а в Бауцене и Коттбусе — национальных и культурных центрах — серболужичане представляли до трети всего населения, главным образом, рабочие, поденщики, мастеровые и мелкие ремесленники [Mětšk 1965: 55–90].

К началу XIX в. исключительно немецкая по своему составу аристократия противостояла крестьянству обеих национальностей [Boelcke 1957]. В 1819 и 1821 годах в серболужицких областях, принадлежащих Пруссии, были отменены личная зависимость крестьян и барщина; в 1832 г. феодальные повинности были упразднены в саксонской части Верхней Лужицы под давлением народного движения 1830–1831 годов.

Германизаторская политика немецких властей Пруссии и Саксонии по отношению к серболужицкому населению осуществлялась по-разному. Наиболее последовательной она была в Нижней Лужице, где государственные и церковные власти Пруссии неизменно проводили курс на ликвидацию серболужицкого языка. В Верхней Лужице после волнений 1830–1831 годов и в условиях конфессионального раскола серболужицкого населения правительство вынуждено было пойти по пути либерализации языковой политики. Бауцен (Будышин) стал центром книгопечатания и издательского дела в Верхней Лужице; вторым культурным центром серболужичан стал прусский округ Коттбус.

Основные носители серболужицкого языка — крестьяне — были поголовно неграмотными. Во многих деревнях на территории Лужицы вообще не было школ. Для большинства серболужичан основным средством общения являлся местный диалект. При слабом развитии народного образования и церковном по преимуществу характере серболужицкой литературы не было соответствующих условий для постоянного живого взаимодействия народного языка и литературного (письменного) языка серболужичан.

Вокруг вопросов о школьной реформе и судьбе родного языка серболужичан шла упорная идеологическая борьба [Шолта 1981: 344–355]. Характер взаимоотношений серболужичан и немцев в области культуры определяли споры о будущем серболужицкого языка.

Связи с немецкой культурой, обусловленные спецификой исторического развития серболужичан, имели длительную традицию. Они оказывали большое влияние на формирование серболужицкого национального самосознания. О противоречивом отношении к судьбе серболужицкого языка со стороны немецкого общества и представителей властей и деятелей церкви свидетельствует ситуация, сложившаяся в XVIII в. С одной стороны, в этот период Просвещения наблюдается оживленное взаимодействие двух культур, когда большинство университетов становится очагами распространения Просвещения (например, Лужицкое общество проповедников в Лейпцигском университете, немецкие участники которого — немцы — стали впоследствии авторами работ о языке и истории серболужичан; Серболужицкое общество в Герлице, в котором сотрудничали серболужицкие и немецкие ученые). С другой

стороны, некоторые влиятельные литераторы, государственные и церковные чиновники во имя Просвещения требовали искоренения серболужицкого «крестьянского» языка как якобы не способного к развитию [Шолта 1981], а необходимой предпосылкой улучшения народного образования считалось устранение серболужицкого языка из школьного дела.

В этих условиях особое значение для развития серболужицкой культуры и языка приобрел «Вендский семинар» в Праге, основанный еще в начале XVIII в. как центр подготовки католических священников для Саксонии. Этот семинар превратился в культурно-просветительский центр, ориентированный на изучение серболужицкого языка и культуры. Он стал опорной базой для развития межславянских и немецко-славянских связей, где свои первые шаги в изучении родного языка и культуры сделали представители молодого поколения серболужичан под руководством И. Добровского, В. Ганки, К. Э. Эрбена, М. Гатгалы. «Вендский семинар» в Праге стал впоследствии центром серболужицкого национального возрождения в результате плодотворного сотрудничества известных ученых, деятелей славянской культуры и серболужицких студентов.

Новый период в развитии серболужицкого общества, его культуры и литературных языков начинается в XIX веке и включает три этапа: 1) 10 – 30-е годы XIX в.; 2) 40-е годы и 3) 50 – 60-е годы XIX в.

В первой трети XIX в. в Верхней Лужице активизируется национальная деятельность серболужичан в результате влияния таких важных общественных событий как освобождение от крепостной зависимости крестьян, отмена барщины, феодальных повинностей; введения систематического обучения учителей, создания серболужицких обществ гимназистов и студентов в Бауцене (Будышине) и Бреслау. В 1839 г. в Бауцене было основано Славянское будышинское общество, ставшее впоследствии значительным центром серболужицкого национального возрождения.

Национальное движение серболужичан в конце 30-х годов XIX в. привело к мощному подъему общественного движения, которое в конце 40-х годов XIX в. охватило все слои серболужичан. *40-е годы* стали кульминацией национально-освободительного движения в Верхней Лужице. Его лидерами стали выходцы из

интеллигенции, сложившейся в крупных культурных центрах вне лужицкой территории. Национальное движение серболужичан, поставившее на повестку дня вопрос о культурном и национальном равноправии, наиболее ярко проявилось в 40-е годы XIX в. в Верхней Лужице, особенно в Саксонии. В Нижней Лужице неблагоприятные общественно-политические условия не способствовали в этот период активизации общественной жизни. В прусской части Лужицы именно в этот период серболужицкий язык был изгнан из школы, а в церковной жизни его применение было очень ограниченным. Активизация общественной жизни в Нижней Лужице относится лишь к 60 – 80-м годам XIX в. в виде, главным образом, переводов произведений верхнелужицких авторов.

Большое значение для формирования национального самосознания серболужичан имело не только создание обществ, как, например, основанного в 1846 г. серболужицкими студентами-католиками общества «Лужицкая сербка», из которого вышли видные деятели лужицкого возрождения, ученые, писатели (Я. Бук, М. Цыж, М. Яцславк, М. Горник, Г. Дучман, Я. Чесля, Я. Б. Чишинский, М. Андрицкий и др.), но и выступления представителей интеллигенции и участников крестьянских движений с требованиями признать серболужицкий язык и его право на существование, а также издание первых газет — «Серболужицкий рассказчик и курьер» Я. Дейки, «Серболужицкая газета» Я. Зейлера и Г. А. Крыгара и др. [Kunze 1974; 1982].

В письме одного из ведущих деятелей серболужицкого возрождения Я. М. Смолера к немецкому демократу Р. Блюму по поводу политической и общественной ситуации в Лужице ярко выражено понимание тесной связи духовной, культурной жизни лужицких сербов с состоянием и положением их родного языка в церкви, школе и суде; духовную нищету своих соотечественников он прямо связывает с упадком национального языка в результате угнетенного положения лужицких сербов в Саксонии и Пруссии [Суž 1975: 101].

Результатом изменения политической и общественной ситуации на территории Лужицы в период национального возрождения явился и перелом в развитии серболужицких литературных языков (в первую очередь, верхнелужицкого).

Уже в начальный период серболужицкого национального возрождения появляются и условия, и настоятельная необходимость для развития светской литературы — художественной литературы, отчасти научной, а также прессы. В связи с консервативностью действующих литературных (письменных) норм и их оторванностью от норм разговорного языка, которым владело большинство населения — носителей диалектов, возникла и стала осознаваться потребность в преобразовании серболужицких литературно-языковых норм, действовавших в предшествующий период истории серболужицкого языка и культуры. Наряду с такими актуальными проблемами, как сохранение серболужицкой народности и языка, развития школьного образования и издательского дела, выдвигается задача совершенствования серболужицких литературных языков, очищения их от германизмов, особенно в лексике и синтаксисе, сближение их норм с нормами серболужицких диалектов и других славянских литературных языков и диалектов. Создание литературы светского содержания требовало выработки новых языковых норм, расширения лексического состава, что предполагало научное изучение серболужицкого языка — его литературных форм и народного языка. Не случайно основные положения культурной по своему характеру программы серболужицкого национального возрождения выражали заботу о родном языке и его научном изучении и были ориентированы на народное просвещение и исследование народных обычаев и традиций [Ермакова 1996: 165].

Процесс формирования национального самосознания серболужичан в период возрождения был тесно связан с созданием основ языковой политики, которая осуществлялась деятелями возрождения. Языковая политика и основанная на ней программа развития серболужицких литературных языков находились в зависимости от выполнения требований о национальном и языковом равноправии серболужичан [Harstock 1977]. Задачу нахождения конкретных способов и путей осуществления такого равноправия должна была выполнять молодая интеллигенция Верхней Лужицы, объединившаяся вокруг Серболужицкой матицы — центральной организации серболужицкой интеллигенции (создана в 1845 г., окончательно утверждена — в 1847 г.) [Ермакова 1996: 171–172]. Идея создания этого общества принадлежала Я. А. Смолеру — основоположнику

серболужицкого языкознания [Ермакова 1985: 121–128]. Характеризуя культурную ситуацию в Лужице в 1842–1845 годах, он подчеркивал необходимость создания книг на серболужицком языке и обеспечение ими учителей, которые учат серболужичан на их родном языке [Суž 1975: 95]. Основной задачей Серболужицкой матицы являлось издание популярных и научных произведений для протестантов и католиков, создание книг светского содержания, изучение серболужицкого языка и литературы, то есть осуществление языковой политики, положенной в основу программы серболужицкого национального возрождения (Я. А. Смолер, Я. П. Йордан, К. Б. Пфуль).

Большую роль как в создании языковой политики, так и в ее осуществлении в период серболужицкого национального возрождения, сыграла деятельность таких представителей серболужицкого национально-освободительного движения, как Я. П. Йордан (1818–1891), Я. А. Смолер (1816–1884), Х. Зейлер (1804–1872), Г. Любенский (1790–1840), Я. Б. Дейка (1779–1853). Они возглавили национально-освободительную борьбу серболужичан, в которой участвовала демократически настроенная серболужицкая интеллигенция, в том числе молодые учителя из бауценского семинара — Ю. Мельде, Я. Вьела Радысерб, Я. Богувер Мучник и др.

В новый период развития и научного изучения серболужицкого языка потребовалось решение целого ряда проблем не только теоретического, но и практического характера. Задачи теоретического характера были связаны с выяснением свойств серболужицкого языка как объекта научного изучения, сущности процесса развития языка и связи этого процесса с историей общества; с определением соотношения литературного языка и языка народа; с отношением к проблеме существования единого серболужицкого языка или двух самостоятельных серболужицких языков; с определением основных принципов научного изучения серболужицкого языка и выяснением его связей с другими славянскими языками, с отношением к заимствованиям из немецкого языка и других славянских языков. К проблемам практического характера относился комплекс вопросов, связанных с развитием серболужицких литературных языков: речь шла о необходимости объединения двух вариантов верхнелужицкого литературного языка — протестантского

и католического, а также об оценке возможностей объединения двух литературных языков — верхне- и нижнелужицкого, условий их сближения, что предполагало выработку новых норм правописания и основ кодификации литературных языков. Таким образом, некоторые практические шаги к усовершенствованию серболужицких литературных языков настоятельно требовали решения ряда чисто теоретических проблем [Ермакова 1998: 93–94].

Деятели серболужицкого возрождения, признавая серболужицкий язык, все формы его существования предметом научного изучения, принимали положение о таком свойстве языка, как развитие и изменяемость, которое проявляется в области звуков, формы, значения, а также в составе лексики. Из некоторых высказываний Я. А. Смолера о развитии серболужицкого языка в письменный период (то есть после XVI в.) следует, что язык определенным образом может отражать историю народа и давать материал для исследования истории общества. «В языке отражается внутренняя (самая глубокая) сущность народа» [Volslieder der Sorben 1953: 20]. По мнению Я. А. Смолера, изучение народного быта и языка является основой исследования духа и мировоззрения народа. В этом смысле характерно его доказательство того, что христианство в Лужицу пришло от других славян, поскольку ряд церковных терминов, например, *cyrkej*, *křćić* и др., свидетельствуют об их славянском происхождении [Smoler 1961: 1].

Поскольку народный язык для деятелей серболужицкого возрождения выступает как критерий чистоты, противопоставленный письменной форме двух основных серболужицких наречий, то знание живого народного языка является основой научного изучения литературных языков. Совершенствование литературного языка должно быть связано со сближением с живым языком народа, тем более, что серболужицкий письменный язык в начальный период своего существования, представленный часто дословными переводами библейских текстов, производил впечатление языка, в котором слова «звучали по-славянски, а конструкции образовывались по чужому образцу» [Smoler 1915: 1].

Опора на изучение народного языка потребовала обращения к изучению отдельных серболужицких диалектов, особенности которых могли стать источником для обоснования и корректировки норм

литературных языков. Углубленное исследование диалектов, кроме того, могло способствовать и решению такой проблемы, как проблема единства серболужицкого языка. Детальное изучение диалектов способствовало установлению границ их распространения и определению так называемой переходной зоны [Jordan 1841: 5; Volkslieder der Sorben 1953: 275–282].

Совершенствование серболужицких литературных языков базировалось не только на знании диалектов серболужицкого языка, но и на понимании традиций литературного языка предшествующего периода, а также письменных традиций других славянских языков.

Постоянные и интенсивные контакты серболужичан с представителями других славянских народов, особенно чехами, интерес к национальной борьбе за пределами Лужицы, освоение идей славянской взаимности способствовали вовлечению серболужичан в сферу славянского мира, осознанию ценностей серболужицкой национальной культуры и своего места среди других славянских народов и тем самым росту и укреплению национального самосознания. Об этом свидетельствовала деятельность ряда лужицких писателей, журналистов, ученых. Ср., например, значение литературных и научных занятий поэта, историка и этнографа Г. Любенского, постоянно общавшегося с представителями чешского и словацкого национального возрождения [Лаптева 1972: 96]; деятельность Я. П. Йордана, которым были основаны «Ежегодник по славянской литературе, искусству и науке», журнал «Славянская центральная газета», «Утренняя звезда», и Я. А. Смолера, выдающегося общественного деятеля, публициста, ученого, собирателя и составителя знаменитого собрания серболужицких песен (1841 – 1843).

Принцип параллелизма при изучении серболужицкого языка, на который опирался Я. А. Смолер [Smoler 1879–1880], основывался на необходимости сближения серболужичан с другими славянскими народами. Этот принцип давал возможность прояснить сомнительные случаи, наблюдаемые в серболужицком языке, и корректировать, совершенствовать письменную серболужицкую речь с помощью своих и других славянских диалектов [Smoler 1915: 17]. Применение принципа параллелизма способствовало, по мнению Я. А. Смолера, как очищению серболужицкого языка от чуждых влияний, его сближению с другими славянскими языками, так и сохранению его своеобразия.

Одной из важнейших проблем, стоявших перед деятелями серболужицкого возрождения, была проблема создания единого литературного языка для серболужичан Верхней Лужицы. Решение этой практической задачи осуществлялось одновременно с обсуждением возможностей создания единого литературного языка для серболужичан Верхней и Нижней Лужиц. Невыполнимость этой задачи, осознаваемая большинством деятелей возрождения, была обусловлена целым рядом специфических для исторического развития серболужичан внеязыковых факторов (отсутствие единой для всех серболужичан светской, церковной и административной власти, единой системы школьного образования), которые часто играли решающую роль в их истории ([Schuster-Šewc 1967: 18; Šewc 1977: 32; Löttsch 1963: 182–183]; ср. замечание М. Горника о невозможности объединения обоих наречий, «поскольку не существует никаких общественно-политических или общественных условий» [Fasske 1983: 312]).

Между тем, сближению верхне- и нижнелужицкого литературных языков, базирующихся на родственных диалектах, но различающихся специфическими особенностями (в языковой структуре, по степени развития нормы, кодификации, в функциональной нагрузке), мог бы способствовать единый верхнелужицкий литературный язык. В тот период языковая ситуация в Верхней Лужице складывалась для его создания благоприятно. Сближение двух вариантов верхнелужицкого литературного языка — католического и протестантского — была необходимым условием культурного сплочения серболужичан Верхней Лужицы; единый верхнелужицкий литературный язык мог способствовать сохранению позиций серболужицкого языка и его носителей в различных сферах общественной жизни и тем самым создавать условия для его дальнейшего развития и совершенствования. Необходимость создания единого верхнелужицкого литературного языка в 1841 г. отчетливо выразил Я. П. Йордан, характеризуя языковую ситуацию в Верхней Лужице в начальный период национального возрождения: «И самое смешное заключается в том, что столь малочисленный народ, диалекты которого так похожи друг на друга, что кажутся происходящими из одной и той же деревни, разъединен орфографией, и это затрудняет понимание книг... и сводит на нет почти все выгоды и преимущества, которые могут дать нации печатные труды» [Fasske 1983: 311].

Создание единого верхнелужицкого литературного языка являлось необходимой предпосылкой развития литературы светского содержания, что, в свою очередь, требовало расширения лексического состава серболужицкого литературного языка, формирования различных терминологических систем, используемых в разных по содержанию и жанрах произведениях литературы и научных сочинениях.

В связи с тем, что различия между протестантским и католическим вариантами верхнелужицкого литературного языка проявлялись, главным образом, в области системы правописания, первым шагом на пути решения проблемы создания единого верхнелужицкого литературного языка было формирование новой орфографической системы. Введение ее, по мнению редактора литературного журнала «Лужичанин» К. А. Фидлера, имело бы большое культурно-политическое значение, так как становилось бы для серболужичан духовной и моральной поддержкой в борьбе против социальной дискриминации, национального угнетения и культурной изоляции [Шустер–Шевц 1989: 7]. Новая единая орфографическая система создавалась на основе латиницы с применением диакритических знаков по аналогии с системами орфографии других славянских народов, особенно чешского. Проект нового правописания был разработан Я. А. Смолером (1838 г.), был принят Будышинским серболужицким обществом (*Societas slawica Budissinensis*) и Лейпцигским обществом «Сорабия» (*Sorabija*) [Шустер–Шевц 1989: 8]. Практическое применение эта система нашла в ряде работ А. Я. Смолера, а позднее и Я. П. Йордана. В более полной и совершенной форме эта система изложена К.Т. Пфулем [см. Schmalzer 1841, 1843, 1843a, 1843b; Smoler 1848; Pfuhl 1848: 65–127; Jordan 1841].

Стремление избежать культурной изоляции и выйти за пределы Лужицы путем сближения верхнелужицкого литературного языка, единого для католиков и протестантов, с другими славянскими литературными языками, в частности, с чешским, не было поддержано большей частью протестантского духовенства Верхней Лужицы, усмотревшего в этом влиянии чужих идей угрозу устойчивому порядку в самой Лужице. Однако в дальнейшем идеи Я. А. Смолера были поддержаны влиятельным представителем католической части серболужицкой интеллигенции М. Горником, который позднее усовершенствовал и дополнил систему, реформированную Я. А. Смолером и

Я. П. Йорданом. М. Горник, как отмечает исследователь его лингвистического наследия Г. Фасске [Fasske 1983: 311–312], стремился не только к созданию единой графики и орфографии верхнелужицкого литературного языка, но и, прежде всего, к выработке единой нормы на всех уровнях литературного языка [Hörnig 1880: 156–164].

В процессе сближения двух вариантов верхнелужицкого литературного языка и создании единого верхнелужицкого литературного языка большую роль играл социальный престиж каждого из вариантов. Наиболее высоким был престиж протестантского варианта, который обладал более стабильной нормой и большей степенью распространения. Именно он и был взят Я. П. Йорданом за основу своей системы [Михалк 1989: 42–43].

Национально-культурное движение серболужичан достигло своей кульминации в середине 40-х годов XIX в. Именно в это время на учредительном собрании Бауценского общества (18 апреля 1845 г.) была создана по инициативе Я. А. Смолера Серболужицкая матица [Ермакова 1996: 188]. Согласно уставу Общества, его основной задачей являлось издание популярных и научных произведений и журнала на серболужицком языке, а также очищение и совершенствование языка с целью позаботиться о народном образовании. Издание серболужицких книг как важнейшее направление работы Общества, по мнению его руководства и членов, должно было способствовать сохранению серболужицкого народа и его языка. В своей деятельности Общество рассчитывало на поддержку и связь с остальным славянским миром.

Петиция Серболужицкой матицы 1848 г. («Требование серболужицкого населения саксонской Верхней Лужицы к министерству по вопросу о равноправном употреблении серболужицкого языка в школьном преподавании, церковной жизни и правосудии») выражала требование ее авторов от саксонского правительства обеспечения серболужицкому языку на лужицкой территории прав, «особенно в школе, церкви, перед лицом властей и суда..., чтобы в наших лужицких школах наш лужицкий язык не был бы угнетаемым языком, а как родной язык пользовался бы своими правами и употреблялся при преподавании..., чтобы в будущем судопроизводство у нас стало бы лужицким..., чтобы в наших учреждениях служили люди, владеющие лужицким языком..., чтобы все законы и

другие важные постановления и объявления переводились бы на лужицкий язык приведенными к присяге переводчиками, и эти акты были бы известны» [Harstock 1977: 144–151]. Матица, собравшая вокруг себя молодую серболужицкую интеллигенцию, искала конкретные пути для осуществления национального и языкового равноправия.

Одним из важных шагов в деятельности Серболужицкой матицы было принятие нового, третьего (называемого и аналогическим) варианта верхнелужицкого литературного языка. В этом, так называемом матичном, варианте последовательно употреблялась латиница (антиква) в противоположность католическому и протестантскому вариантам, где использовалась фрактур (швабах) и неунифицированное традиционное правописание (о других незначительных различиях см. [Михалк 1989: 43; Fasske 1983: 312]). Матичный вариант, постепенно одерживая победу, применялся при издании произведений серболужицких авторов, рассказов нравоучительного и развлекательного характера, в публикациях серболужицко-немецкого и немецко-серболужицкого словарей. Так, в 1866 г. вышел в свет обширный серболужицко-немецкий словарь К. Б. Пфуля (издатели Х. Зейлер и М. Горник). Матичный вариант частично употреблялся в серболужицких журналах, например, в «Католическом после» (*Katolski posol*), в 1862 г. — в переводах фрагментов Евангелия из Вульгаты, предназначенного для католиков. Как отмечает Ф. Михалк, «Католический „языковой партикуляризм“... во времена Михаила Горника и Я. А. Смолера был обречен» [Михалк 1989: 43]. Планы Комитета Серболужицкой матицы по пропаганде и применению аналогического правописания были поддержаны таким влиятельным деятелем серболужицкого возрождения, как Я. П. Йордан. Большую роль в развитии единого верхнелужицкого литературного языка, в укреплении позиций аналогического правописания (матичного варианта) сыграли опубликованные в журнале «Часопис Серболужицкой матицы» статьи Я. А. Смолера, Х. Зейлера, К. Б. Пфуля, М. Ростока, Я. Вьелана, М. Цыжа, К. А. Енча, Я. Бука, Я. Имиша и М. Горника. Применение матичного варианта облегчало серболужичанам понимание других славянских языков.

Сложность и противоречивость процесса создания единого верхнелужицкого литературного языка была обусловлена тем обстоятельством, что наряду с ним, в Лужице продолжали использоваться

протестантский и католический варианты. При этом влияние матичного варианта на протестантский вариант, отличавшийся высокой стабильностью вплоть до середины XX в., было не столь значительным, как влияние на католический вариант. Влияние матичного варианта на протестантский в большей степени сказалось лишь после Второй мировой войны, в то время как католический вариант испытал воздействие матичного варианта уже в период серболужицкого возрождения [Михалк 1989: 43].

Протестантский вариант верхнелужицкого литературного языка стал одним из основных источников (наряду с католическим вариантом) при создании единого верхнелужицкого литературного языка, что объясняется наличием у него длительных и сильных традиций в истории серболужицкой письменности, а также ролью серболужичан-протестантов в общественном движении и культурной жизни серболужичан в период национального возрождения, отношением известных деятелей-протестантов к диалектным особенностям католического варианта литературного языка. Так, Я. А. Смолер считал его «самым грубым» и «загрязненным» диалектом [Páta 1919: 31]. В некоторых случаях это препятствовало достижению компромисса между католическим и протестантским вариантами при выработке норм единого верхнелужицкого языка, например, в морфологии при выборе окончаний в Р. и Д. ед.: *-eho*, *-etu* (протестантское) / *-oho*, *-oti* (католическое) [Hórník 1833].

Процесс кодификации норм единого верхнелужицкого литературного языка на всех языковых уровнях проходил на фоне усиливавшегося влияния немецкого языка в результате действия внеязыковых факторов и постепенного перехода от стадии серболужицкого одноязычия к стадии немецко-серболужицкого двуязычия. При доминирующей роли немецкого языка и широком его применении во всех сферах общественной и государственной жизни вырастает его престиж; он превращается в мотивирующий фактор развития серболужицкого языка и доминирующий источник немецко-серболужицкой языковой интерференции. Фактор влияния немецкого языка на серболужицкий проявляется на всех уровнях языковой системы, действует на протяжении всей истории развития серболужицкого языка и всех форм его существования — письменных и устных литературных, разговорных и диалектных [Ермакова 1998; 2007].

В период национального возрождения, в 40-е годы XIX в., когда расширяются функции и сферы применения серболужицкого языка и на повестке дня стоит задача создания единого верхнелужицкого литературного языка, его совершенствования и одновременно необходимость его изучения как объекта научного исследования, формируется новая языковая политика. Позиция наиболее значительных деятелей возрождения определялась основной целью — сделать литературный язык понятным любому носителю серболужицкого языка и, следовательно, не противоречащим по своему характеру особенностям родного языка. Определенная система взглядов на формирование единого верхнелужицкого литературного языка, которая вырабатывалась деятелями возрождения в процессе создания светской литературы, периодической печати, научной деятельности и языковой практики, включала стремление сохранять системное своеобразие литературного языка. В основе этой системы лежало отношение к серболужицким диалектам и данным других славянских литературных языков и диалектов как к критерию славянского характера того или иного явления, свойственного верхнелужицкому литературному языку, а также оценка этих явлений с точки зрения традиций верхнелужицкой письменности.

Решение основной задачи, выдвинутой Серболужицкой матицей в 40-е годы XIX в., — создание научной и художественной литературы для лужичан на их родном языке, потребовало, прежде всего, расширения словарного состава серболужицкого литературного языка. При этом обращение к народному языку при обосновании и корректировке норм литературного языка приобретало особое значение как критерий «чистоты». Именно в этот период меняется отношение образованных лужичан — деятелей национального возрождения, влиявших на формирование языковой политики, — к заимствованиям в верхнелужицком литературном языке из других языков, славянских и неславянских, и особенно к германизмам, которых, в первую очередь, и касался выдвинутый в это время лозунг «очищения» верхнелужицкого литературного языка от «чужих» элементов. Отметим, что многие немецкие элементы уже заняли свое прочное место в литературном языке в предшествующий национальному возрождению период. Процесс сближения верхнелужицкого литературного языка с «чистым» народным языком

осложнялся тем, что народная речь серболужичан была насыщена немецкими лексическими заимствованиями и конструкциями. Поэтому источником выработки единых норм верхнелужицкого литературного языка могла служить народная поэзия, в которой относительно хорошо сохранился славянский характер народной речи. Источником сохранения славянского характера верхнелужицкого литературного языка являлись также данные других славянских языков, особенно чешского и польского. Обращение к ним получило теоретическое обоснование в работах Я. А. Смолера [Smoler 1915: 17]. Общеславянская языковая сокровищница рассматривалась им как единственная возможность объяснить неясные, сомнительные случаи, наблюдаемые в серболужицком языке, как способ корректировки и совершенствования своего письменного языка. Применение же принципа параллелизма, выдвинутого Я. А. Смолером и основанного на знании славянских языков, должно было способствовать очищению верхнелужицкого литературного языка от чуждых влияний и сохранению его своеобразия. Так, Я. А. Смолер считал необходимым сохранить такие своеобразные черты серболужицкого языка, как древние формы глагола — аорист I и аорист II, «чистое и полное» употребление форм двойственного числа, утраченного в большинстве славянских языков. Напротив, он требовал исключить из языка серболужичан формы будущего времени, образованные по немецкому образцу, которые противоречат славянскому характеру серболужицкой глагольной системы, «портят язык народа» и ведут к искажению текста. Совершенно ненужными лужицкому языку он считал случаи употребления указательных местоимений в функции артикля в соответствии с немецким языком.

Ограждение серболужицкого литературного языка от чуждых влияний, сохранение его чистоты и своеобразия, приближение к народной речи и языкам других славян осуществлялось в практической деятельности представителей национального возрождения, в целом ряде грамматических работ, которые в той или иной мере могли повлиять на языковую практику авторов научных статей и произведений художественной литературы.

Результат «очищения» литературного языка можно было бы обнаружить на всех уровнях языковой системы и особенно в верхнелужицкой лексике: в некоторых случаях автор для выражения

определенного понятия выбирает лужицкий вариант, отказываясь от уже достаточно устойчивого в верхнелужицком языке немецкого заимствования.

Усиление пуристических тенденций, начавшееся с 40-х годов XIX в., привело к тому, что из литературного языка ушли такие привычные для предшествующего периода германизмы, как употребление неопределенного местоимения в функции неопределенного артикля, употребление местоимения *wono* в качестве подлежащего в безличном предложении, сложных форм будущего времени типа *budu donjesć*, формы будущего времени страдательного залога типа *budu chwalony wordować*, аналитические формы повелительного наклонения I л. дв. ч. и мн. ч.

О результатах действия пуристических тенденций в XIX в. в период национального возрождения дает представление первый лексический компендиум верхнелужицкого литературного языка, созданный К. Б. Пфулем [Pfuhl 1866] при участии Х. Зейлера и М. Горника, который содержит и неологизмы, заменившие соответствующие германизмы, например, *štunda* (нем. *Stunde*) → *hodžna*; *tawzynt* (нем. *Tausent*) // *tydoc*; синонимы *wajchtař* (нем. *Wachter*) // *stražnik*, *zejch* (нем. *Zeich*) // *znamjo* [Енч 1989; Jentsch 1996; Jenč 2003].

В период национального возрождения из литературного языка уходят некоторые глагольные конструкции, где вместо обычного в славянских языках префикса употребляется наречие типа *nutřwidžeć*, *prjedknjesć*, *prjedryč*. Вместо них теперь употребляются соответственно *dowidžeć*, *přednjesć*, *předryč* [Jenč 2003].

Изменения происходят в применении так называемых гибридных форм и сложных слов, образованных с участием немецких элементов, например, вместо *hawptměsto* — сочетание *hlowne město*, вместо *hegenwola* — *swojowola*.

В период национального возрождения почти полностью исчезают незначительные лексические различия между протестантским и католическим вариантами. При выборе между германизмом, свойственным одному варианту, и славянским соответствием в другом, побеждает обычно славянский эквивалент.

Ликвидация немецких заимствований не коснулась всех лексических германизмов, многие из них сохранились и после 40-х годов

XIX в., а наряду с ними появились и новые германизмы, например, *bryla, štrumpa, tinta, tafla//tofla, helefanta, barbar, förman*.

В 40-е годы XIX в. появляются стимулы для развития на серболужицком языке различных терминологических систем, характерных для разных сфер общественной и научной деятельности, для появления лексики, обслуживающей не только церковную письменность, но и светскую поэзию, прозу, публицистику, различные области науки, особенно связанные непосредственно с изучением языка и истории серболужичан, с грамматическими исследованиями и философскими трактатами.

В качестве наиболее развитой среди терминологических систем выступает лингвистическая терминология, создателем которой является Я. А. Смолер, а также терминология, связанная с изучением серболужицкой литературы. Серболужицкие термины, употреблявшиеся в работах по естественным наукам, как правило, носили случайный характер. Серболужичане, проявлявшие интерес к химии, физике, геологии и другим естественным наукам, имели дело с литературой на немецком языке, а искусственно создаваемые термины-неологизмы на серболужицком языке не имели решающего значения для формирования целостных научных терминологических систем. Но в период национального возрождения развитие светской литературы, журналистики потребовало обращения к политическим, географическим, экономическим и другим вопросам и описанию их с помощью серболужицкого языка, а, следовательно, и образования и развития новой терминологии. Процесс этот был сложным и противоречивым, так как к тому времени серболужицкий язык уже воспринял ряд соответствующих интернациональных терминов, употреблявшихся, например, в лингвистической литературе, этнографических работах, в статьях, посвященных экономическим вопросам. Но в 40-е годы XIX в. уже действовала тенденция сближения серболужицкого языка с другими славянскими языками. Пуристические устремления проявлялись в устранении всех элементов, не соответствующих славянскому характеру языка серболужичан. В результате происходила замена уже укоренившихся интернациональных терминов на серболужицкие, как, например, *etnografija — ludowěda, narodopis; gramatika — rěčnica, konjugacija — časowanje, geografija —*

zemjepis, drama — činohra, industrija — přemyslo, новые обозначения месяцев: *junij — smažnik, julij — pražnik, august — žnjenc, apryl — jutrownik, februar — mały róžk, januar — wulki róžk* и др. В дальнейшем многие из серболужицких терминов вышли из употребления и в словарях даются с пометой «устаревшее» (например, названия месяцев), иногда указывается на возможное параллельное употребление интернационального и серболужицкого терминов (например, *geografija — zemjepis*).

В период национального возрождения расширяется лексический состав серболужицкого языка в сфере абстрактной и общественно-политической лексики, лексики, связанной с образованием, воспитанием, наукой, искусством, административной деятельностью; пополняется лексика, относящаяся к эмоциональной и интеллектуальной деятельности человека; появляются серболужицкие названия из области промышленной, технической и финансовой деятельности, а также географические названия, названия месяцев, явлений животного мира; пополняется лингвистическая терминология, лексика, связанная с понятием времени и т. д. [Stone 1971; Трофимович 1989].

Пуризм лексикографов носил более экстремальный характер, чем пуризм писателей, так как часто предполагал исключение из словаря не только германизмов, но и европеизмов, интернационализмов, имеющих латинские и греческие корни.

Действие пуристических тенденций на грамматическом уровне нашло отражение в реформах, предложенных Смолером, Йорданом, Пфулем, выступавшими, в частности, против некоторых аналитических форм перфективных глаголов, например, форм пассива, образованных с помощью заимствованного глагола *wordować* (нем. *werden*), но большая часть грамматических германизмов в период возрождения сохраняется. Меньшее влияние пуристических устремлений отмечается в синтаксисе языка, где, по мнению серболужицкого поэта Я. Барта-Чишинского, немецкий язык пустил особенно глубокие корни.

Противоречивый характер деятельности пуристов в период национального возрождения в известной степени определялся и субъективной позицией того или иного ученого по отношению в лексическим и грамматическим германизмам. Деятельность пуристов, осуществление их установки на дегерманизацию серболужицких

литературных языков вела к отрыву этих языков от народного языка: большая их часть пользовалась родным диалектом, серболужицкий литературный язык не оказывал на них заметного влияния; они оставались для него пассивным адресатом. Немецкий же язык выполнял для серболужичан в значительной мере функции литературного языка. Несмотря на все усилия серболужицких писателей к концу XIX — началу XX в. на фоне развивающегося билингвизма носителей серболужицкого языка, растущего влияния немецкого языка, появляются основания говорить о значительном упадке лужицких литературных языков.

На территории Нижней Лужицы проявления культурно-общественной жизни имели очень умеренный характер. Наиболее значительными событиями 40-х годов XIX в. для лужичан прусской части Нижней Лужицы было основание издания «Бранденбургская нижнелужицкая газета», которая выходила, хотя и нерегулярно, с 1848 г., а также появление лужицкого общества гимназистов в Коттбусе в 1848 г.

Нижнелужицкий литературный язык получил относительно устойчивые условия для своего существования только в Бранденбургском анклав Коттбус. Лишь в 1880 г. при поддержке верхнелужицких деятелей (особенно М. Горника и А. Муки) был основан отдел нижнелужицкой Матицы. Его основной задачей было издание произведений на нижнелужицком литературном языке, решение проблем совершенствования правописания и грамматического нормирования.

Верхнелужицкий литературный язык, функционировавший в период национального возрождения, по сравнению с литературным языком предшествующего периода, является языком нового типа. Он возник в результате формирования единой орфографии, отражающей единую языковую систему, значительного расширения, изменения и обогащения лексического состава, появления новых тенденций в кодификации грамматической системы.

В течение относительно короткого времени появляется новая по своему содержанию и объему литература — не только беллетристика и периодическая печать, но и научная литература на серболужицком языке в разных областях знания. Об этом свидетельствует деятельность создателей серболужицкой литературы, участвующих в расширении и обогащении словарного состава верхнелужицкого

литературного языка. Грамматические, лексические нормы и система правописания нашли отражение в лексикографическом труде К. Б. Пфуля (при участии Х. Зейлера и М. Горника) «Серболужицкий словарь» [Pfuhl 1866], в котором автор кодифицировал новую терминологию.

В первой половине XIX в. словарный состав верхнелужицкого литературного языка пополнился многочисленными европеизмами, интернационализмами, которые попадали в литературный язык при посредничестве немецкого языка. Это объяснялось тем, что серболужицкие писатели и создатели литературного языка в большинстве своем происходили из двуязычных областей Лужицы. Немецкий язык был для них активным средством коммуникации, к которому они обращались в процессе получения образования, профессиональной деятельности и в общении с окружающими людьми. При этом так называемый народный язык также находился под сильным влиянием немецкого языка, что не могло не сказаться на творчестве серболужицких писателей [Jentsch 1996: 224–227].

На формирование лексического состава верхнелужицкого литературного языка значительное влияние оказал и чешский язык, что явилось определенным продолжением воздействия чешского образца в других сферах жизни серболужицкого общества: общественной, политической и культурной, в языковой политике. Некоторые заимствования и кальки из чешского языка приобретают нормативный характер. Так, в качестве бегемизмов, стабилизировавшихся в верхнелужицком литературном языке для нормативного обозначения новых понятий, появившихся в верхнелужицкой письменности только в XIX в., Г. Енч приводит такие слова, как *wustawa* ‘конституция’ (чешск. *ústava*), *narěč* ‘диалект’ (чешск. *nářeči*), *sklonjować* ‘склонять’ (чешск. *skloňovati*). В предшествующий период развития верхнелужицкого литературного языка влияние чешского языка носило лишь спорадический характер и не имело нормативного значения [Jentsch 1996: 223–224].

Особенности языковой ситуации в Лужице, роль и престиж верхнелужицкого литературного языка, не являвшегося основным средством коммуникации для большинства носителей серболужицкого языка, повлияли на количественный и качественный характер терминологических систем, свойственных верхнелужицкому языку

периода национального возрождения [Трофимович 1989: 78–96]. Профессиональная терминология вырабатывается только для некоторых областей духовной жизни, например, истории, этнографии, лингвистики, литературы. Для других отраслей знания, как например, философии, психологии, естествознания, как правило, употребляется лишь определенный круг основных терминов. Многие же термины, связанные с указанными сферами духовной жизни и отмеченные в словарях, на практике остаются невостребованными.

Развитие верхнелужицкой терминологии в различных областях науки, техники, политики и производственной деятельности (с разной степенью использования интернациональной лексики) было результатом деятельности таких серболужицких ученых, как Я. А. Смолер, К. Б. Пфуль, М. Росток и др. Наибольшее число интернациональных терминов свойственно церковной и лингвистической терминологическим системам. Так, например, в работах Я. А. Смолера употребляются такие термины-интернационализмы, как *wokalizacija*, *dialekt*, *substantiw*, *infinitiw*, *konsonant*. Употребление лингвистических интернационализмов свойственно в большей мере журнальным статьям на лингвистические темы, где встречаем термины *genetiw*, *lokatiw*, *futuriski*, *perfekt*. Почти совсем они не употребляются в словарях К. Б. Пфуля и в более поздних словарях Ю. Краля и Ф. Резака.

Новым этапом в развитии интернациональной лексики в верхнелужицком литературном языке явилось издание фундаментального труда Я. А. Смолера — собрания песен верхних и нижних серболужичан [Stone 1985: 29] и таких его работ, как *Mały Serb aby serske a němske rozmlówenja* (1981) и *Němsko-serski Słownik* (1843). В двух вступительных статьях к сборнику песен, посвященных характеристике серболужицкого языка, народных обычаев и т. д., написанных по-серболужицки, но, несомненно, с опорой на немецкий вариант этого текста как первоосновы серболужицких статей, употребляется целый ряд новых для серболужицкого языка слов-интернационализмов. Ср., например, такие неологизмы-интернационализмы, как *antropologa*, *deklinacijon*, *diakritiski*, *dialekt*, *elegija*, *etymologija*, *forma*, *gramatika*, *historija*, *historiski*, *historikař*, *kónsonant*, *khronika*, *krityka*, *legenda*, *literatura*, *musika*, *musicalny*, *opera*, *original*, *orthographija*, *požzija*, *praeposicijon*, *radikalny*, *rektař*, *rhythmusky*, *romantiski*, *sekretař*, *sylba*, *coerb*, *wokal*, *wokalizacijon*. При этом

интернационализму в немецком тексте не всегда соответствует интернационализм в серболужицком. Так, например, в немецком тексте *Aesthetker*, в серболужицком — *na zjanosće wustojny*.

Непосредственным источником этих интернационализмов в лужицком является немецкий язык. В отличие от германизмов, не относящихся к интернациональной лексике, эти термины оказались устойчивыми, хотя некоторые из них и приобрели другую морфологическую форму. Ср., например, употребляемые Я. А. Смолером существительные мужского рода *deklinacijon*, *wokalizacijon* впоследствии были заменены на существительные женского рода типа *deklinacija*, *wokalizacija*. Отметим, что в словаре Б. Пфуля, как и в некоторых более поздних словарных изданиях, для обозначения одних и тех же понятий, наряду со словом-интернационализмом, приводились и серболужицкие синонимы.

В процессе развития лексического состава верхнелужицкого литературного языка возникали проблемы, связанные с различными способами словообразования. Речь шла об образовании новых слов с помощью деривации от уже существующих верхнелужицких слов, о калькировании соответствующих немецких слов, изменении или расширении старого значения слова, введении в оборот старых слов, некогда уже вышедших из употребления, адаптации соответствующего славянского слова, особенно чешского, структура которого по внешним признакам напоминает верхнелужицкую. Последний способ в период серболужицкого национального возрождения получил наибольшее распространение. Это объясняется не только тем, что развитие в этот период светской литературы, журналистики потребовало обращения к политическим, экономическим, географическим, научным и другим вопросам и, следовательно, описания их с помощью серболужицкого языка и соответствующей новой серболужицкой терминологии, но и характерной для того времени тенденцией приблизить серболужицкий язык к другим славянским литературным языкам, близким ему по своей структуре. Это, в свою очередь, способствовало бы сохранению чистоты и своеобразия серболужицкого языка, его славянского характера.

В этом процессе значительное место занимали пуристические установки представителей серболужицкой интеллигенции, которая осуществляла языковую политику, поддерживаемую Серболужицкой Матицей.

Осуществление пуристических установок вело к отрыву верхнелужицкого литературного языка от народного языка серболужичан, большинство которых пользовалось своим родным диалектом наряду с немецким языком. Этот процесс шел медленно, так как внедрение новых норм, «подлинно славянских», создаваемых языковедами, было трудно осуществить: школьное образование на лужицком языке в Лужице было ограниченным, а за пределами Саксонии оно фактически и не существовало. Изменению письменного литературного языка, характерного для более раннего периода и насыщенного германизмами, в значительной мере препятствовало то обстоятельство, что он был освящен церковной традицией. Начавшаяся с 40-х годов XIX в. борьба с германизмами, как и попытки сближения серболужицкого литературного языка с другими славянскими литературными языками, приводили иногда к сознательной архаизации литературного языка. Об архаизации верхнелужицкого литературного языка как результате действия пуристических тенденций свидетельствует, в частности, сравнение переводов Библии (1728 г.) и Нового завета Ю. Лусчанского и М. Горника (1892 г.) [Jepš 1964: 252]. Особенности употребления некоторых глагольных форм (перфекта, причастий, деепричастий) в этих переводах подтверждают тот факт, что до перелома в развитии верхнелужицкого литературного языка в середине XIX в. не было принципиального различия между письменным языком серболужичан и их разговорной речью.

Процесс смены устаревших языковых норм в связи с формированием новых коммуникативных условий протекал сложно и противоречиво. Относительно радикальные изменения в развивавшемся верхнелужицком литературном языке периода национального возрождения вызвали необходимость создания его новой кодификации. Расхождение норм консервативного литературного языка (преимущественно церковной литературы) с узусом народного языка было очевидно уже в начале XIX в. Языковая политика в период национального возрождения, связанная с именами Я. А. Смолера, а в более поздний период — Я. Б. Чишинского и А. Муки, основанная на заботе о «чистом» серболужицком языке (*čista serbskość*) и его так называемой *słowjanskośći*, требовала учета ряда тенденций, действующих в народном языке серболужичан.

Новый лужицкий литературный язык одержал победу, главным образом, в публикациях журнала Серболужицкой матицы, где помещались работы в области морфологии, лексики, синтаксиса. В газетах и журналах, рассчитанных на массового читателя, он пробил себе дорогу не сразу.

Дивергентное развитие верхнелужицкого литературного языка и народного языка, на котором говорило большинство серболужичан, было обусловлено рядом субъективных и объективных причин, а наметившиеся тенденции сближения норм литературного языка с узусом народного языка в процессе новой кодификации литературного языка оставались без достаточного внимания со стороны ее создателей. Деятели национального возрождения в Лужице находились под сильным влиянием чешского возрождения, в котором пуристические тенденции были очень сильны. Чешский же образец был взят ими в качестве примера в борьбе за поднятие престижа верхнелужицкого литературного языка, за создание «чистого» и «хорошего» литературного языка, хотя, как заметил известный серболужицкий исследователь Р. Енч [Jenč 1964: 251], чешский литературный язык сам представлял собой достаточно искусственное образование. Приливы и отливы в этом процессе определялись изменениями в политической и культурной ситуации в Лужице, начиная со второй половины XIX в. Носителем верхнелужицкого литературного языка была в основном интеллигенция, объединенная вокруг Серболужицкой матицы и поддерживавшая все ее начинания, в том числе и в пуристической деятельности. Для сельского населения Лужицы — основного носителя серболужицкого языка, серболужицких диалектов, литературный язык не являлся активно действующим фактором, оказывающим влияние на народный язык. Именно этим обстоятельством объясняется то, что некоторыми лингвистами народный язык признавался надежным критерием при оценке литературной нормы: в нем языковая система была представлена якобы в чистом виде.

Принцип народности литературно-языковой нормы, ее взаимодействия с тенденциями живого развивающегося народного языка серболужичан в XIX в. остался нереализованным. И хотя формировавшийся верхнелужицкий литературный язык в период национального возрождения являлся по существу языком нового типа (по

сравнению с языком предшествующего периода), он сохранял определенную обособленность, изолированность от разговорного языка серболужичан. Овладеть этим языком можно было лишь путем усвоения литературных произведений. Активным коммуникативным средством он стал для незначительного слоя серболужицкой интеллигенции. Для большинства же населения основным средством общения оставался диалект. Это является одной из причин характерных уже для того времени жалоб на «непонятность» верхнелужицкого литературного языка.

С 70-х годов XIX в. о верхнелужицком литературном языке можно говорить как о поливалентной, надрегиональной форме языковой коммуникации, употребляемой как письменно, так и устно.

Перелом в развитии серболужицких литературных языков в период национального возрождения лужичан в 40-е годы XIX в. обусловил и важнейшие изменения во всех сферах духовной жизни. Укрепление позиций верхнелужицкого литературного языка, обеспечение дальнейшего развития литературно-языковой нормы имело особое значение для судьбы серболужицкой народности. Специфические особенности языковой ситуации в Лужице (постоянное и сильное влияние немецкого языка и развивающийся билингвизм, функциональная ограниченность литературного языка) обусловили определяющее значение серболужицкого литературного языка как признака серболужицкой народности (при всей важности таких элементов, как фольклор, исторические традиции и др.). В связи с этой ролью литературного языка первостепенное значение приобретает изучение его характера, кодификации, взаимоотношения с источниками литературной нормы, региональными формами, а также повседневная педагогическая практика, создание словарей, грамматик, учебников.

В период, предшествовавший серболужицкому национальному возрождению, традиционная, народная культура выполняла важную этническую функцию (наряду с серболужицким языком), являясь почти единственной формой духовно-культурной жизни серболужицкого этника. Наиболее значительным и ярким ее проявлением был серболужицкий фольклор. Растущее немецкое влияние проявлялось, главным образом, в сфере материальной культуры (архитектура, национальный костюм и т. д.). До XIX в. только серболужицкий

фольклор (песни, сказки, пословицы, легенды и сказания) сохраняет в большей мере, чем материальная культура, свое своеобразие.

Первая половина XIX в. ознаменовалась начавшимся процессом распада традиционной народной культуры, о чем свидетельствовал Я. А. Смолер, собиравший материал для своего собрания серболужицких песен (1837–1840 гг.). В первую очередь, речь шла об изменениях в обрядах, одежде, в народной музыке, но позднее они коснулись также и народной песни. Х. Йордан в 1874 г. говорит о смерти, грозящей серболужицкой песне. В последние же десятилетия XIX в. народная песня еще имела хождение в основном на периферии серболужицкой территории, в деревнях переходного пояса и Блотах (на Шпреевальде).

В период серболужицкого национального возрождения 40-х годов XIX в. формируется новая социолингвистическая ситуация, возникшая как результат борьбы серболужицких патриотов за сохранение и развитие родного языка. В процессе этой борьбы лужицкие литературные языки были инструментом, с помощью которого создавалась новая светская литература серболужичан, развивалась беллетристика, серболужицкая пресса, популярная и научная литература. Развитие литературного языка и его применение в разных коммуникативных сферах потребовало расширения лексического состава, создания определенных терминологических систем, необходимых для развития таких областей, как политика, общественная жизнь, история, этнография, театр, музыка, языкознание и другие гуманитарные дисциплины. Центром растущего в 40-х годах культурного движения серболужичан была Серболужицкая матица.

Но серболужицкий фольклор сохраняет свое значение и ценность и в период национального возрождения. С ним связаны самые значительные достижения этого периода в области культуры. Об этом свидетельствует лирическая поэзия Х. Зейлера (1804–1872), тематически, в языковом и стилистическом отношении опиравшаяся на народную поэзию и творчество, а также творчество композитора К. А. Коцора (1822–1904) — автора ряда песен, светских ораторий в романтическом стиле. Событиями в серболужицкой культурной жизни стали народные концерты, первый из которых состоялся в Бауцене в 1845 г. Они знаменовали собой начало нового этапа развития серболужицкой культуры и сами стали частью народной культуры.

В формировании нового национального самосознания серболужичан в период возрождения и борьбы за сохранение родного языка, создания единого верхнелужицкого литературного языка огромную роль сыграла собирательская деятельность представителей молодой серболужицкой интеллигенции, связанная с традиционной народной культурой. Высшим ее достижением является уже упоминавшееся собрание серболужицких песен, осуществленное Я. А. Смолером с помощью Л. Гаупта — секретаря известного Згорельского научного общества. Научное значение этого собрания повышает включенный в него демографический обзор, статьи о языке, обычаях и материальной культуре, первое собрание поговорок и сказок.

Хранителями традиционной культуры во второй половине XIX в. были такие деятели серболужицкого возрождения, как Х. Йордан, А. Мука и др. Однако в силу сложившейся в Лужице общественно-политической ситуации деятелям серболужицкой культуры не удалось по примеру чешских и немецких ученых — издателей народных сказок и песен — представить образцы серболужицкого фольклора в современной языковой форме. В конце XIX в. стала развиваться новая музыкальная серболужицкая культура, поддерживаемая сельскими обществами серболужичан. Хоровое пение у лужичан, имевшее в репертуаре и народные песни раннего периода истории серболужицкого народа, сыграло большую роль в поддержании самосознания, для ощущения единства серболужичан в новой исторической ситуации, в условиях усилившейся политики германизации серболужицкого национального меньшинства.

Изучение и интерес к традиционной культуре у деятелей национального возрождения сыграли большую роль в процессе формирования и совершенствования серболужицких литературных языков в этот период. Выполнение задачи сохранения собственного национального языка и развитие родного языка, являющегося важнейшим признаком, критерием народности, выработка принципов ограничения влияния доминирующего в серболужицкой языковой ситуации немецкого языка, необходимость очищения языка при создании единого верхнелужицкого литературного языка в целях сохранения его своеобразия потребовали обращения к изучению народного языка серболужичан и его соотношения с литературным языком.

Не случайно языковедение стало самой развитой наукой в период национального возрождения. На начальных этапах своего развития находились этнография, история, фольклористика и литературоведение. Создание, хотя и ограниченного числа серболужицких терминологических систем и отдельных терминов в разных областях науки, способствовало появлению научных статей на серболужицком языке (например, статьи М. Ростока по энтомологии, геологии, химии, астрономии, А. М. Краля — по агрономии).

Одним из крупнейших представителей серболужицкой литературы периода национального возрождения был Я. Радысерб-Веля (1822 – 1907) — автор многих поэтических произведений (особенно известны его баллады), прозы, публицистических сочинений; он является одним из создателей детской литературы на серболужицком языке. М. Горник прославился как переводчик поэзии крупнейших представителей литературы других славянских народов (А. Мицкевича, Я. Колара, Ф. Д. Челаковского, А. С. Пушкина и др.). В 40-е годы XIX в. появился целый ряд писателей, произведения которых свидетельствовали о развитии серболужицкой литературы и росте национального самосознания их авторов. Ср., например, литературную деятельность таких авторов, как Я. Б. Мучник (1821 – 1904), Ю. Е. Велян (1817 – 1892), М. Циж (1825 – 1853), М. Домашка (1820 – 1897), Г. Вичазец (1809 – 1885), Я. Бартко (1821 – 1900).

Борьба за права родного языка в условиях германизаторской политики властей, совершенствование литературного языка на основе отношения к нему как к объекту научного изучения, создание и развитие светской литературы разных жанров и стилей составляли основное содержание деятельности наиболее крупных представителей серболужицкого национального возрождения. Их работа, центром которой стал журнал Серболужицкой матицы «Часопис», сформировала базу языкового объединения серболужичан [Ермакова 1996: 179] и дальнейшего развития их культуры.

После поражения революции 1848 г., в 50–60-е годы, были распущены серболужицкие организации, активно действовавшие в период революции, некоторые из членов Серболужицкой матицы отказались от участия в общественной жизни в Лужице; были прерваны традиции песенных фестивалей. Однако интенсивная научная и издательская деятельность Общества продолжалась:

велись работы по изучению серболужицкого и других славянских языков, литератур, по популяризации серболужицкой культуры, велась плодотворная работа в разных областях науки, литературы, фольклора. Так, возникают отделы Матицы, связанные с наукой (по отраслям): отдел языкознания (1854), истории и изучения древностей, естествознания (1857); литературы (1858); позднее, в 1895 г. появился отдел музыки.

Журнал Общества «Часопис» публиковал не только научные статьи, но и ряд произведений серболужицкой литературы, авторами которых были Х. Зейлер, Я. Радысерб-Веля, Я. Б. Мучник и др. Языковая политика периода возрождения была связана с именами Я. А. Смолера и М. Горника, а позже — Я. Б. Чишинского и А. Муки. В журнале Серболужицкой матицы помещались статьи, посвященные кодификаторской деятельности в области лексики, морфологии, синтаксиса. Именно в публикациях Матицы одержал победу новый верхнелужицкий литературный язык, в то время как он еще долго пробивал себе дорогу в газеты и книги, адресованные массовому читателю.

Серболужицкая матица, возникшая в период подъема национально-культурного движения серболужичан, объединившая вокруг себя молодую интеллигенцию, искала конкретные пути для осуществления национального и языкового равноправия. В ее деятельности воплотилось взаимодействие и взаимовлияние разных направлений в области языка и культуры: создание единого верхнелужицкого литературного языка как поливалентного средства коммуникации серболужичан и активизация деятельности в различных сферах культуры (в литературе, образовании, науке, искусстве). Основы нового верхнелужицкого литературного языка, заложенные в период национального возрождения, получили дальнейшее развитие в литературных произведениях и публицистике таких крупных представителей серболужицкой литературы, как Я. Б. Чишинский, Я. Радысерб-Веля, М. Андрицкий, Ю. Вингер, Я. А. Холан и др., в лексико-терминологических работах М. Ростока (из области химии, географии, зоологии, биологии), в публикациях литературно-культурного журнала «Лужичанин» (1860 – 1881) и в журнале «Лужица» (1882 – 1916). Формирующуюся новую литературно-языковую норму во второй половине XIX в. отражают грамматические работы Ю. Либша [Liebsch 1884], А. Муки [Mucke 1891], Ю. Краля [Kral 1895].

Общая языковая ситуация в Лужице, ухудшившаяся после поражения революции 1848 г. в Германии, не способствовала развитию верхнелужицкого литературного языка, его лексического состава; круг лиц, владевших литературным языком и использовавших его как средство коммуникации, ограничивался представителями городской и сельской интеллигенции, школьными учителями и священниками; в школах же серболужицкий язык использовался (и далеко не везде) факультативно, главным образом, на уроках закона божьего. Преподавание остальных предметов шло на немецком языке. В 70-е годы XIX в. в Пруссии и Саксонии преподавание серболужицкого языка в школах было запрещено.

Решающим этапом в развитии серболужицкого литературного языка в XIX в. стали 40-е годы, которые явились кульминацией национально-освободительного движения лужичан. Именно в этот период была выполнена главная задача, поставленная деятелями лужицкого возрождения — создание единого верхнелужицкого литературного языка, соответствующего требованиям развития серболужицкой народности в данный исторический период. Создателями основ такого литературного языка были Я.А. Смолер и М. Горник. Задачи дальнейшего развития литературного языка серболужичан были сформулированы представителями молодого поколения интеллигенции, вышедшей из студенческого движения 70-х годов. Они заложили основы так называемого движения «младосербов», протестовавшего против политики национального угнетения. Наиболее ярким представителем этого движения, наряду с А. Мукой, был поэт Я. Б. Чишинский (1856 – 1909). В последние десятилетия XIX в. он принял участие в дискуссии о задачах и функциях литературного языка, изложив свои взгляды в полемической статье 1877 – 1878 годов на роль литературного языка для сохранения серболужицкой культуры, на его отношение к народному языку и языковой пуризм. Именно языку, по мнению Я. Барта-Чишинского, принадлежит решающая роль в сохранении серболужицкого национального самосознания: «Но в наибольшей степени существование народности гарантирует серболужицкий язык» [Bart-Ćišinski 1974].

Под влиянием работ по развитию верхнелужицкого литературного языка у серболужичан усиливается интерес к развитию культуры других славянских народов. Об этом свидетельствует

появление многочисленных переводов лужицких авторов с других славянских языков, наряду с оригинальными произведениями литературы и научными (языковедческими, этнографическими, социологическими и историческими) работами серболужицких авторов. Среди последних выделяются такие труды, как «Статистика лужицких сербов» А. Муки, «История серболужицкого народа», написанная М. Горником в соавторстве с польским ученым В. Богуславским.

Работы деятелей серболужицкого национального возрождения в 40-х годах XIX в. в области серболужицкого языкознания сыграли огромную роль не только для создания единого литературного языка в Верхней Лужице, для совершенствования обоих литературных языков серболужичан, но имели прямое отношение к развитию духовной жизни народа, росту национального самосознания. Выработка новой формы правописания, так называемого аналогического, способствовала объединению серболужичан и приобщению их к литературе и культуре других славянских народов.

Литература

Енч 1989 — *Енч Г.* О развитии лексической нормы в верхнелужицком литературном языке со второй половины XIX в. до настоящего времени (по данным словарей) // Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1989.

Ермакова 1979 — *Ермакова М. И.* Из истории нижнелужицкого литературного языка (XVI — начало XIX в.) // Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменности. М., 1979.

Ермакова 1985 — *Ермакова М. И.* Лингвистические взгляды Я. А. Смолера // *Lětopis Instituta za serbski ludospyt.* 1985. R. A. № 32.

Ермакова 1988 — *Ермакова М. И.* Особенности функционирования современных серболужицких литературных языков // Функционирование славянских литературных языков в социалистическом обществе. М., 1988.

Ермакова 1996 — *Ермакова М. И.* Серболужицкая матица // Славянские матицы XIX в. М., 1996, ч. I.

Ермакова 1998 — *Ермакова М. И.* Проблема развития верхнелужицкого литературного языка в период национального возрождения // Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. М., 1998.

Ермакова 1999 — *Ермакова М. И.* Развитие норм серболужицких литературных языков в связи со спецификой языковой ситуации // Проблемы

славянской диахронической социолингвистики и динамики литературно-языковой нормы. М., 1999.

Ермакова 2007 — *Ермакова М. И.* Отражение влияния немецкого языка на серболужицкие литературные языки // Межъязыковое влияние в истории славянских языков и диалектов: социокультурный аспект. М., 2007

Лаптева 1972 — *Лаптева Л. П.* О национальном возрождении у лужицких сербов // Вопросы первоначального накопления и национальных движений в славянских странах. М., 1972.

Михалк 1989 — *Михалк Ф.* Стабильность и вариантность серболужицкого языка // Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1989.

Трофимович 1989 — *Трофимович К. К.* У истоков терминоворчества в верхнелужицком литературном языке // Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1989.

Шолта 1981 — *Шолта Я.* Специфика национального развития серболужичан // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981.

Шустер-Шевц 1989 — *Шустер-Шевц Г.* Возникновение современного верхнелужицкого литературного языка в XIX в. и проблема влияния чешской модели // Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1989.

Bart-Ćišinski 1974 — *Bart-Ćišinski J.* Hłosy ze Serbow do Serbow // Zhrmadžene Spisy. T. VIII. Bautzen, 1974.

Boelcke 1957 — *Boelcke W.* Bauer und Gutsherr in der Oberlausitz. Ein Beitrag zur Wirtschafts-, Social- und Rechtsgeschichte der Ostelbischen Gutsherrschaft. Bautzen, 1957.

Cyž 1975 — *Cyž J.* Jan Arnošt Smoler. Budyšin, 1975.

Fasske 1983 — *Fasske H.* Prócowanje Michała Hórnika wo jednotnosť spisowneje rěče // Rozhlad. 1983. № 9.

Harstock 1977 — *Harstock E.* Die sorbische nationale Bewegung in der sächsischen Oberlausitz 1830–1848/49. Bautzen, 1977.

Hórnik 1880 — *Hórnik M.* Wótworjenje našeje spisowneje rěče a jeje zbliženje k delnjoserbskej // Časopis Maćicy Serbskые. Budyšin, 1880.

Jenč 1964 — *Jenč R.* K prašenju normy w hornjoserbskej spisownej rěči // Serbska šula. T. 17. Budyšin, 1964.

Jenč 2003 — *Jenč H.* Leksikaliske wosebitosće hornjoserbskeje spisowneje rěče za cas nastaća přeņeje (ewngelskeje) serbskeje biblije // Rozhlad. 2003. № 11–12.

Jentsch 1996 — *Jentsch H.* Die Entwicklung der abstrakten Terminologie der obersorbischen Schriftsprache bis zum 19. Jahrhundert // *Z historii języków łużyckich.* Warszawa, 1996.

Jermakowa 1987 — *Jermakowa M. I.* Problems of Development of the Sorbian Language in Context with the specific Character of the Historical Development of the Sorbs // *Language and Culture of the Lusatian Sorbe throughout their History.* Berlin, 1987.

Jordan 1841 — *Jordan J. P.* Grammatik der wendisch-serbischen Sprache in der Oberlausitz. Prag, 1841.

Kral 1895 — *Kral G.* Grammatik der wendischen Sprache in der Oberlausitz. Bautzen. 1895.

Kunze 1974 — *Kunze P.* Franzoska rewolucija a Serbija // *Rozhlad.* 1974. № 8.

Kunze 1982 — *Kunze P.* Formen der Kulturentwicklung im Rahmen der nationalen Wiedergeburt der Lausitzen Sorben // *Lětopis Instituta za serbski ludospyt.* 1982. R. B. № 29/2.

Lewaszkiwicz 1995 — *Lewaszkiwicz T.* Łużiskie przekłady Biblii. Przewodnik bibliograficzny. Warszawa, 1995.

Liebsch 1884 — *Liebsch G.* Syntax der wendischen Sprache in der Oberlausitz. Bautzen–Leipzig, 1884.

Lötzsch 1963 — *Lötzsch R.* Das Problem der obersorbisch-niedersorbischen Sprachgrenze // *Zeitschrift für Slawistik.* 1963. Bd. VIII.

Mětsk 1962 — *Mětsk F.* Einige Erwägungen über die Auswirkungen der territorialen Veränderungen zu Beginn des XIX Jh. auf die sorbische Nationallität // *Lětopis Instituta za serbski ludospyt.* 1962. R. B. № 9/1.

Mětsk 1965 — *Mětsk F.* Narodnostne poměry w měšće Budyšinje a socialekonomiska struktura jeho serbskeho wobydlerstwa w započatku 19 lětstotka // *Lětopis Instituta za serbski ludospyt.* 1965. R. B. № 3.

Mucke 1891 — *Mucke K. E.* Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache. Leipzig, 1891.

Nedo, Nowotny 1976 — *Nedo P., Nowotny P.* Znaczenie kultury ludowej dla życia społecznego i kulturnego serbołużyckie mniejszości narodowej // *Problemy kultury ludowej i narodowej / Materiały z II międzynarodowej konferencji etnografów słowiańskich.* Warszawa — Poznań, 1976.

Páta 1919 — *Páta J.* Z českeho listowanja // *Časopis Mačicy Serbskye.* Budyšin, 1919. T. LXXII.

Pfuhl 1848 — *Pfuhl K. B.* Hornjołužiski serbski prawopis z krótkim ryčničnym přehladom // *Časopis Mačicy Serbskye.* Budyšin, 1848. T. I.1.

Pfuhl 1866 — *Pfuhl K. B.* Lauwitzisch Wendisches Wörterbuch / Dr. P. Pfuhl. Łužiski serbski słownik. Budyssin, 1866.

Schuster-Šewc 1967 — *Schuster-Šewc H.* Sorbische Sprachdenkmäler 16.–18. Jahrhundert. Bautzen, 1967.

Schmaler 1841 — *Schmaler J. A.* Mały Sserb aby Serske a Njemske Rozmołwenja a t.d. nebst einem wend. — dtsch. und dtsch.-wend. Wörterbuche. Bautzen, 1841.

Schmaler 1843a — *Schmaler J. E.* Krótke Wułożenje powšitkamneho Serbskeho prawjepisanja. W Budešini. 1843.

Schmaler 1843b — *Schmaler J. E.* Njemsko–Serski Słownik. W Budešinje, 1843.

Schmaler 1843 — *Schmaler J. E.* Dyalektyske Wšelakosće Serbskeje Reče // Volkslieder der Sorben in der Ober- und Nieder-Lausitz. Zweiter Theil. Volkslieder der Wenden in der Niederlausitz. Grimma, 1843.

Smoler 1848 — *Smoler J. A.* Serbski abejcej // Časopis Mačicy Serbskые. Budyšin, 1848. T. IX/X.

Smoler 1864a — *Smoler J. A.* Kajka je wučba athanasianskeho symbola wo třećeje woswbje w Bójstwie a kak su ju serbscy bohosłowcy ryče zapnjeli? Stawizniskoryčespytne rozebranje. Budyšin, 1864.

Smoler 1864b — *Smoler J. A.* Přemjenjenje Serbskeje řeče wot. 13 do 16 lětstotka // Łužičan. V. 1864.

Smoler 1879–1880 — *Smoler J. A.* Parallelism słowjanskich narěčow a jich fonetiske prawidła // Łužičan. XIX. 1879–1880.

Smoler 1915 — *Smoler J. A.* Łužisko-serbske řečespytne zapiski // Łužica. 1915.

Stone 1971 — *Stone G.* Lexical Changes in the Upper Sorbian Literary Language during and following the National Awakening // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. 1971. R. A. № 18.

Šewc 1977 — *Šewc H.* Wuwiće spisowneje řeče pola Łužiskich Serbow // Sorabistiske přednoški. Budyšin, 1977.

Volkslieder der Sorben 1953 — Volkslieder der Sorben in der Ober- und Nieder-Lausitz. Herausgegeben von L. Haupt und J. E. Schmaler. Berlin, 1953; Bautzen, 1984.

Г. К. Венедиктов

**ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕКОТОРЫХ ДАННЫХ
О ВОЗРОЖДЕНЦАХ И ИХ КНИГАХ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО БОЛГАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА**

Современный болгарский литературный язык — функционирующий в настоящее время в Болгарии литературный язык на всем протяжении его развития, т. е. со времени его возникновения и до наших дней. В существующей литературе этот язык в таких хронологических рамках не имеет единого терминологического обозначения. В нашей отечественной лингвистической литературе он обычно обозначается термином «современный болгарский литературный язык». В болгарской же литературе, особенно в литературе, посвященной его истории, кажется, предпочитается термин «новоболгарский литературный язык» («новобългарски книжовен език», гораздо реже «новобългарски литературен език»), но нередко встречаются и термины «современный болгарский литературный язык» [«съвременен български книжовен (литературен) език»], «национальный (болгарский) литературный язык» [«национален (български) книжовен език»]. Термины эти в болгарской литературе употребляются обычно как синонимы. В изданной 20 лет назад академической «Истории новоболгарского литературного языка» это специально оговаривается и одновременно отмечается некоторое различие в их употреблении. «Термины *новоболгарский литературный язык* и *современный болгарский литературный язык* здесь употребляются как синонимы, притом что первый предпочитается при разработке вопросов истории литературного языка эпохи Возрождения (как носителя нового сравнительно с древнеболгарским языком качества), а второй главным образом тогда, когда рассматриваются более поздние этапы развития литературного языка, а также и его современное состояние» [История 1989: 11]. Такое синонимическое употребление данных терминов при заметном различии

между ними, на наш взгляд, все же неудобно главным образом потому, что они не покрывают друг друга: термин «новоболгарский литературный язык» может быть отнесен (и многими учеными относится) и к таким этапам истории литературного языка в Болгарии, к которым термин «современный болгарский литературный язык» никак приложен быть не может. Некоторые ученые к новоболгарскому литературному языку — его раннему (начальному) этапу — относят язык «Истории славяноболгарской» Паисия Хилендарского, другие — и язык дамаскинов XVII–XVIII вв. на народной основе. Однако рассматривать язык этих сочинений *новоболгарской письменности* как *современный болгарский литературный* даже на начальной стадии его развития было бы очевидным искусственным объединением существенно различающихся языковых структур в общие (единые) рамки содержания термина «современный болгарский литературный язык». Вот почему наиболее удобным и более правильным, по нашему мнению, обозначением литературного языка, употребляемого в Болгарии в настоящее время, является термин «современный болгарский литературный язык».

Поздняя граница функционирования современного болгарского литературного языка (далее — СБЛЯ) — наше время, последние его десятилетия. В изданной в 1981 г. «Грамматике болгарского языка» Ю. С. Маслов отмечает, что «в более узком смысле под современным болгарским литературным языком следует понимать язык нескольких последних десятилетий, литературный болгарский язык середины и второй половины XX века» [Маслов 1981: 21]. В отношении этой границы в принципе неясности нет, хотя четко отделить чисто хронологически завершающий отрезок в его функционировании от некоего отрезка, ему предшествующего, кажется, все же затруднительно. Что же касается ранней границы СБЛЯ, открывающей начальный этап (начальную стадию) в его истории, то по этому очень важному вопросу мнения лингвистов существенно различаются, и это неизменно отмечается в трудах по истории литературного языка. Не останавливаясь здесь подробнее на существующих мнениях по данному вопросу (их обзор см., например, в [Венедиктов 1981: 9–27; История 1989: 36–40]), отметим лишь, что, по нашему мнению, история СБЛЯ начинается в 20-е годы XIX в. и связана она с книжной и просветительской деятельностью возрожденцев середины

того десятилетия. Поздняя хронологическая граница начальной стадии его становления (формирования) представляется менее отчетливой. Очевидно, что она определяется временем установления основных норм его звукового строя, грамматики, лексики, а также графики и орфографии. Это — 60–70-е годы XIX в. (скорее даже только 70-е годы), т. е. конец эпохи Возрождения, когда формировавшийся в предшествующие десятилетия литературный язык уже предстает как относительно единый общеполитический литературный язык с такой совокупностью его норм, какая в основе своей сохраняется в нем и в наши дни.

Становление СБЛЯ в очерченные хронологические рамки проходило в весьма своеобразных условиях, заметно отличающихся от условий формирования современных литературных языков других славянских народов. Важнейшее экстралингвистическое своеобразие этого процесса у болгар заключалось в том, что он протекал в условиях продолжавшегося уже пятое столетие османского политического и социально-общественного господства. Турецкое иго на многие годы прервало ход естественного развития литературного языка у болгар. В эпоху национального возрождения Болгарии в болгарском обществе остро встал вопрос о скорейшем создании нового литературного языка, который бы отвечал возникавшим потребностям развития образования, литературы, других областей культуры. Создание такого языка стало одной из главных задач возраждавшегося народа и вместе с тем важнейшим средством решения самих этих задач. Оно было сопряжено с целым рядом трудностей. Одна из них заключалась в выборе пути создания такого литературного языка, который был бы, согласно почти единодушному мнению деятелей Возрождения, единым и общепонятным для населения всех болгароязычных областей. Сложность же решения этой задачи, наряду с другими обстоятельствами, состояла в том, что болгарский язык на территории своего распространения отличается значительной диалектной дробностью, в связи с чем перед строителями нового литературного языка неизбежно вставал вопрос о том, на каком диалекте или группе диалектов должен строиться этот язык.

Так возник один из важнейших вопросов истории СБЛЯ на стадии его формирования — вопрос об установлении его диалектной

основы. Для деятелей Возрождения, своей учебной, литературной, журналистической деятельностью непосредственно участвовавших в создании единого общеполитического и общепонятного литературного языка, это был прежде всего практический вопрос выбора в качестве его основы или народной речи определенной, локально ограниченной области или же опоры на народную речь всей болгароязычной территории. В собственной книжно-языковой практике и в своих рассуждениях о характере народной основы литературного языка возрожденцы придерживались разных точек зрения. При этом реальная языковая практика, отраженная в сочинениях авторов того времени, не всегда соответствовала высказывавшимся ими мнениям по данному вопросу. Образованная часть болгарского общества в лице книжников — авторов и переводчиков книг, учителей, издателей газет и журналов, других деятелей формировавшейся национальной культуры в целом отдавала себе отчет в исключительной важности установления определенной народной основы общего для всех болгар литературного языка. На страницах болгарских изданий 40–70-х годов разгорелись жаркие споры по этому вопросу, свидетельствующие, вместе с самой книжно-языковой практикой возрожденцев, о том, что вопрос этот был одним из главных, центральных в истории формировавшегося в XIX в. СБЛЯ.

В трудах современных исследователей вопрос о диалектной основе литературного языка рассматривается как один из важнейших, которые предстояло решить деятелям Возрождения. Его изучению в последние десятилетия уделялось серьезное внимание. Л. Андрейчин, крупнейший специалист в этой области, относит вопрос о диалектной базе к числу «основных принципиальных вопросов» истории этого языка [Андрейчин 1977: 9], а Е. Георгиева рассматривает его как «один из основных вопросов теории новоболгарского литературного языка» [Георгиева 1990: 87]. В упомянутой выше академической «Истории новоболгарского литературного языка» установление диалектной основы отнесено к числу основных процессов его истории [История 1989: 11, 12]. Усилиями многих ученых (в Болгарии — прежде всего Л. Андрейчин и большая школа его учеников и последователей) освещены многие аспекты истории установления диалектной основы. Подробно описан язык сочинений ряда крупных, представляющих разные диалектные области Болгарии возрожденцев,

вовлекших в этот процесс свои родные говоры. Выдвинуты и обоснованы новые концепции формирования современного литературного языка на народно-разговорной основе. Один из существенных результатов здесь — отказ от существовавшего мнения о том, что этот язык в сущности литературно обработанное восточнoболгарское наречие. Другой результат — утвердившееся, но не общепринятое, мнение о том, что он сформировался на широкой, хотя и локально ограниченной, а именно преимущественно балканской, уже — центрально-балканской, диалектной основе, а не на узкой основе конкретного диалекта (говора), например, тырновского. Очевиден и пересмотр распространенного до недавнего времени положения о смене на стадии формировавшегося литературного языка его первоначально западнoболгарской диалектной основы на основу восточнoболгарскую. Получила широкое распространение точка зрения, согласно которой литературный язык сложился не на основе местных (территориальных) говоров, под которыми в таком случае обычно подразумеваются сельские говоры (речь сельского населения), а на основе наддиалектных образований — ареальных койне, интердиалектов или городских говоров (речь городского населения). В последнее время утверждается также и мнение о том, что СБЛЯ сформировался не на определенной локально ограниченной, диалектной, а на общeболгарской народно-разговорной основе. Встречаются в литературе и довольно неожиданные суждения. К ним можно отнести недавно высказанное мнение о том, что в основе СБЛЯ лежит западнoболгарское наречие [Хобсбон 1996: 61 и след.; по: Жерев 2007: 26]. В целом, таким образом, несмотря на очевидные достижения последнего времени в исследовании вопроса о диалектной основе литературного языка, вопрос этот остается еще не до конца решенным, дискуссионным, по некоторым важным его аспектам, как видим, высказываются разные точки зрения, и это уже само по себе свидетельствует о том, он остается предметом дальнейшего всестороннего исследования.

Видный исследователь истории СБЛЯ, автор многих трудов в этой области Хр. Пырвев давал довольно критическую оценку общего состояния изученности рассматриваемого вопроса к концу прошлого столетия. Он писал, в частности, что «в связи с подходом к проблеме диалектной основы болгарского национального литературного языка

(называемого также новоболгарским или современным литературным языком), по крайней мере применительно ко времени начиная с Возрождения, есть немало различий, непоследовательностей и схематизма» [Първев 1986: 11–12]. В другой работе он констатировал: «общее, что по этому вопросу (имеется в виду диалектная основа литературного языка. — Г.В.) не могут преодолеть все авторы, — это декларативность, схематизм и инертность в изложении» [Първев 1986а: 129]. Хр. Първев отмечал, в частности, что «нуждается в серьезной мотивировке точка зрения, согласно которой в основе современного болгарского литературного языка лежат восточные или центрально-восточные говоры», и подчеркивал: «Вообще более не терпит отлагательства выяснение проблем, касающихся основы нашего национального литературного языка, в соответствии с конкретной общественно-политической, хозяйственной и культурно-исторической обстановкой в последние два столетия, да и до того» [Първев 1986: 12]. Опубликованную 10 лет назад статью «О так называемой диалектной основе новоболгарского литературного языка» Т. Александрова начинает (со ссылкой на приведенное мнение Хр. Първева) словами общей критической оценки освещения этого вопроса в существующей литературе. «Едва ли, — пишет она, — есть другое понятие из области теории и истории болгарского литературного языка, которое бы получало столь противоречивые и меняющиеся во времени интерпретации, как понятие диалектной основы новоболгарского литературного языка» [Александрова 1999/2000: 98].

В ряду дискутируемых в литературе последних десятилетий вопросов истории формирования СБЛЯ важнейшим, наверное, является вопрос о его диалектной основе. О его остроте говорит уже тот факт, что некоторые ученые в настоящее время отвергают как не отвечающую его реальной истории становления и современного состояния даже саму постановку вопроса о его диалектной основе. Из их трудов следует, что применительно к истории этого языка понятие «диалектная основа» — понятие излишнее, так как здесь вопрос о диалектной основе как бы не возникал, поскольку язык этот складывался якобы не на основе какого-то конкретного говора (диалекта) или конкретных говоров (диалектов), а на болгарской народно-разговорной основе в целом или на другой основе. Иллюстрацией к этому служит, например, тот факт, что некоторые

исследователи говорят не просто о диалектной, а о *так называемой* диалектной основе, уже этим подчеркивая негативное отношение и к самому термину «диалектная основа» и к обозначаемому им языковому феномену. В опубликованной несколько лет назад статье «Болгарский язык в свете ареологии» Г. А. Цыхун наряду с другими вопросами рассматривает и «вопрос о *так называемой диалектной основе* болгарского литературного языка», специально обратив при этом внимание на использование определения «так называемая» (Курсив наш. — Г.В.) [Цихун 2005: 9]. Показательно в этом плане и заглавие названной выше статьи Т. Александровой — «О *так называемой диалектной основе* новоболгарского литературного языка» [Александрова 1999/2000: 98], указывающего, что диалектная основа для автора статьи не есть некая реальная данность литературного языка. О *так называемой* диалектной основе современного литературного языка говорит в одной из статей и Хр. Първев [Първев 1980: 30]. Правда, позднее в другой редакции цитируемого фрагмента статьи (возможно, чтобы смягчить негативное отношение и к термину и к понятию диалектной основы) он пишет просто о диалектной основе и «в более широком смысле — о народно-разговорной основе» литературного языка [Първев 1986: 11]. В этот же ряд можно поставить и статью К. Босилкова «Об “основе” новоболгарского литературного языка», в заглавии которой взятое в кавычки слово «основа» относится к диалектной основе.

Негативному отношению к диалектной основе литературного языка дается разное обоснование. Так, Хр. Първев в известной статье «Тысячелетний литературный язык» пишет: «Когда речь идет о диалектной основе новоболгарского литературного языка, нужно иметь в виду, что сама эта постановка совсем не соответствует языковой действительности Возрождения и после него. Основа новоболгарского литературного языка всегда была болгарская, общеполгарская; другой вопрос, что в различные моменты его формирования и развития могли преобладать проявления большего или меньшего набора особенностей родного диалекта соответствующего книжника» [Първев 1981: 144]. Против положения о диалектной основе современного литературного языка решительно выступил и К. Босилков. Полагая, что этот язык «создан на основе традиционного литературного языка (точнее, он является его продолжением)

путем накопления в нем нового качества», Босилков считает, что «с теоретико-методологической точки зрения тезис о диалектной основе новоболгарского литературного языка не выдерживает критики» [Босилков 1984: 78, 79]. По его мнению, нет необходимости даже в предварительном обосновании каких-либо приемлемых теоретических критериев для исследования диалектной основы, ибо и «без специальных теоретических и фактологических исследований ясно, что болгарский литературный язык на протяжении своего многовекового развития имеет общеполгарскую основу и именно поэтому он и является одним из определяющих признаков нашей народности и нации» [Босилков 1984: 79]. Г. А. Цыхун положение о диалектной основе литературного языка отвергает с позиций ареологии. Он считает, что литературный язык формируется не на основе традиционно выделяемых территориальных диалектов, а на «инновационной основе, которую образуют инновации, пришедшие с разных сторон и объединяющие значительные территории» [Цыхун 2005: 10]. Инновационные явления имеют свой ареал распространения; зона или область их наибольшей концентрации на языковой территории образует ядро (центр) ареала, а остальная ее часть — с меньшей концентрацией инновационных явлений — составляет его периферию.

Вопрос о диалектной основе СБЛЯ, как видим, остается весьма дискуссионным и нуждается в дальнейшем всестороннем изучении. В спорах по этому вопросу нередко упоминается и цитируется или же подразумевается уже довольно много лет тому назад опубликованная наша статья «Диалектная основа болгарского литературного языка и болгарское книгопечатание в эпоху Возрождения» [Венедиктов 1971: 73–89], в которой были приведены данные о распределении авторов возрожденческих книг с установленным местом рождения и их книгах на диалектной карте болгароязычной территории той эпохи, когда формировался СБЛЯ. Эти данные, на наш взгляд, наглядно показали, что диалектные районы этой территории в книгопечатании того времени были представлены разным числом своих книжников-возрожденцев и приходящихся на эти районы разным числом их книг, причем количественные различия таких данных между отдельными районами и обширными областями оказались весьма существенными. На основании предложенного лингвокартографического обзора и анализа данных о возрожденческих

книжниках и их книгах в статье было сделано заключение о разных потенциальных возможностях диалектов (говоров) отдельных областей стать основой современного литературного языка на стадии его формирования в эпоху Возрождения и о по существу внеконкурентных возможностях в этом процессе центральноболгарских говоров восточноболгарского наречия, которые и стали его основой. В статье при этом отмечалось, что приведенные в ней данные для решения вопроса о диалектной основе СБЛЯ имеют вспомогательный характер. Описанный подход к обсуждению рассматриваемого в статье вопроса в последовавшей литературе был воспринят неоднозначно – и положительно, и весьма критически (подробнее об этом см. ниже). Учитывая это и, главным образом, то обстоятельство, что вопрос о диалектной основе СБЛЯ — важнейший вопрос его истории и современного состояния — продолжает оставаться остро дискуссионным, считаем не лишним еще раз к нему обратиться в свете представленных в статье данных о возрожденческих авторах и их книгах. Ниже мы остановимся на том его аспекте, который непосредственно связан с ролью возрожденческих книжников, представляющих разные диалектные области Болгарии, в утверждении диалектной основы литературного языка.

Исследуя диалектную основу литературного языка на стадии его становления, важно, на наш взгляд, более или менее конкретно представлять, какие болгарские диалекты (говоры) могли быть реально включены в его формирование, а какие нет, во-первых, и какие реально могли быть возможности разных диалектов (говоров) включиться в этот процесс и оставить в нем свой след, во-вторых. Ответ на сформулированные таким образом вопросы может дать анализ некоторых данных о возрожденцах, в печатных книгах которых нашло отражение состояние литературного языка в целом и его диалектной основы в частности. Это — данные о месте рождения авторов и числе изданных ими книг. Сделать такой анализ оказалось вполне возможным, хотя и трудоемким, делом, потому что авторов книг, изданных в эпоху Возрождения, оказалось сравнительно немного, а изданные ими книги нашли почти исчерпывающее библиографическое описание в фундаментальном двухтомном труде М. Стоянова «Болгарская возрожденческая литература. Аналитический репертуар болгарских книг и периодических изданий. 1806 – 1878» [Стоянов 1957].

Целесообразность учета таких данных диктуется тем важным обстоятельством, что в условиях, когда единых и общеобязательных норм литературного языка не было, когда создание таких норм еще только выдвигалось и рассматривалось как неотложная ближайшая задача общества, в своей книжно-языковой практике возрожденцы, выступавшие за создание литературного языка на народной основе, отражали особенности своих родных говоров (диалектов). Именно эти говоры были той естественной языковой базой, на которую книжники, решившие писать на родном языке, только и могли опереться. Именно они были тем источником, из которого книжники черпали языковой материал для создания общеболгарского литературного языка на народной основе. Именно родные диалекты книжников-возрожденцев и стали широкой народно-разговорной исходной базой, на которой складывался современный литературный язык. Дело в том, что на протяжении всего периода его становления у болгар не выявился такой конкретный диалект, который в силу тех или иных причин стал бы престижным в глазах книжников-носителей других диалектов настолько, что они были бы готовы сразу отказаться от вовлечения своих родных диалектов в общий процесс создания литературного языка в пользу некоего другого диалекта. Известно, что как раз по вопросу выбора конкретного диалекта в качестве основы устройства этого языка среди возрожденцев развернулись горячие споры. Участники споров придавали этому вопросу исключительно большое значение, связывая его с задачей создания такого литературного языка — общеболгарского и общепонятного, который бы служил национальному сплочению и объединению болгар. Возрожденцами выдвигались разные мнения относительно критериев, которым должен отвечать диалект, способный выполнить эту национальную задачу. Такими критериями признавались наиболее чистый болгарский диалект, наиболее правильный болгарский диалект, наиболее близкий к древнеболгарскому языку, наиболее благозвучный диалект, наиболее понятный всем болгарам диалект, наиболее распространенный диалект. Уже само разнообразие названных критериев говорит об исключительно большом интересе книжников к этому вопросу, о серьезном значении, которое они придавали его решению, об их глубокой заинтересованности в правильном и наиболее целесообразном его

решении, отвечающем потребностям скорейшего развития образования, литературы, науки и других областей формировавшейся национальной культуры [Венедиктов 1979: 13–21]. Понятно, что и сам набор этих критериев и особенно обоснование соответствия им тех или иных диалектов, были, принимая особенно во внимание очень скромный уровень и объем конкретных знаний о диалектах, которыми в то время владели возрожденцы, весьма субъективны. Очевидно, что попытки создания литературного языка на основе диалекта, отвечающего таким критериям, особенно некоторым из них, заведомо были обречены на неудачу.

Целесообразность полного учета данных о месте рождения авторов возрожденческих книг как знаке, указывающем на принадлежность их родных диалектов к той или иной диалектной зоне, и о количестве изданных каждым из них книг, диктуется и тем обстоятельством, что и утверждение определенной диалектной основы литературного языка и его нормализация в целом шли главным образом и прежде всего книжным (письменным путем) — через книгу, журнал, газету, через печатное слово учителей, писателей, грамматистов, публицистов и других деятелей зарождавшейся национальной культуры. Несмотря на существовавший в течение нескольких десятилетий XIX в. значительный разнобой в языке (в грамматике, орфографии и др.) самих печатных изданий, последние вместе с тем были в конечном счете и основным средством преодоления этого разнобоя и установления в конечном счете единых и общеобязательных для образованных болгар норм языка. Именно на страницах печатных изданий главным образом ломали копыя и оставляли следы жарких баталий приверженцы разных точек зрения на характер и нормализацию литературного языка, здесь одни диалекты теснили другие, здесь же были выработаны и практикой книжников поддержаны и подкреплены основные элементы структуры литературного языка, определившие его облик к концу эпохи Возрождения. Кроме книжного пути (через печатную книгу) литературный язык в целом и его диалектная основа, в частности, утверждалась и устным путем, например, через школьное преподавание, однако этот путь имел гораздо менее существенное значение, чем книжный.

В условиях существовавшего значительного литературно-языкового разнобоя книжники следовали в общем своим родным

диалектам, утверждали (естественно, отнюдь не всегда в каждом конкретном случае в форме соответствующей аргументации, например, в предисловиях к книгам) их достоинство и превосходство над другими, неродными для них диалектами, которые нередко ими решительно отвергались. О том, насколько сильны и непримиримы были противоречия по вопросу о необходимой литературному языку конкретной диалектной базе, свидетельствуют сами высказывания многих деятелей тех десятилетий. Так, в конце 60-х годов, когда, казалось, вопрос этот вроде бы уже был решен самим ходом развития литературы, школьного дела, журналистики и др., известный и заслуженный возрожденец Хр. Данов писал, что приверженцы мизийской основы литературного языка (т. е. сторонники так называемой тырновской школы) рассматривают книги на фракийском наречии как отраву для детей, а приверженцы фракийской основы (т. е. представители пловдивской школы) отравой для детей считают книги, изданные на мизийском наречии [Венедиктов 1981: 71–72]. Отрицательное отношение к тому или иному диалекту как возможной основе литературного языка иногда диктовалось и утвердившимся в народе данной области и разделявшимся отдельными книжниками пренебрежительным отношением к диалектам соседей и вообще к языку населения других областей как к языку неправильному и даже не чисто болгарскому.

Вот почему, учитывая сказанное, мы полагаем, что авторов печатных возрожденческих книг можно в принципе рассматривать как своего рода репрезентантов их родных говоров в установлении диалектной основы литературного языка. Зная, уроженцами каких диалектных областей они были, мы можем составить предварительное, но достаточно обоснованное суждение о том, какие диалекты нашли или по крайней мере могли найти отражение в сформировавшемся литературном языке на стадии его становления и тем самым выяснить, какие диалекты могли реально участвовать в междиалектной конкурентной борьбе за установление его определенной диалектной основы.

В качестве источника данных для подобного лингво-картографического освещения интересующего нас вопроса в поставленном ракурсе нам послужил упомянутый выше библиографический труд М. Стоянова «Болгарская возрожденческая литература».

Всего, согласно М. Стоянову, за время с 1806 г., когда увидели свет первые две печатные новоболгарские книги («Недельник» или «Кириакодромион» Софония Врачанского и «Молитвенный крин» неизвестного автора-составителя) и по 1877 г. было издано 1832 книги. Для поставленной цели — условного нанесения языка изданных книг на диалектную карту Болгарии, однако, значительная часть изданий (по нашим данным, 580) оказалась непригодной. Это, в частности, анонимные издания (свыше 250) и издания авторов, место рождения которых не установлено (80 изданий), и авторов, родившихся за пределами болгароязычной территории (Банат, Сербия, Россия, Румыния и др. — 27 изданий). Исключение всех этих книг из лингво-географического обозрения диктуется тем обстоятельством, что, не зная места рождения их авторов, мы не можем — только на основании данного критерия — «привязать» язык названной группы книг к определенным диалектным территориям. Это, однако, не означает, что подобная «привязка» вообще не возможна. Она в принципе возможна (по крайней мере, наверное, для какой-то их части), если язык их подвергнуть специальному анализу и выявить наличие в нем особенностей территориальных диалектов. Таким образом, общее число возрожденческих изданий, учитываемых в предпринятом обзоре, с уточненными данными, составляет 1253 [Венедиктов 1971: 43]; это же: [Венедиктов 1981: 119–141].

Авторами (переводчиками) указанных 1253 книг были 263 деятеля эпохи Возрождения, игравших и сыгравших разную по масштабам и значимости роль в национально-освободительном движении и развитии национальной культуры болгар в данную эпоху. Разными были роль и реальный вклад их и в формирование литературного языка. Но все они, включая и тех, кто издал всего лишь одну скромную книжку или брошюру, внесли — сознавали они это или нет — свою лепту в решение этой национальной задачи. Оценить «размер» или «весомость» такой лепты во многих случаях едва ли возможно, однако не учитывать, оставлять без внимания малоизвестных или почти неизвестных книжников-возрожденцев с их единичными изданиями, сколь бы незначительным ни было их участие в книгопечатании рассматриваемой эпохи, было бы делом недалево-видным. Язык каждой книжки и каждой брошюры — конкретное свидетельство, которым нельзя пренебрегать при исследовании

разных вопросов формирования литературного языка, в том числе и интересующего нас здесь вопроса о его диалектной основе на стадии становления. Вот почему в наше обозрение вошли все авторы-возрожденцы с установленным местом рождения на болгароязычной территории, издавшие одну и более книгу или брошюру на родном языке. Естественно, в него не вошли авторы изданий только на иностранных языках (турецком, русском и др.), ибо их книги стояли, по понятным причинам, вне процесса создания болгарского литературного языка. Вне обозрения остались и авторы болгарских книг, родным языком которых не был болгарский, потому что связать язык таких книг с территорией какого-либо диалекта без специального анализа невозможно (подробнее о принципах «отбора» авторов и книг см. [Венедиктов 1981: 128–131]).

Как же распределяются «отобранные» 1253 возрожденческих автора с их книгами на диалектной карте тогдашней болгароязычной территории — Мизии, Фракии и Македонии?¹ Для наглядного представления о том, сколько авторов-возрожденцев и их книг «дали» Возрождению Болгарии названные территории и отдельные диалектные области, нами было предпринято своего рода «картографирование» этих данных на двух картах: на одной нанесены населенные пункты (города и городки, гораздо реже села), где родились авторы печатных возрожденческих книг, на другой — те же населенные пункты, на которые приходятся изданные ими книги. Полученные таким образом данные о территориально-диалектном

¹ Издания уроженцев Македонии мы рассматриваем здесь как издания на болгарском языке. В их языке нашли отражение различные особенности местных говоров Македонии, подобно тому как особенности других болгарских говоров (например, балканских или некоторых рупских и др.) отразились в языке книг уроженцев соответствующих территорий. Литературная обработка говоров Македонии в рассматриваемый период представляет собой, по нашему мнению, часть общего процесса создания болгарского литературного языка, единого для всех областей болгароязычной территории того времени. Возможность такого рассмотрения языка книг, изданных уроженцами Македонии, допускают и некоторые ученые, которые зарождение македонского литературного языка видят уже в книжной деятельности македонских авторов XIX в. (см., например: [Толстой 1965: 18]).

представительстве возрожденческих авторов и их книг в процессе формирования СБЛЯ, в какой-то мере ожидаемые (особенно в общем представлении соотношения в нем данных восточно- и западно-болгарского диалектных ареалов), позволяют гораздо конкретнее и предметнее говорить о том, какую роль могли играть и в конечном счете сыграли те или иные диалекты в те десятилетия XIX в., когда устанавливалась диалектная основа литературного языка.

Прежде всего надо отметить, что теперь мы можем уверенно указать обширные части болгароязычной территории, народная речь (диалекты) которых оказалась вообще вне литературно-языковой истории эпохи Возрождения. Это в сущности все Причерноморье и обширные области, соседствующие с иноязычными территориями — почти весь Юго-Восток и Север-Восток, некоторые районы Северо-Запада современной Болгарии, почти весь горный массив Родоп. Дело в том, что за всю эпоху возрожденческого книгопечатания только один населенный пункт этих областей был местом рождения двух известных авторов печатных книг. Это с. Батак (теперь небольшой городок) в западной части Родоп, где родились Г. Бусилин и Д. Манчев. Других уроженцев указанных здесь территорий, которые языком своих печатных книг могли бы соучаствовать в формировании литературного языка, в эпоху Возрождения не было. Поэтому у нас есть веские основания утверждать, что диалекты этих территорий (за исключением батакского говора, представляющего рупский диалект), силою данного обстоятельства оказались полностью отстраненными от конкурентной борьбы диалектов за установление основы литературного языка. Включать эти диалекты в такую борьбу в тогдашней историко-культурной ситуации в Болгарии было некому.²

² Одним частным примером из истории лексики современного болгарского литературного языка, который, на наш взгляд, не может быть правильно объяснен без учета данного обстоятельства, может служить вопрос об источнике появления в литературном языке слова *ланита* 'щека'. В свое время Б. Цонев в ряду слов, употребляемых в некоторых болгарских говорах и в русском литературном языке (*косо*, *крут* и др.), указал и *ланита*, о которых, по его мнению, нельзя уверенно утверждать, пришли они в литературный язык из народных говоров или из русского языка. Он пояснял,

Нанесенные на карты рассматриваемые здесь данные наглядно показывают также, что распределение авторов возрожденческих книг по остальным частям болгароязычной территории очень неравномерно. Так, уроженцами Восточной Болгарии и Фракии были 211 из всех 263 книжников с известным местом рождения, а уроженцами Западной Болгарии вместе с Македонией только 52, из которых 21

что, решая вопрос о появлении такого рода слов в болгарском литературном языке, нужно исследовать «путь, по которому они прошли, чтобы оказаться» в этом языке [Цонев 1934: 342]. Согласно данным «Болгарского диалектного атласа» существительное *ланита* ‘щека’ (в разных фонетических вариантах) в настоящее время употребляется в говорах всего 16 из 1677 населенных пунктов, картографированных в Атласе, в то время как другие из многих названий щеки встречаются в говорах гораздо чаще, например, *буза* и *лице* соответственно в говорах свыше 650 и 100 пунктов. Эти 16 пунктов расположены на южной периферии болгароязычной территории в двух небольших ареалах в Восточных и Центральных Родопах (в районе городов Крумоград и Смолян на территории Болгарии и южнее государственной границы). Третий небольшой ареал распространения *ланита* находится на территории современной Греции в районе города Серес. Сейчас территориально разделенные (см. карту Л № 72 в [БДА 2001: 466]), ранее названные три ареала (возможно, и в эпоху Возрождения) составляли, надо полагать, единый сплошной ареал, протянувшийся неширокой полосой по южной периферии болгарского диалектного континуума [Венедиктов 2005: 297–298]. О говорах этой периферии возрожденцам ничего не было известно. О *ланита* ‘щека’ в них первые сведения в литературе появились, кажется, только в 1890 г., между тем как слово это неоднократно встречается в языке возрожденческих книг уроженцев тех диалектных областей Болгарии, в которых в настоящее время оно не известно и вместо него употребляются *буза*, *страна*, *образ* [Венедиктов 2005: 300–301]. В свете сказанного, на наш взгляд, есть веские основания утверждать, что *ланита* ‘щека’ не вошло в современный болгарский литературный язык из говоров совсем небольшого числа указанных выше сел на болгароязычной диалектной окраине, поскольку говоры эти не были вовлечены в процесс устройства литературного языка. Источник появления этого слова в нем был другой, а именно, как допускал еще Б. Цонев, русский язык, в который оно, будучи по своему происхождению древнеболгарским, пришло из церковнославянского.

приходится на Македонию и 32 на Западную Болгарию. Иными словами, книжники, родившиеся в восточноболгарских районах, в четыре раза превышают число авторов книг, вышедших из западноболгарских и македонских районов вместе взятых. Нужно при этом иметь в виду, что территории этих двух ареалов по своей площади если и отличаются, то не намного, во всяком случае далеко не в четырехкратном размере, в каком различаются количества авторов книг этих территорий.

Данные о месте рождения авторов книг, нанесенные на карту, дают представление и о существенном различии в характере их распределения на указанных территориях. На Западе — в областях Западной Болгарии и Македонии — они «разбросаны» по всей территории, не сконцентрированы в каком-либо ее районе. На Востоке — на территории Восточной Болгарии и Фракии — картина иная. Там большая часть книжников по месту своего рождения сосредоточена в области Средней Старой Планины.

Наконец, данные о месте рождения авторов возрожденческих книг и об их книгах особенно и прежде всего интересны для конкретного решения или по крайней мере для предметного обсуждения двух важных аспектов вопроса о диалектной основе СБЛЯ: 1) на какой народной основе — речи сельского или городского населения — складывался этот язык и 2) на народной речи какого именно диалектного ареала (отдельного диалекта или группы диалектов) он складывался.

Рассмотрим соответствующие данные, имея в виду эти два аспекта.

Западная Болгария дала Возрождению 31 книжника. Они родились в следующих 7 городах и нескольких селах:³ Видин — 1 (3), Монтанско (Михайловградско) — 1 (2), Плевен — 2 (5), Враца — 2 (8), София и Софийско — 2 (5), Радомирско — 1 (2), Кюстендил и Кюстендилско — 2 (4), Дупница и Дупнишко — 6 (16) и Самоков — 14 (42). Всего уроженцами Западной Болгарии было издано 87 книг. Эти пункты расположены на территории ряда современных западно-

³ Вместо названий самих сел здесь и ниже указывается район (околия), в которых они находятся. Число после тире обозначает количество авторов книг из данных пунктов, число в скобках — количество изданных ими книг.

болгарских диалектов⁴, из которых наиболее представительными среди них были самоковский и дупницкий. Носителями эти двух диалектов по рождению были такие известные деятели как К. Фотинов, Х. Сичан-Николов (Самоков), Хр. Павлович (Дупница). Другие диалекты были представлены одним-двумя книжниками и лишь двумя-пятью книгами за весь период становления литературного языка. Показательно, например, что София — столица современной Болгарии — за это время дала болгарской культуре только одного автора — М. Лазарова, который в 1858 и 1866 гг. издал две небольшие книжки. Г. Йошев, уроженец села в Софийском крае, за это же время (в 1850 – 1861 гг.) издал три книги. Из возрожденцев, родившихся в Северо-Западной Болгарии, следует отметить Н. Пырванова, включившегося в 60 – 70-е годы в споры по нормализации литературного языка, и К. Пишурку — автора драматических сочинений и переводов книг. В целом же можно сказать, что София и Софийский край, как и почти весь Северо-Запад Болгарии не играли и не могли играть сколько-нибудь заметной роли в истории современного литературного языка на стадии его становления. В языке книг, вышедших из-под пера уроженцев этой области страны, естественно, нашли отражение те или иные особенности их родных говоров, но ввиду малочисленности местных возрожденцев и отсутствия в их кругу авторитетных деятелей они не могли конкурировать с особенностями других, более представительных в строительстве литературного языка говоров. Несколько иначе обстояло дело с юго-западными диалектами, носители которых К. Фотинов (уроженец Самокова) и Хр. Павлович (уроженец Дупницы) — известные деятели Возрождения. Фотинов был издателем первого болгарского журнала «Любословие», перевел на болгарский язык ряд книг, в том числе Псалтырь и часть Ветхого завета. Павлович — автор двух изданий «Славеноболгарской грамматики», других учебных пособий и переводов, издал «Царо-ставник или Историю болгарскую» — переработанный текст «Истории славяноболгарской» Паисия Хилендарского. В 30 – 40-е годы оба они приняли непосредственное участие в начавшихся спорах о

⁴ Диалекты здесь и ниже указываются согласно их делению в [Стойков 1968: 65–120].

характере необходимого болгарам нового литературного языка и по вопросам его устройства, а некоторые особенности языка их сочинений были замечены современниками. Есть все основания поэтому утверждать, что книжно-языковая деятельность К. Фотинова и Хр. Павловича в 30–40-е годы составила одну из первых примечательных страниц истории современного болгарского литературного языка.

Уроженцами Македонии за период Возрождения было издано 92 книги, принадлежащих перу 21 автора. Места рождения этих авторов «разбросаны» по всей Македонии. Любопытно, что при почти равном количестве книжников (1, 2 или 3), родившихся в македонских городах и селах, количество книг, изданных каждым из них, сильно различается — от 1 до 17. Вот каково их «представительство» по населенным пунктам: Мелник — 1 (10), Банско — 1 (13), Струмица — 1 (4), Дойран — 1 (4), Штип — 2 (4), Скопльско — 1 (17), Тетовско — 1 (2), Галичник — 1 (3), Кичевско — 1 (13), Велес и Велесско — 2 (4), Охрид — 3 (10), Струга — 2 (2), Прилеп — 1 (1), Леринско — 1 (1), Кайларско — 1 (3), Ениджевардарско — 1 (1). «Македония — колыбель и старой и новой болгарской письменности. Македония — колыбель болгарского возрождения», — писал в начале прошлого столетия А. М. Селищев [Селищев 1918: 283]. В лице своих выдающихся сыновей она играла большую роль на всем протяжении этого исторического процесса. Напомним, что в Банско (Пиринская Македония) родился Паисий Хилендарский, автор знаменитой «Истории славяно-болгарской», положившей начало возрожденческому движению у болгар. Уроженцы с. Теарце, Тетовско К. Пейчинович и с. Осломеве, Кичевско Й. Кырчовский были в числе трех (вместе с Софронием Врачанским) авторов болгарских печатных книг, которые увидели свет в первые два десятилетия XIX в. (некоторые из них позднее неоднократно переиздавались). Братья Димитр и Константин Миладиновы, погибшие в застенках османских властей, издали в 1861 г. широко известный сборник «Болгарские народные песни», представляющий значительный вклад в болгарскую фольклористику XIX в. Ряд возрожденцев из Македонии приняли живое участие в строительстве болгарского литературного языка. Первое место в этом деле занимает Неофит Рильский, уроженец Банско, филологически наиболее образованный возрожденец своего времени, автор «Болгар-

ской грамматики» (1835), положившей начало научному описанию болгарского языка в целом и серьезному обсуждению проблемы создания общebolгарского литературного языка в частности.⁵ Он был автором неоднократно переиздававшегося новоболгарского перевода Нового завета (1-е изд., 1840), чтение которого в болгарских церквях было сразу же запрещено константинопольским патриархом. Парте-ний Зографский, родом из Галичника, известен тем, что в разгар споров о диалектной основе болгарского литературного языка предложил в качестве таковой македонское наречие, а охридчанини Кузман Шапкарев доказывал необходимость обязательного включения этого наречия в создание единого общebolгарского литературного языка. Уроженец Велеса Райко Жинзифов считал целесообразным создание такого языка на полидиалектной основе и пытался осуществить эту идею на практике. Живое участие в спорах об устройстве литературного языка принял другой велесчанин Й. Константинов-Джинот, а их земляк К. Петкович (родом из с. Башино), известен, кроме перевода с чешского языка Любушина суда и ряда других публикаций, и как автор оставшегося в рукописи «Болгарско-русского словаря», составленного по совету И. И. Срезневского в 1848 г. (подробнее об этом словаре см. в [Кювлиева-Мишайкова 1997: 93–99]).

⁵ На «Болгарскую грамматику» Неофита Рильского сразу же обратил внимание Ю. И. Венелин. По ее получении он писал в «О зародыше новой болгарской литературы»: «Самая лучшая часть этой книжки есть ее вступление или филологическое предуведомление. В нем иеромонах Неофит совершенно подтверждает все то, что я говорил в моей грамматике о разных уклонениях болгарского языка на провинциализмы» [Венелин 1838: 30]. Венелин имеет здесь в виду свою «Граматику нынешнего болгарского наречия», тогда еще не изданную, в которой указал на наличие в болгарском местных диалектных различий. Приведенное мнение Венелина, кажется, было первым откликом в печати на этот труд Неофита. «Граматику» же самого Венелина в связи с ее недавней публикацией (1997) Б. Вылчев характеризует «не только как первый опыт полного грамматического описания нашего (болгарского. — Г.В.) современного языка, но и как первое сравнительное описание новоболгарского с другим языком (русским)» [Вълчев 2004: 84].

Обратимся теперь к Восточной Болгарии, откуда происходила преобладающая часть возрожденцев, которым принадлежала и наибольшая часть изданных возрожденческих книг. По нашим данным, уроженцами этой области Болгарии (включая и Фракию) были 211 авторов, издавших 1074 книги (из всех 263 авторов и 1253 книг). Поскольку с диалектами именно этой части Болгарии многие ученые связывают утверждение народной основы современного литературного языка, посмотрим, каким конкретно количеством авторов и их книг представлен каждый из этих диалектов.

Уроженцами территории, занятой мизийскими говорами на Северо-Востоке Болгарии, были 18 авторов, издавших 76 книг. По этим показателям мизийские говоры совсем немного уступают говорам Македонии и чуть больше говорам Западной Болгарии. Мизийские авторы происходили из 5 городов (включая условно в это число и Жеравну) и 1 села: Шумен — 4 (23), Разград — 2 (7), Тырговиште — 1 (1), Русе — 4 (16), Жеравна — 5 (21), Провадийско — 2 (8). Среди них были и активные деятели национально-культурного возрождения страны. Это прежде всего шуменцы авторы многих драматических и прозаических сочинений Д. Войников и В. Друмев, уроженцы Жеравны учителя Р. Попович и С. Филаретов. Они, как и некоторые другие их земляки, помимо издания сочинений на сформировавшемся литературном языке, в который вносили элементы родных говоров, принимали и непосредственное участие в обсуждении того, каким должен быть этот язык в целом или отдельные правила его орфографии, грамматики и др. Д. Войников, например, издал «Краткую болгарскую грамматику» (1864), дискутировал по вопросу о членных формах. В. Друмев известен и тем, что в 1860 г. издал без членных форм драму «Несчастливая семья», поддержав тем самым уже непопулярную в то время идею отказа от употребления членных форм.

Рупские говоры, занимающие обширную южную часть современной территории юго-восточнее так называемой ятевой границы, «делегируют» возрожденческому книгопечатанию авторов только из 4 городов и 4 сел. Эти пункты удалены друг от друга и не образуют какой-либо компактной группы. Они дали Возрождению всего 14 авторов, издавших, правда, суммарно довольно большое число книг — 130. Это Лозенград — 1 (3), Адрианополь — 2 (2),

Пештера — 1 (7), Пазарджик и Пазарджикско — 4 (34), Батак — 2 (70), Хасковско — 2 (9), Пловдивско — 2 (5). Обращает на себя внимание тот факт, что Пловдив, второй по числу населения и важнейший культурный центр современной Болгарии, в эпоху Возрождения со своими двумя уроженцами, издавшими всего 5 книг, в общем стоял в стороне от споров и попыток включить местную болгарскую речь в утверждавшуюся диалектную основу литературного языка. Другой момент, заслуживающий быть отмеченным, — отсутствие среди рупских представителей в книжном деле той поры таких крупных, заметных деятелей-возрожденцев, которых по их значимости в возрожденческом процессе можно было бы поставить в один ряд со многими выдающимися уроженцами других диалектных областей. Из числа книжников-рупцев в этой связи можно назвать, пожалуй, только Г. Бусилина и Д. Манчева — уроженцев Батака, издавших вместе 70 книг — более половины книг, изданных всеми рупцами. Г. Бусилин, первый болгарский студент в Московском университете, в историю литературного языка вошел как автор «Болгарского букваря» (1844) — единственной книжки, которую он успел издать за свою короткую жизнь. Книжка эта интересна, во-первых, внесенными автором особенностями в гражданскую кириллицу, которую букварь отпечатан, и, во-вторых, целым рядом отраженных в его языке характерных особенностей родного рупского говора. Ни измененная Г. Бусилиным азбука, ни его явная ориентация на рупский диалект в учебнике, направленном на начальное обучение языковой грамотности, ближайшими его современниками и позднее поддержаны не были. Что касается Д. Манчева, то он в историю возрожденческого книгопечатания вошел как издатель большого числа (около 70) книг разного содержания и объема, прежде всего учебных пособий, включая элементарные буквари и грамматики болгарского языка. В языке этих изданий особенности рупского диалекта, очевидно, не могли не найти отражения.

Полученные данные о возрожденческих авторах и их книгах убедительно подтверждают давно высказывавшееся и ранее положение о том, что становление СБЛЯ на восточноболгарской диалектной основе объясняется подавляющим вкладом, внесенным в этот процесс носителями балканских говоров. Данные эти, однако, позволяют более конкретно и дифференцированно подойти к оценке того,

каким на практике была или могла быть в этом роль отдельных балканских говоров.

Балканские диалекты в настоящее время занимают обширную территорию восточнее ятевой границы, охватывая значительную часть придунайской равнины и Добруджу, область Старой Планины и Средней горы, большую часть Фракии. На севере территория этих диалектов достигает Дуная, на юге — склонов Родопских гор, а на востоке почти доходит до Черного моря [Стойков 1968: 72 и след.; 291, карта]. На этой территории за время возрожденческого книгопечатания родилось 169 авторов с установленным местом рождения (из общего числа 211 авторов из всей Восточной Болгарии и 263 авторов всей болгароязычной территории), которые вместе издали 868 книг (из общего числа 1074 всех книг авторов из Восточной Болгарии и 1253 книг всех учтенных возрожденческих авторов). Иными словами, с территории современных балканских диалектов происходит авторов в шесть раз больше, чем с территории остальных восточноболгарских говоров, и в четыре раза больше, чем с территории говоров западноболгарских и македонских. Столь же разительны, как видим, и различия в количестве учтенных книг. Число книг, изданных носителями балканских говоров, превышает в четыре с лишним раза число книг носителей других восточноболгарских говоров и почти в пять раз общее число книг уроженцев Западной Болгарии и Македонии. Если же сопоставить данные по территории балканских говоров с данными по всей остальной болгароязычной территории того времени, то окажется, что территория балканских говоров дала в эпоху Возрождения авторов почти в два раза больше (179 при 84), чем все остальные диалектные зоны, а число изданных ими книг (868) в 2,2 раза больше общего числа книг (384), изданных остальными болгарями с установленным местом рождения, писавшими на родном языке. Приведенные данные очень показательны по крайней мере для общей оценки «расстановки диалектных сил» в процессе становления диалектной основы литературного языка. Очевидно, что к этим данным можно относиться по-разному, но преуменьшать их значение в принципе, а тем более игнорировать их при обсуждении столь сложного и важного вопроса истории литературного языка, каким является вопрос о его диалектной основе, на наш взгляд, было бы неосмотрительно.

Посмотрим теперь, как предстают в обсуждаемом здесь плане данные о книжниках и их книгах по отдельным балканским говорам. Согласно классификации Ст. Стойкова, таких говоров в настоящее время семь: центральнобалканский, котелско-еленско-дряновский, пирдопский, панагюрский, тетевенский, подбалканский и еркечский [Стойков 1968: 72–82]. Среди авторов возрожденческих книг есть носители всех этих говоров, кроме еркечского, на котором говорят жители двух сел в районе городов Поморие и Варна, оставившие книгопечатание эпохи Возрождения без своих представителей. Заметим, что некоторые села других диалектных территорий, наряду с их городами, были представлены в книжном деле своими представителями, издавшими разное число книг.

Среди возрожденческих книжников, представляющих балканские говоры, больше всего было уроженцев городов и сел той области Восточной Болгарии, которую занимает центральнобалканский или габровско-ловечско-троянский говор. Он охватывает районы по обоим склонам центральной части Старой Планины и Средней Горы и придунайской равнины. На территории его распространения находится целый ряд городов, городков и крупных сел, давших возрожденческому книгопечатанию 102 авторов, издавших 395 книг. Это больше числа книжников и их книг, представляющих уроженцев территории не только любого другого балканского говора, но и вообще любого другого болгарского диалекта. Носители центрального балканского говора составляют лишь немногим менее половины всех авторов печатных возрожденческих книг и им принадлежит почти треть всех этих книг. Вот данные по населенным пунктам этого ареала: Тырново и Тырновско — 16 (117), Горна Оряховица — 1 (1), Лясковец — 11 (62), Севлиево — 2 (4), Трявна — 5 (14), Габрово и Габровско — 13 (29), Троян — 1 (4), Ловеч — 3 (4), Павликенско — 1 (3), Свиштов — 14 (25), Калофер — 15 (46), Сопот — 4 (8), Карлово — 5 (38), Казанлык и Казанлыкско — 11 (40). Эти данные, характеризующие вклад представителей центрального балканского диалектного ареала в возрожденческое книгопечатание, и сами по себе весьма показательны, но его внушительная весомость станет особенно очевидной, если сопоставить хотя бы некоторые из них с данными, относящимися к другим областям болгароязычной территории. Мы видим, что только Тырново с несколькими

близлежащими селами дал Возрождению Болгарии 16 авторов — всего на 5 авторов меньше, чем вся Македония (21), однако общее число изданных этими 16 авторами заметно больше числа книг (92), изданных всеми македонскими авторами. А 28 уроженцев только трех расположенных рядом городов Тырнова, Лясковца и Горной Оряховицы издали столько же книг (180), сколько было издано авторами, родившимися в Западной Болгарии и Македонии. Это — свидетельство бесспорного преобладания в возрожденческом книгопечатании именно центрального балканского говора по сравнению с прочими говорами, нашедшими то или иное отражение в печатных книгах рассматриваемого периода.

Однако не менее, если не более важно и другое обстоятельство, а именно то, что из области распространения центрального балканского говора вышли многие крупнейшие деятели Возрождения, сыгравшие большую роль в истории книгопечатания, образования, литературы и — как прямое следствие этого — в формировании литературного языка. Приведем здесь имена лишь некоторых из видных книжников того времени, непосредственных участников созидания разных областей зарождавшейся национальной культуры, в том числе и в устройстве литературного языка. Это В. Априлов и Т. Бурмов — уроженцы Габрова; П. Сапунов — из Трявны; П. Славейков, П. Кисимов, Т. Шишков — из Тырнова; П. Оджак, И. Касабов, Т. Хрулев — из Лясковца; И. Богоров, П. Радов — из Карлова; К. Луков, И. Вазов — из Сопота; Б. Петков, Х. Ботев, Н. Касапский, Д. Мутев — из Калофера; Х. Ваклидов, И. Найденов — из Казанлыка. Так, Априлов — основатель знаменитого Габровского училища, ревностный поборник образования болгар на родном языке, убежденный сторонник создания нового литературного языка на народно-разговорной основе, один из первых возрожденцев, доказывавший древнеболгарский характер языка переводов Кирилла и Мефодия. Сапунов вошел в историю возрожденческого книгопечатания как автор первого издания Нового завета в новоболгарском переводе и ряда других публикаций. Общеизвестны заслуги Славейкова, Ботева и Вазова в развитии болгарской литературы XIX в.. Язык их сочинений — наглядная картина нормализации и совершенствования литературного языка того времени. Слово Славейкова как авторитетного журналиста и общественного деятеля имело особый вес в

спорах по языковым вопросам, в которых он принимал непосредственное заинтересованное участие. Запоминающуюся страницу в истории современного болгарского литературного языка на стадии его становления составляет деятельность Богорова. Он автор двух изданий грамматики болгарского языка, болгарско-французского и французско-болгарского словарей, издатель первой болгарской газеты «Болгарский орел», автор ряда собственных сочинений и переводов нескольких книг, издатель первого сборника болгарских народных песен. Особенно приметной в литературно-языковой деятельности Богорова была его страстная борьба как пуриста за чистоту литературного языка.

Котелско-еленско-дряновский говор — следующий по числу представленных в возрожденческом книгопечатании авторов балканского ареала. Котел и Елена, небольшие городки в Средней Старой Планине, и несколько близлежащих к ним сел были родиной 27 книжников, издавших 164 книги: Котел — 12 (74); Елена и Еленско — 14 (89); Дряновско — 1 (1). Иными словами, эти несколько населенных пунктов дали книжников больше (27), чем вся Македония (21) и лишь немногим меньше, чем Западная Болгария (31). По числу же изданных книг (164) котелско-еленско-дряновские уроженцы лишь немногим — всего на 14 книг — уступают авторам печатных книг, родившимся в Западной Болгарии и Македонии. Не менее важно и то, что в названных населенных пунктах родилось немало выдающихся деятелей Возрождения Болгарии. Напомним имена некоторых из них. Это уроженцы Котела Софроний Врачанский — автор первой (одной из двух первых) печатной новоболгарской книги «Недельник», П. Берон — автор знаменитого «Букваря с различными поучениями», первой печатной книги на народном в своей основе болгарском языке. В Котеле родились видные представители национально-освободительного движения Неофит Бозвели и Г. Раковский, автор статей по вопросам нормализации литературного языка Г. Крыстевич, автор букварей, разговорников, различных сборников и переводов А. Гранитский, один из родоначальников даскальской поэзии Ст. Изворский. Уроженцами Елены и близлежащих сел были известный переводчик А. Кипиловский, создатели Тырновской литературно-языковой школы Н. Михайловский и И. Момчилов, авторы разных учебных пособий, в

числе которых здесь нельзя не выделить «Граматику новоболгарского языка» И. Момчилова — одну из лучших болгарских грамматик, выдержавших до Освобождения Болгарии несколько изданий, видный литературный и общественный деятель С. Бобчев.

Большой вклад в возрожденческое книгопечатание внесли носители пирдопского говора — книжники родом из Копривщицы, Клисуры и Пирдопа. Эти три небольшие городки в Средней Горе и Старой Планине дали Возрождению сравнительно немного книжников — всего 17, но их перу принадлежит 207 изданий: Копривщица — 10 (126), Клисура — 5 (74) и Пирдоп — 2 (7). Чтобы нагляднее представить и относительный вклад 17 уроженцев этих городков в возрожденческое книгопечатание, отметим, что одни только 10 копривштенцев, составляющих по числу лишь треть всех книжников из Западной Болгарии и Македонии, издали гораздо больше книг (207), чем их современники из обеих названных областей (179). Одни только 10 копривштенцев издали книг больше, чем 31 книжник из Западной Болгарии с их 87 книгами или 21 книжник из Македонии с 92 книгами. Не менее впечатляет и тот факт, что Клисура дала Возрождению всего 5 книжников, но этим книжникам принадлежит лишь не намного меньше книг, изданных западноболгарскими и македонскими авторами. По общему же числу изданных возрожденческих книг (207) уроженцы Копривщицы, Клисуры и Пирдопа, представляющие пирдопский говор, уступают только 102 выходцам из центрального балканского диалектного ареала с их 395 книгами.

Носителями пирдопского говора, были такие выдающиеся деятели Возрождения как копривштенцы Н. Геров и Й. Груев, создатели и ведущие представители Пловдивской литературно-языковой школы по нормализации литературного языка; перу Й. Груева принадлежит и многократно переиздававшееся популярное учебное пособие «Основы болгарской грамматики». Уроженец Копривщицы Л. Каравелов, один из крупнейших писателей-возрожденцев, принимал непосредственное участие и в спорах по языковым вопросам, став во главе одной из литературно-языковых школ того времени, известной в настоящее время как Каравеловская школа. Родом из Клисуры были один из наиболее заслуженных книгоиздателей-возрожденцев Х. Данов, писатели Р. Блысков, И. Блысков, М. Балабанов и др.

Примерно одинаковым в возрожденческом книгопечатании было участие носителей подбалканского и панагюрского говоров, но представительство в нем каждого из них заметно уступало центральному балканскому и котелско-еленско-дряновскому.

Современный подбалканский говор занимает значительную часть Фракийской равнины южнее Средней Старой Планины. Уроженцами ее 4 городов и нескольких сел были 19 авторов, издавших 42 книги: Сливен — 7 (20), Стара Загора и Старозагорско — 9 (18), Ямбол — 1 (1), Чирпан — 2 (3). Среди них было несколько известных возрожденцев, в частности, из Сливена — автор учебных пособий, один из первых организаторов театрального дела в Болгарии С. Доброплодный, издатель газеты «Мирозрение» И. Добровский, автор «Краткой и методической болгарской грамматики» Г. Миркович, из Старой Загоры и Старозагорско — активный редактор о народном образовании З. Княжеский, издатель известной болгарской газеты «Цариградский вестник» и участник борьбы за самостоятельность болгарской церкви А. Экзарх.

Носителями панагюрского говора являются жители Панагюриште и окрестных сел. В возрожденческом книгопечатании его представляют 12 авторов, издавших 46 книг. Самый известный среди них деятель эпохи — М. Дринов. Один из крупных ученых возрожденческой Болгарии, историк по своим научным занятиям, он, как один из основателей и первый председатель Болгарского научно-литературного общества (Българско книжовно дружество), сыграл решающую роль в начальной организации научных исследований в своем отечестве, чему особенно способствовал издававшийся названным обществом журнал «Периодическо списание», печатавший статьи и по языковым вопросам. В историю современного болгарского литературного языка М. Дринов вошел как глава одной из литературно-языковых школ, известной под его именем как Дриновская школа. Его земляками были видные возрожденцы В. Чолаков — собиратель произведений народной словесности, издатель «Болгарского народного сборника», Н. Бончев — литературный критик и переводчик.

Наконец, городок Тетевен и одно из окрестных сел, представляющие в возрожденческом книгопечатании носителей тетевенского говора, дали двух книжников, издавших 14 книг. Это —

М. Кифалов, издавший 3 книги, в том числе один из первых печатных переводов на болгарский язык правового текста и перевод известной брошюры Ю. И. Венелина «О зародыше новой болгарской литературы», и А. Цанов, автор ряда учебных пособий.

Такова картина географического распределения книжников Возрождения с установленным местом рождения и изданных ими книг по диалектным территориям, на которых расположены соответствующие пункты (города и села). Хронологически приведенные данные дают об этом общее (суммарное) представление за восемь десятилетий XX в., начиная с выхода в свет первой печатной новоболгарской книги (1806) и кончая Русско-турецкой войной 1877–1878 гг., ознаменовавшей конец эпохи Возрождения. С концом этой эпохи связывается и завершение начального периода истории современного литературного языка — периода его становления, одним из важнейших результатов которого в рамках общей его нормализации было закрепление в нем восточноболгарской, точнее — балканской (преимущественно центральнобалканской) диалектной основы. Представленные в хронологическом порядке по десятилетиям, приведенные данные, как нам кажется, дают наглядное представление и том, как постепенно, из десятилетия в десятилетие в возрожденческом книгопечатании расширялось и утверждалось восточноболгарское наречие и соответственно как сравнительно с последним и относительно него постепенно сужалось в книгопечатании место наречия западноболгарского. Рассмотрим в этом плане приведенные выше данные.

Начнем с книгопечатания в первые два десятилетия XIX в., хотя эти десятилетия, по нашему мнению, стоят еще за хронологическими рамками начала истории собственно современного литературного языка. Учесть данные за эти десятилетия, однако, вполне уместно потому, что как раз на них приходится книжная деятельность двух македонских возрожденцев, которая и служит основанием существующей в литературе точки зрения о первоначально македонской и шире — западноболгарской диалектной основе формировавшегося литературного языка на его ранней (начальной) стадии. В указанные десятилетия были изданы «Недельник» Софония Врачанского, уроженца Котела (один из балканских говоров в Восточной Болгарии) и 5 книг Й. Кырчовского и 1 книга К. Пейчиновича, уроженцев Македонии. Говорить здесь о двухкратном превышении македонских книжников над балканским формально, конечно, можно, но по существу

при таком минимальном общем числе книжников (3) видеть в этом преобладание македонского элемента при обсуждении вопроса о диалектной основе литературного языка тех десятилетий в целом, а не о языке отдельных печатных сочинений, на наш взгляд, едва ли правомерно. Нельзя поэтому согласиться с утверждением Ст. Младенова о том, что «язык первых новоболгарских писателей ... македоноболгарский» и что «лишь позднее доступ в него, особенно в поэтический язык, получают восточноболгарские, в частности, северовосточноболгарские элементы» [Младенов 1979: 367]. К этому нужно еще добавить, что в 1806 г., когда вышла в свет названная книга Софрония Врачанского, был издан и «Молитвенный крин» неизвестного автор-составителя. Ввиду отсутствия в современных библиотеках этого издания о языке по крайней мере части его текста теперь можно судить по молитве «Отче наш», опубликованной И. И. Срезневским еще в 1846 г. в его известной статье «Очерк книгопечатания в Болгарии», где краткие сведения о «Молитвенном крине» завершаются словами: «В образчик языка привожу молитву господню» [Срезневский 1846: 6]. А. М. Селищев, опираясь на текст этой молитвы, пришел к заключению, что «Молитвенный крин» напечатан «на довольно чистом болгарском языке, с чертами восточноболгарского наречия» [Селищев 1926: 262]. Есть, таким образом, основания утверждать, что и не установленный автор-составитель «Молитвенного крина», был, как и Софроний Врачанский, родом из Восточной Болгарии. Есть и неизданные книги, язык которых отражает восточноболгарское наречие (например, рукописные «Александрии», переведенные в 1810 и 1816 гг.).

В следующее десятилетие (20-е годы) в книгопечатании выступили только трое уроженцев Восточной Болгарии — П. Берон (Котел), А. Кипиловский (Еленско) и П. Сапунов (Трявна), издавшие 4 книги на болгарском языке. К этому следует еще сказать об изданной в 1821 г. в Кишиневе «Инструкции об обязанностях сельских приказов» — брошюре административно-канцелярского назначения. Эта «Инструкция» — перевод с русского языка, сделанный неизвестным болгаринном, по языковым особенностям явно восточноболгарского происхождения⁶. Отсутствие данных за это десятилетие о печатных

⁶ Единственный сохранившийся экземпляр «Инструкции об обязанностях сельских приказов» в болгарском переводе в настоящее время

книгах выходцев из Западной Болгарии и Македонии само по себе, естественно, не означает, что участие местных диалектов этих областей в книгопечатании в это время уже как бы исключалось или сильно ограничивалось ввиду полного господства в нем восточноболгарского элемента.

В четвертое десятилетие (1831 – 1840) картина в книгопечатании меняется. В это десятилетие издавались книги уроженцами и западной и восточной частей болгароязычной территории. Из Западной Болгарии и Македонии происходило 7 книжников, выпустивших в свет 16 книг. В их числе такие видные возрожденцы как Неофит Рильский и Хр. Павлович. Восточная Болгария в это же десятилетие представлена 5 авторами, почти все известные деятели Возрождения — Р. Попович, Н. Бозвели, Г. Крыстевич, А. Кипиловский. Вместе они издали 11 книг. Как соотношение книжников из Западной Болгарии и Македонии, с одной стороны, и книжников из Восточной Болгарии (7 – 5), с другой, так и соотношение изданных теми и другими книг (16 – 11) в пользу первых, т. е. западноболгарских и македонских авторов. Перевес их над восточноболгарскими, однако, не столь значителен, чтобы можно было говорить о сколько-нибудь значительном их преобладании в книгопечатании этого десятилетия.

Суммируя сказанное здесь о возрожденческих книжниках и их книгах в первые четыре десятилетия XIX в., которые наряду со второй половиной XVIII в. некоторыми учеными рассматриваются как время, когда книжниками были преимущественно уроженцы западноболгарских земель и когда народной основой формировавшегося литературного языка были, следовательно, диалекты Западной Болгарии и Македонии, мы видим, что убедительных объективных данных для такого заключения нет. И действительно, из Западной Болгарии вместе с Македонией за эти годы вышло 7 книжников с установленным местом рождения, которые издали 22 книги. Восточная Болгария за эти же годы дала Возрождению не менее 9 авторов, которым принадлежат не менее 16 книг. Можно, таким образом сказать, что в первые четыре десятилетия в книгопечатании имело место относительное равновесие между болгарскими Западом и Востоком.

находится в одной из библиотек Одессы (подробнее об этом заслуживающем особого внимания издании см. [Венедиктов 1998: 332].

Но в следующее десятилетие (1841 – 1850) такого равновесия уже не было. В 40-е годы в возрожденческом книгопечатании произошел решающий поворот в сторону преобладания в нем авторов из Восточной Болгарии, которое в каждом следующем десятилетии все возрастало, а относительная доля книжников из Западной Болгарии и Македонии с каждым десятилетием неуклонно уменьшалась. Так, в 1841 – 1850 годы восточноболгарское наречие (балканские, рупские и мизийские говоры) в книгопечатании было представлено 31 автором, издавшим 67 книг, в то время как западноболгарское вместе с македонским только 12 авторами с 28 книгами. В следующее десятилетие, в 50-е годы, Восточная Болгария дала книгопечатанию 61 автора с 149 книгами, а Западная Болгария с Македонией только 21 автора с 47 книгами. В 60-е годы восточноболгарские области дали уже 85 авторов с 358 книгами, между тем как западноболгарские и македонские только 26 авторов с 47 книгами. И, наконец, за последние 7 лет накануне Освобождения Болгарии (1871 – 1877) восточные области страны дали 87 авторов с 252 книгами, в то время как западные и македонские только 19 авторов с 34 книгами. Внушительный перевес восточноболгарского элемента в возрожденческом книгопечатании в 40–70-е годы настолько очевиден, что едва ли нуждается в дополнительной аргументации.

В свете рассматриваемого в статье вопроса о становлении диалектной основы формировавшегося литературного языка несомненный интерес представляют данные о том, как по десятилетиям в возрожденческом книгопечатании были представлены отдельные говоры восточноболгарского наречия, каков был «удельный вес» в нем представляющих их авторов с изданными ими книгами.

Отметим прежде всего, что с самого начала болгарского книгопечатания, т. е. с выхода в свет в 1806 г. «Недельник» Софрония Врачанского, в первые три десятилетия XIX в. авторами печатных книг были только носители говоров балканского диалекта. Их было немного — всего трое, представлявшие говоры котелско-еленско-дряновский (2) и центральнобалканский (1) и вместе издавшие 5 книг. Можно сказать, что в первые четыре десятилетия в книгопечатании наблюдалось некоторое преобладание представителей котелско-еленско-дряновского говора (3 автора и 13 книг) при 1 представителе центральнобалканского говора с его 1 книгой. В 30-е годы

к уже названным говорам балканского диалекта присоединился тетевенский (1 – 1). Остальные балканские говоры — пирдопский, подбалканский и панагюрский — впервые были представлены в книгопечатании только в пятое десятилетие — в 40-е годы. Именно в это десятилетие наступает уже ощутимый перевес представителей центральнобалканского говора (17 авторов и 31 книга) над представителями котелско-еленско-дряновского говора (8 авторов и 20 книг), не говоря уже о представителях остальных балканских говоров (подбалканский: 6 – 11; пирдопский: 1 – 4; панагюрский: 1 – 4; тетевенский: 1 – 1). В следующее десятилетие (1851 – 1860) перевес авторов, представлявших центральнобалканский говор, был еще внушительнее — 35 с 75 книгами при 26 авторах с 74 книгами, приходивших на все остальные балканские говоры, из которых заметнее других выделялся котелско-еленско-дряновский (12 – 32). Не уступал первенства по данным показателям центральнобалканский говор и в 60–70-е годы — последние десятилетия эпохи Возрождения, когда его 98 представителей издали 288 книг при том, что 75 авторов-носителей остальных балканских говоров вместе издали 325 книг. Любопытно, что почти равное число представителей котелско-еленско-дряновского говора (23) и пирдопского говора (22) в эти годы издали заметно различающееся количество книг — соответственно 99 и 172. Всего же за время возрожденческого книгопечатания отдельные говоры балканского диалекта представлены в нем следующим образом: центральнобалканский — 102 автора и 395 книг, котелско-еленско-дряновский — 27 и 164, пирдопский — 17 и 207, подбалканский — 19 и 42, панагюрский — 12 и 46, тетевенский — 2 и 14. В целом на территорию центральнобалканского говора падает 102 автора с их 395 книгами из 179 авторов с 868 книгами, родившихся на территории всех балканских говоров. Они составляют почти половину всех книжников из Восточной Болгарии (211), а число изданных ими книг — почти треть всех книг (1253), составляющих предмет настоящего обзора.

Что касается рупских и мизийских говоров, то их представители включились в возрожденческое книгопечатание позднее центральнобалканского и котелско-еленско-дряновского говоров балканского диалекта: мизийские — в 40-е, а рупские — в 50-е годы. Их участие в нем за все годы книгопечатания сравнительно с балканским

диалектом в целом и даже с некоторыми из его говоров в отдельности было представлено гораздо меньшим числом и самих авторов и изданных ими книг (рупские: 14 – 130, мизийские: 18 – 76).

Приведенные выше данные свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что потенциальные возможности авторов разных областей болгароязычной территории XIX в. уже в самом участии в строительстве литературного языка в целом и в установлении его диалектной основы в частности были существенно разными. Эти данные показывают, что участие авторов Восточной Болгарии в возрожденческом книгопечатании, в котором они значительно превосходили уроженцев других областей, само по себе демонстрирует тот факт, что их возможности утвердить в качестве основы литературного языка восточное наречие были несравненно более широкими, чем у их современников из Западной Болгарии и Македонии. Из этих данных следует также, что балканские говоры восточного наречия оказались по существу «вне серьезной конкуренции» при установлении народно-разговорной основы литературного языка. Подавляющая часть авторов, родным языком которых были именно эти говоры, и изданная ими литература, составляющая большую часть всех возрожденческих изданий, — наряду с некоторыми другими причинами — обеспечили балканским говорам относительно легкую победу в непростом процессе установления диалектной основы литературного языка. Ясно также, что в утверждении основного корпуса норм этого языка ко времени завершения процесса его становления главную роль играли центральнобалканские говоры, а также соседствующие с ними говоры котелско-еленско-дряновский и пирдопский.

Приведенные выше данные о лингво-картографическом распределении авторов возрожденческих книг по месту их рождения и изданных ими книг и интерпретация этих данных при обсуждении вопроса о диалектной основе СБЛЯ на стадии его становления получили неоднозначную оценку.

Положительно и сами данные и их интерпретация были отмечены рядом болгарских и отечественных ученых. Так, болгарский диалектолог Хр. Холиолчев вскоре после выхода статьи [Венедиктов 1971] писал, что эти данные и их интерпретация дают «исчерпывающую и предельно ясную картину географическо-языковых

(диалектных) регионов, которые в той или иной степени приняли участие в культурном процессе создания новоболгарской литературы, а отсюда и в процессе формирования и консолидации болгарского литературного языка как единого надтерриториального средства общения болгарской народности и болгарской нации» [Холиолчев 1980: 191]. Другой болгарский диалектолог Ив. Кочев отметил, что использованием в указанной статье «картографических методов, затрагивающих и другие стороны болгарской культуры того времени (эпохи Возрождения. — Г.В.), например, книгопечатание» был достигнут «существенный вклад» в разработку вопроса о диалектной основе современного литературного языка [Кочев 1980: 30]. Историк болгарского языка Ив. Буюклиев констатировал, что на основе рассмотренных данных автор этих строк «создает верную картину взаимодействия диалектов всей болгарской языковой территории», «ясно показывает, как постепенно западные области уступают восточным (точнее — центральнобалканским) говорам — процесс, связанный определенно и с их экономическим развитием» [Буюклиев 1983: 90]. Указав на заметную роль экстралингвистических предпосылок в становлении современного литературного языка, в частности состояния книжных центров, их движения и сопряженной с этим литературной практикой, увязываемой с тем или иным диалектом, Е. Георгиева, известный специалист в области истории СБЛЯ, полагает, что приведенные в статье данные дают основание утверждать, что «при выборе и установлении основы литературного языка до момента формирования его в основных чертах как целостной системы, решающим был экстралингвистический фактор» [Георгиева 1989: 86]. Оценивая приведенные данные как интересные, В. Радева считает, что из них следует «существенный вывод, что выбор основы, на которой строится литературный язык, обуславливается не внутриязыковыми структурными особенностями, а внеязыковыми факторами — общественно-экономическими и культурно-историческими» [Радева 1995: 36]. По мнению Н. И. Толстой в названной статье «положение с диалектной базой болгарского литературного языка» было «убедительно продемонстрировано» с использованием картографического метода [Толстой 1988: 161–162]. Определение территориально-диалектной принадлежности авторов печатных книг эпохи Возрождения, которых можно рассматривать

как своего рода репрезентантов их родных говоров в формировании литературного языка, Т. В. Попова характеризует как плодотворное расширение сферы применения методов лингвогеографии [Попова 1984: 326]. Особого внимания к предложенному подходу в решении вопроса о диалектной основе заслуживает отношение М. Виденова — видного болгарского социолингвиста, занимающегося целенаправленным исследованием языковой ситуации в современной Болгарии (в частности в крупнейших городах страны) и в Болгарии эпохи Возрождения, установлением диалектной основы СБЛЯ, места западно- и восточноболгарских элементов в его структуре. Характеризуя в одной из работ языковую ситуацию в болгарских городах XIX в., он указывает, что «очень любопытные материалы» по этому вопросу содержатся в статье [Венедиктов 1971]. Выводы, карты и таблицы, приведенные в ней, по его мнению, убеждают, что «в процессе создания новоболгарского литературного языка и в выдвигании книжников в той или иной степени приняли участие почти все болгарские районы», но «по своей престижности» первое место занимает языковая территория, простирающаяся с юго-запада к северо-востоку, причем «северо-восточное направление в этом целостном культурном процессе начинает постепенно доминировать» [Виденев 1990: 35–36]. Виденов отмечает также, что на основании приведенных данных в статье в общем правильно очерчен район, давший нормы болгарскому национальному языку. Возражение у него вызывает характер формации, принимаемой за основу литературного языка, каковой, по его мнению, стали не традиционные территориальные говоры, а сложившийся городской наддиалект в Тырнове и близлежащих городах, носителем которого была местная интеллигенция.

Ряд исследователей истории современного болгарского литературного языка отнесли к лингво-картографическому представлению данных о возрожденцах и их книгах, как и к их интерпретации весьма критически.

Прежде чем остановиться на этом подробнее, обратим внимание на то, что по мнению некоторых исследователей СБЛЯ, проблемы его диалектной основы как на стадии формирования, так и в его нынешнем, кодифицированном состоянии не было и нет.

При таком подходе к проблеме диалектной основы приведенные выше данные для исследования характера народно-разговорной

основы литературного языка на стадии его становления, естественно, не представляют никакого интереса. Какое-либо их значение в рассматриваемом аспекте по существу полностью отвергает Хр. Пырвев, полагая, что «генерализация второстепенных диалектных различий в языке отдельных книжников, абсолютизирование географического критерия (например, место рождения данного книжника) приводит к деформации прошлой и нынешней литературно-языковой действительности» [Пырвев 1981: 143]. Он считает, что «территориально-административным подходом и переоценкой второстепенных диалектных черт без необходимости и необоснованно противопоставляются болгарские диалекты и болгарские книжники, исходя при этом не столько из данных лингвистических, сколько внеязыковых (а у некоторых иностранных авторов — и из политических) соображений» [Пырвев 1981: 143–144].

Хр. Пырвев, конечно, прав в том, что абсолютизация количественных данных об уроженцах тех или иных диалектных областей (зон) болгароязычной территории и об изданных ими книгах не может дать адекватной картины реального состояния диалектной, т. е. народно-разговорной основы складывавшегося в эпоху Возрождения СБЛЯ. С ним можно было бы полностью согласиться, если бы приведенные лингво-картографические данные (в том числе и место рождения книжников) на самом деле рассматривались как некий абсолютный критерий выбора диалектной основы литературного языка, утвердившейся в нем на стадии его становления. В действительности же *сами по себе* эти данные таким критерием не являются и быть им не могут. Восточноболгарская диалектная основа утверждалась в литературном языке в самом ходе его нормализации как внутриязыковой процесс, направленный на преодоление существовавшего значительного разнобоя в его грамматике и фонетике. В ходе этой нормализации в конкуренции разнодиалектных особенностей преимущество закрепиться в качестве нормы имели как правило особенности восточноболгарского наречия (отдельных его диалектов или говоров) по той причине, что в печатных текстах они встречаются чаще или даже гораздо чаще, чем особенности западноболгарские, постепенно начинают восприниматься как предпочтительные и более «правильные». Этому как раз и способствовало то обстоятельство, что большая часть печатных возрожденческих

текстов (книг), как сказано выше, вышла из-под пера авторов, родившихся в Восточной Болгарии. Этому же, естественно, способствовало и то, что авторами грамматик болгарского языка, изданных в 40-е годы и позднее, были почти исключительно уроженцы этой части Болгарии, а также и то важное обстоятельство, что именно отсюда, преимущественно из районов Средней Старой планины и Средней горы, вышли многие выдающиеся деятели Возрождения, игравшие важнейшую роль в формировании разных областей национальной культуры эпохи Возрождения.

Столь же отрицательно характеризует значение «лингво-картографических» данных при решении вопроса о диалектной основе литературного языка и Т. Александрова. «Подобный подход, базирующийся на допущении, что возрожденческие книжники пишут на своем родном диалекте, — пишет она, — игнорирует как книжную традицию, так и основную в эпоху Возрождения тенденцию к унификации и ясно декларированный отказ от письменной практики, ориентированной на диалект» [Александрова 1999/2000: 99]⁷. Отметим прежде всего, что здесь не совсем точно интерпретируется обоснование целесообразности предпринятого лингво-картографического обзора возрожденцев и их книг. Мы не утверждаем, что *все* возрожденческие книжники [ср. в оригинале: «възрожденските книжовници (т. е.: все возрожденческие книжники. — Г.В.)] пишут на своем родном говоре. Предпринимая такой обзор с целью определения территориально-диалектной принадлежности возрожденческих авторов и изданных ими книг, «приходящихся» на долю

⁷ Об отсутствии книг, написанных на чистом родном диалекте (говоре) возрожденцев, говорят и исследователи, полагающие, что современный литературный язык формировался на основе определенной, локально ограниченной народной речи. Так, М. Виденов, который считает, что литературно-языковая практика деятелей Возрождения опиралась на городские наддиалекты, а в основу сложившегося литературного языка был положен тырновский городской наддиалект (точнее — речь интеллигенции города Тырново), пишет: «Историки литературного языка не могут указать ни одного произведения этого периода Возрождения, которое бы целиком базировалось на норме точно определенного традиционного территориального диалекта» [Виденов 1990: 36].

отдельных диалектов (говоров) и использования данных такого обзора как вспомогательного материала при решении вопроса о диалектной основе формировавшегося в эпоху Возрождения литературного языка, мы исходили из того, что «в условиях складывания единых норм болгарского литературного языка на основе народно-разговорной речи (при том, что с самого начала этого процесса не был выдвинут определенный диалект в качестве общепризнанной основы этого языка) авторы книг и других сочинений, как правило, широко отражают в них особенности своих родных говоров, а нередко и пишут на чистом диалекте» [Венедиктов 1971: 76]. Писать на чистом диалекте — удел малограмотных его носителей, но даже и они в своих текстах (например, в письмах) могут употребить известные им книжные по происхождению слова, в том числе и новейшие иноязычные заимствования, не свойственные их родному говору. Возрожденческие же книжники — для своего времени, как правило, люди образованные и хорошо образованные. В своей книжно-языковой практике, требовавшей немалых знаний в разных областях тогдашней материальной и духовной культуры, они не могли язык своих сочинений и переводов ограничить только рамками родных говоров. Если звуковой уровень языка книжников-возрожденцев, отраженный на письме в принятой ими графике и орфографии, в принципе может опираться только на их родные говоры (хотя, как известно, они отнюдь не всегда отражали на письме все их особенности), то лексический и грамматический уровни собственными «ресурсами» этих говоров обеспечен не мог быть. Складывавшийся на народно-разговорной основе новый литературный язык нуждался и в такой лексике и таких элементах грамматической структуры (например, синтаксических конструкций), которые книжники могли почерпнуть из других языков или создать новые слова, ввести необходимые, по их мнению, грамматические правила, не существующие в родном говоре (ср., в частности, искусственное правило синтаксического разграничения в употреблении разных членных морфем мужского рода ед. числа). Таким образом, несколько уточняя сказанное в приведенной выше цитате, мы исходим из того, что по крайней мере подавляющее большинство авторов-возрожденцев не писали и не могли писать свои произведения на чистом родном диалекте (говоре), они широко

или более-менее широко отражали в их языке особенности родного (диалекта) говора. Это относится не только к «рядовым» книжникам, авторам одной-двух не известных или малоизвестных книжек, не игравшим сколько-нибудь заметной роли в нормализации литературного языка, но и к видным и влиятельным участникам этого процесса. При этом нужно иметь в виду следующее обстоятельство, на которое обращает внимание М. Виденов: утверждая положение, согласно которому литературный язык зарождается в трудах видных книжников, нельзя забывать его материальную основу в лице говоров (у него — в лице городских наддиалектов) [Виденов 1990: 36].

В качестве иллюстрации того, что язык сочинений отдельных возрожденцев был очень близок к их родным говорам или даже почти этим говором, приведем очень показательный в этом отношении пример. Авторы академической «Истории новоболгарского литературного языка» констатируют: «Литературно-языковая модель Каравелова и его школы, к которой присоединяется и Хр. Ботев, *почти полностью* опирается на особенности копривщенского говора, хотя сам Каравелов в 60-е годы XIX в. высказывается за общebolгарскую речевую основу литературного языка» (Курсив наш. — Г.В.) [История 1989: 181]. Каравелов — уроженец Копривщицы и свою литературно-языковую модель общebolгарского литературного языка на практике он, согласно авторам цитируемого труда, строит *почти полностью* на базе родного — копривщенского — говора. Нельзя не обратить внимания также и на отмечаемое в этом труде явное несоответствие представлений Каравелова о том, что основу литературного языка должна составить общebolгарская народно-разговорная речь, с его реальной книжно-языковой практикой, опирающейся почти исключительно на родной говор. Примеров такого именно расхождения, так сказать, между теорией и практикой возрожденцев история болгарского литературного языка на стадии его становления дает немало. Они показывают, что на этой стадии возрожденцам в принципе было естественнее опираться на родной говор, нежели на весьма неопределенную для практической реализации общebolгарскую народно-разговорную речь в целом.

Возрожденцев, отражавших в языке своих произведений особенности родных говоров по разным причинам менее широко, особенно в первые десятилетия становления литературного языка, на наш

взгляд, было гораздо меньше, чем тех, кто тогда и позднее писал «почти» на диалекте. Но и по ограниченному набору диалектных особенностей опытный диалектолог может установить принадлежность их не только к восточному или западному наречию, но во многих случаях и к определенному диалекту (говору) этих наречий. Не известно, есть ли такие сочинения возрожденцев, в базирующемся на народной речи языке которых вообще нет каких-либо отличительных особенностей их родных говоров. Хорошо известно, однако, другое. Языковая практика многих возрожденцев, исследованная современными учеными, показывает их стремление к постепенному ограничению в использовании особенностей родных говоров, прежде всего контрастных, и к замене их эквивалентами более употребительными книжного или инодиалектного происхождения и на каком-то этапе развития литературного языка уже воспринимавшимися как более «правильные» (в современной терминологии — более «престижные»).

Другой существенный аргумент против «поисков» определенной диалектной основы формировавшегося литературного языка, связанный с приведенным выше «лингво-картографическим» распределением возрожденческих авторов и их книг, заключается в том, что признание такого характера народно-разговорной основы якобы приводит к переоценке места в нем второстепенных диалектных особенностей в языке сочинений отдельных возрожденцев. Этот аргумент очень четко сформулирован Хр. Пырвевым, который указал, что на протяжении всей своей истории в Болгарии — в период Средневековья, Возрождения и после освобождения от османского владычества и до наших дней — литературный язык имел «одну болгарскую, общеполгарскую языковую основу; а то, что книжники происходят из различных областей и что в их письменной речи проступают те или иные диалектные черты, — это неизбежные, но второстепенные явления». И далее он подчеркивал, что «генерализация второстепенных диалектных различий в языке отдельных книжников», как и абсолютизирование географического критерия, приводит к искаженному представлению о литературно-языковой ситуации. На наш взгляд, характеризовать в целом диалектные черты, выступающие в письменном языке возрожденцев, как «второстепенные явления» — явное заблуждение. В их числе есть, конечно,

и такие, которые можно отнести к второстепенным явлениям, хотя более или менее четкого критерия разграничения их с явлениями не второстепенными нет. Но дело не в этом, а в том, что язык произведений возрожденцев содержит немало очевидных локальных диалектных особенностей, которые к числу второстепенных явлений едва ли можно отнести. Таковы, например, членные формы мужского рода ед. числа, окончания форм 1 лица ед. ч. и 1 л. мн. настоящего времени глаголов, окончания мн. числа *-и* и *-е* многосложных существительных, частицы форм будущего времени глаголов, личные местоимения *той, ты, то, те* и *он, она, оно, они* и другие различия, отраженные в печатных текстах возрожденцев и болгарских грамматиках эпохи Возрождения. Некоторые из приведенных здесь различий даже в наше время, несмотря на ясные кодификационные предписания, являются предметом не прекращающихся споров о правомерности их употребления в современном литературном языке. Если к ним добавить и диалектные акцентные различия (в возрожденческих книгах, напечатанных гражданской кириллицей, они не просматриваются по той причине, что эти издания, в отличие от книг, напечатанных церковной кириллицей, не акцентуированы), которые обнаруживаются в современной устной литературно-языковой практике, то общая совокупность не «второстепенных явлений» в литературном языке, имеющих определенную территориально-диалектную «привязку», значительно расширится. Известно, что система ударения в литературном языке в своей основе восточноболгарская.

С высказываемым положением о генерализации второстепенных, т. е. не существенных для структуры литературного языка диалектных различий связано, на наш взгляд, и другое заблуждение относительно характера основы формировавшегося литературного языка. Речь идет о том, что, согласно мнению некоторых сторонников общеполгарской народно-разговорной основы этого языка, именно устанавливаемые другими исследователями особенности конкретных говоров (диалектов), закреплявшиеся в литературном языке, якобы и определяют — при игнорировании элементов, свойственных структуре всего болгарского языка, — общий характер основы литературного языка, не соответствующий его реальному воплощению. Если выступления самих возрожденцев в пользу

литературной обработки, например, «наиболее чистого» диалекта, — пишет Хр. Първев, — «имеют свое историческое оправдание, то едва ли это может быть принято в наше время, когда очень механически противопоставляются диалекты разных болгарских областей, а то основное и общее, что называется болгарским, общенародным болгарским языком, не дооценивается» [Първев 1981: 144]. Только с характерными локальными особенностями связывает принимаемую большинством ученых диалектную основу литературного языка и Г. А. Цихун. Он считает, что литературный язык «не может базироваться на специфических чертах, присущих каждому диалекту, которые по происхождению чаще всего являются архаизмами, сохранившимися в отдельных говорах» [Цихун 2005: 10]. В действительности, как нам кажется, признание определенной диалектной основы литературного языка отнюдь не ведет к недооценке в нем того, что по своему характеру является общеболгарским, свойственно «общенародному болгарскому языку», и к переоценке локальных, отличительных особенностей говоров. Любой говор (диалект), кроме особенностей, присущих только ему или ряду говоров (диалектов), имеет и множество общеболгарских особенностей, т. е. таких особенностей звукового строя, грамматической структуры, лексического состава, которые свойственны всему «общенародному болгарскому языку» и которые как раз и определяют принадлежность данных говоров именно к этому языку. Поэтому заключение о том, будто той или иной локализацией диалектной основы современного литературного языка не дооценивается «то основное и общее, что называется болгарским, общенародным болгарским языком», не кажется убедительным, во-первых, и по существу неточно представляет суть распространенной точки зрения о локально определенной диалектной основе литературного языка на стадии его становления и в его современном состоянии, во-вторых. Действительно, никто из исследователей, считающих, что в основе литературного языка лежат определенные говоры (например, центральнобалканские и примыкающие к ним другие говоры восточного наречия или тырновский городской наддиалект), не утверждает, что из этих говоров в литературный вошли только специфические, характерные для них особенности, которые якобы и составляют основу этого языка, и не вошли особенности, присущие общенародному болгарскому

языку, такие как отсутствие падежей и аналитизм имени, наличие членной морфемы, сложная система глагольных времен и многое другое. Когда говорится о диалектной основе, имеется в виду, что в литературный язык на стадии его становления вошли и утвердились в нем присущие данному диалекту (диалектам) не только его местные особенности, но и общebolгарские явления. Наличие именно широкого пласта общebolгарских явлений, вошедших в литературный язык на этой стадии вместе с локальными диалектными особенностями, служило базой довольно быстрой его нормализации и обретения им мощной силы национальной консолидации.

Критически характеризуя в рассмотренном плане точку зрения многих исследователей об определенной диалектной основе литературного языка, приверженцы его общebolгарской народной основы в действительности, как нам кажется, противопоставляют общebolгарские явления в структуре литературного языка как более важные, значимые явлениям диалектного происхождения как второстепенным, менее значимым. Показательна в этом отношении позиция К. Босилкова, который писал, что новые элементы в структуре болгарского языка «имеют общebolгарский характер, а диалектные особенности образуют не основу (ядро), а периферийную область, в которой конкурируют варианты» [Босилков 1984: 79].

Положение об общebolгарской основе современного литературного языка само по себе правильно в том смысле, что оно отражает важнейшую особенность его формирования, заключающуюся в том, что его базой был народный язык, живая речь болгар XIX в., а не функционировавший в конце XVIII — начале XIX в. книжный язык в его разных типах или разновидностях. Констатация такой именно, т. е. народной (общенародной) основы современного литературного языка, вероятно, достаточна для общей характеристики самого характера исходной базы его сложившейся структуры в рамках всей истории литературного языка. Такая констатация достаточна, вероятно, также и для установления места современного болгарского литературного языка в типологической классификации современных славянских литературных языков с точки зрения характера их исходной базы — народной или книжной. Однако для исследования самого процесса формирования СБЛЯ данной констатации совершенно недостаточно. Она допускает очень широкое понимание

самой его основы как в лингвогеографическом плане, не соответствующее реальному ходу его развития, так и в плане соотношения разных разговорно-языковых формаций, образующих народный язык в целом и противостоящих в своей совокупности и каждая в отдельности языку литературному. Проблемы диалектной основы болгарского литературного языка, формировавшегося на базе народно-разговорной речи, не было бы, если бы народный язык был единым и на территории своего распространения не распадался на диалекты, отличающиеся друг от друга разными фонетическими, акцентными, грамматическими и лексическими особенностями. В условиях отсутствия собственной государственности, единого административно-политического и культурного центра, в которых складывался современный литературный язык, установление определенной диалектной основы оказалось неизбежной и важной предпосылкой его создания как единого для всех болгар литературного языка.

Нельзя не отметить впрочем, что некоторые ученые, настаивая на общенародной болгарской основе литературного языка, противопоставляемой диалектной основе локально ограниченной, все же выделяют в первой говоры основные и неосновные. Из сказанного выше видно, что Хр. Пырвев, неизменно подчеркивая общенародный характер основы СБЛЯ, отдает себе отчет в том, что с самого начала формирования этого языка такой характер его основы не покрывался всем территориальным разнообразием живого народного языка, что включение в этот процесс разных диалектов происходило не одновременно, а постепенно. В одной из последних статей Пырвев пишет, что «в первые годы после Освобождения *начинает расширяться*, развиваться и укрепляться живая общенародная основа нашего литературного языка. Родные болгарские центральнобалканские и остальные наши диалекты сохраняют и продолжают играть свою исторически несомненную роль, особенно, если принять во внимание важные общественно-политические, экономические и другие обстоятельства и фактор» (Курсив наш. — Г.В.) [Пырвев 2005: 753]». Как видим, по мнению Пырвева, развивавшаяся до Освобождения народная основа литературного языка после этого исторического события начала расширяться, и это расширение могло осуществляться за счет включения в этот процесс других диалектов. Не случайно, надо полагать, он специально здесь отмечает

«исторически несомненную роль» именно центральнобалканского диалекта в истории литературного языка до Освобождения. О сдвиге же в расширении диалектной базы литературного языка после переноса столицы из Тырнова в Софию Пырвев пишет следующее: «Выбор Софии (Средеца) столицей новой Болгарии кладет начало и обеспечивает возможности естественного и все возрастающего участия основных болгарских говоров в системе нашего третьего болгарского литературного языка (имеется в виду СБЛЯ. — Г.В.)» [Пырвев 2005: 753–754]. Т. е. признается, что с переносом столицы в Софию в истории литературного языка наступает возрастающее участие «основных болгарских говоров», обеспечиваемое статусными возможностями столичного города. Примечательно, что здесь говорится о возрастающем участии «основных болгарских говоров». Ясно, что имеются в виду традиционно выделяемые территориальные говоры (состав или перечень их, правда, не приводится), из которых основные — при неопределенности самого критерия разграничения основных диалектов от неосновных — в принципе и признаются структурообразующими в развитии литературного языка после Освобождения Болгарии. Но «основные болгарские говоры» могли участвовать и они действительно участвовали в формировании литературного языка и до Освобождения Болгарии.

С других позиций к критике положения об определенной диалектной основе подходит Г. А. Цыхун. В статье «Болгарский язык в свете ареологии» он пишет, что работы автора этих строк способствовали утверждению «представления, что выбор основы, на которой создается литературный язык, находится вне языковых критериев и, следовательно, вне компетенции языковедов» [Цыхун 2005: 9]. Говоря о компетенции языковедов, он имеет здесь в виду языковедов эпохи Возрождения, когда формировался СБЛЯ и устанавливалась его диалектная основа. Языковеды того времени — авторы немногих грамматик болгарского языка и немалого числа статей по разным языковым вопросам, включая вопросы о том, каким должен быть литературный в целом и какое наречие, как тогда обычно писали, должно быть взято за его основу. Языковая, не говоря уже о лингвистической, компетенция этих авторов была весьма различной. Но дело даже не в уровне этой компетенции, а в том, что выбор диалектной основы формировавшегося литературного языка «состо-

ялся» без прямого воздействия языковедов эпохи Возрождения, т. е. не по их или кого-то из них некоему решению или настоятельной рекомендации. СБЛЯ складывался так, что авторитетные среди возрожденцев грамматики Й. Груева и Ив. Момчилова вышли в свет тогда, когда, как это видно из приведенных выше данных об изданных болгарских книгах в 60–70-е годы, уже подавляющее большинство книжников были уроженцами диалектных территорий Восточной Болгарии, опиравшимися в языке своих книг на родные говоры, и когда именно этим историко-культурным обстоятельством в то время и был определен выбор диалектной основы литературного языка — в книгах того времени уже господствовало восточно-болгарское наречие.

Это видели и хорошо чувствовали образованные болгары тех десятилетий. Господство одного этого наречия не всех их устраивало, и одной из причин их недовольства этим положением была малопонятность, с их точки зрения, такого литературного языка для жителей Западной Болгарии и Македонии. Так, известный в 70-е годы деятель просвещения И. Ковачев (уроженец Штипа) доказывал, что единый общий для всех болгар литературный язык должно представлять западноболгарское (шопское) наречие (речь г. Кюстендила и его окрестностей) как среднее между другими основными наречиями болгарского языка (балканским и македонским) по географическому положению и по формам, а потому и более понятное для всех болгар. Выступая с таким предложением, он, по его словам, хотел «показать неудовлетворительность исключительного употребления одного только наречия, а более всего современного нашего литературного языка или, *что одно и то же*, балканского наречия», малопонятного для многих болгар (курсив наш. — Г.В.) [Ковачев 1875: бр. 16]. На малопонятность такого языка для македонских детей неоднократно обращал внимание К. Шапкарев, призывавший к созданию общего литературного языка путем сближения «верхнеболгарского» (восточноболгарского) и македонского наречий. Его призывы были замечены (в частности Петко Славейковым), но изменить сложившийся ко времени Освобождения Болгарии восточноболгарский характер диалектной основы литературного языка ни Шапкарев с Ковачевым, ни другие недовольные книжники уже не могли.

Возрожденческие языковеды сыграли несомненно важную роль в утверждении балканской диалектной основы СБЛЯ, но *не в самом ее выборе, а в нормализации на ее основе литературного языка* на стадии его формирования. В их описаниях фонетических и грамматических (главным образом, морфологических) правил этого языка и его орфографии, в самой книжно-языковой практике представителей Пловдивской, Тырновской, Дриновской, Каравеловской литературно-языковых школ в большей или меньшей степени нашли отражение нормы разных балканских говоров, составившие нормативную базу уже кодифицированной к концу XIX в. структуры литературного языка.

Относительно ареальной основы, на которой, по мнению Г. А. Цыхуна, сформировался СБЛЯ, надо отметить следующее. Г. А. Цыхун исходит из представлений об ареальном членении болгароязычной территории, которое, как он полагает, ни в коем случае не совпадает с членением диалектным. Поэтому точнее, с его точки зрения, говорить о выборе ареальной, а не диалектной основы. Сама же ареальная основа определяется им так: «*Говор территории, входящей в ядро ареальной структуры, ввиду этой (наибольшей. — Г.В.) концентрации инноваций, охватывающих большую часть языковой территории, образует в конце концов основу литературного языка*» [Цихун 2005: 10]. Ареальная основа, таким образом, занимает, как и основа диалектная, определенную территорию, она тоже локально ограничена и, хотя она и расположена в ядре (центре) с наибольшей концентрацией языковых инноваций, по существу представляет собой тоже территориальный говор (см. в цитате: «*говор территории*»), отличающийся именно большей концентрацией инноваций от другого говора (говоров?), расположенного на остальной части языковой территории — ее периферии, где концентрация инноваций меньше.

Что касается самой локализации ареальной основы литературного языка в пределах болгароязычной территории, то Г. А. Цыхун сообщает о ней предварительные сведения, извлекаемые из недавно опубликованного обобщающего тома «*Болгарского диалектного атласа*», которые свидетельствуют о ее «*восточноболгарской локализации*» (Курсив наш. — Г.В.) [Цихун 2005: 10]. Иными словами, принципиального расхождения в представлении о географическом положении основы (ареальной или традиционно диалектной) между ним и его оппонентами в рассматриваемом вопросе нет: ее место на

географической карте — Восточная Болгария. Очевидно, что нет между ними принципиального расхождения и в понимании того, что саму основу — как ареальную, так и диалектную — представляет живая речь населения Восточной Болгарии. Однако в дальнейших, конкретизирующих рассуждениях о ее характере уже обнаруживается разный подход. Так, восточноболгарская локализация ареального ядра инноваций, включающего и ареальную основу СБЛЯ, по мнению Г. А. Цыхуна, «отнюдь не определяет, что все особенности, отмеченные на этой территории, будут присущи литературному языку»: нормой литературного языка не станут, например, особенности архаического происхождения или исключительно локальные явления [Цихун 2005: 10–11]. Но это же относится и к диалектной основе: признание восточноболгарского наречия (балканского диалекта, тырновского говора) основой литературного языка совсем не предполагает, что *все* его особенности обязательно закрепятся в литературном языке. В нормы литературного языка, сформировавшегося на такой основе, не вошли не только многие архаические и узколокальные диалектные особенности, но и особенности инновационного характера. Г. А. Цихун полагает, что архаизмы и редкие диалектизмы потому не могут быть нормообразующими элементами литературного языка, что они служат не интеграции, а «разъединению языковой территории» [Цихун 2005: 11]. Но разъединению языковой территории служат (могут служить) и инновационные явления. В говорах таких явлений известно немало и некоторые из них разъединяют болгароязычную территорию гораздо больше, делят ее на большее число частей, чем старые (архаические) явления. Ср., например, пеструю территорию распространения наименований некоторых новых в жизни болгар реалий материальной культуры и основное деление всей болгароязычной территории на две части — восточную и западную — по произношению «ятя». Примером того, что при формировании литературного языка на восточноболгарской ареальной основе не кодифицированы архаические черты, дифференцирующие болгарскую диалектную территорию, по мнению Г. А. Цыхуна, служит редукция безударных гласных — яркая языковая особенность всей Восточной Болгарии. Не совсем, однако, ясна при этом зависимость между кодифицированием или некодифицированием редукции безударных гласных и состоянием языковой

территории. Одна из норм безударного вокализма в литературном языке, естественно, была бы другой, если бы редукция безударных гласных была кодифицирована⁸, но на характере языковой территории это не сказалось бы — данной архаической особенностью восточноболгарского вокализма она по-прежнему оставалась бы разъединенной. В равной мере это относится и к инновационным явлениям: кодификация тех или иных из них в литературном языке не приводит к устранению вызванного ими разъединения языковой территории.

Выбор ареальной основы в целом и ее отдельных особенностей при формировании литературного языка, на наш взгляд, не определяется самим их характером по принципу: инновационные явления кодифицируются, а архаичные и узколокальные как дезинтегрирующие языковую территорию оказываются вне норм литературного языка. Судьба и тех и других при формировании СБЛЯ определялась книжно-языковой практикой возрожденческих книжников, в том числе и грамматистов, которые, нормализуя, т. е. литературно обрабатывая, народную речь (родные говоры) в языке своих произведений одни особенности живой речи сохраняли и этим способствовали их постепенному закреплению в качестве нормы общеполгарского литературного языка, а другие особенности по разным причинам в литературный язык ими не вводились и они продолжали оставаться только в рамках диалектного употребления. То, что и ареальная, согласно Г.А.Цыхуну, основа СБЛЯ имеет восточноболгарскую локализацию, объясняется не самой по себе наибольшей концентрацией инновационных явлений в центре их ареала, а тем обстоятельством, что восточноболгарский ареал, особенно центральная область Старой Планины и Средняя Гора, в эпоху Возрождения, когда формировался этот язык, был наиболее развитой в экономическом отношении частью болгароязычной территории — важным фактором, способствовавшим росту национального самосознания болгар и более широкому здесь развитию просвещения, фактором,

⁸ В речевой практике болгарской интеллигенции редукция безударных гласных долгое время сохранялась и после Освобождения Болгарии, а в речи некоторых ее представителей, уроженцев Тырнова и других восточноболгарских городов и сел, заметна и в настоящее время.

ставшим важной предпосылкой подготовки из числа местных жителей большего круга образованных, в том числе очень видных и влиятельных деятелей эпохи, чем это было по силам «периферии» — западноболгарской языковой территории. Рассматривая историю СБЛЯ, нельзя упускать из виду важные внеязыковые факторы, игравшие и сыгравшие существенную роль в его формировании.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что рассмотренные выше данные о возрожденческих книжниках и их книгах в лингво-картографическом плане сами по себе, естественно, не являются доказательством того, что основу СБЛЯ на стадии его становления составляли балканские говоры восточного наречия. Вопрос этот решается и может быть решен всесторонне и убедительно в результате широкого анализа как изданных, так и не опубликованных текстов эпохи Возрождения, анализа, проведенного, может быть, по специально составленной для этого программе. Приведенные же данные могут служить, как нам кажется, лишь достаточно надежным ориентиром в таком исследовании, которое, надо надеяться, приведет к тому, что вопрос о диалектной основе СБЛЯ перестанет быть остро дискуссионным, каким он предстает в настоящее время.

В изданной в прошлом году монографии «Идентификация по языку» М. Виденов пишет: «Историческая судьба современного болгарского литературного языка интересна и оригинальна тем, что он зарождается и первые свои шаги делает в Центральной и Северо-Восточной Болгарии фактически без участия нашего языкового Запада. О влиянии западноболгарского наречия можно говорить несколько позднее — в последней четверти XIX в., так как в 1879 г. столицей освобожденного Княжества Болгарии становится София. Новая столица — эпицентр балансирования между восточноболгарским и западноболгарским языковым началом, и это проявляется главным образом в фонетическом облике гласных звуков» [Виденов 2007: 61]. Это очень важное заключение, которое в части, касающейся соотношения восточно- и западноболгарского начала в сформировавшемся ко времени Освобождения литературном языке, полностью подтверждаются приведенными в настоящей статье в лингво-картографическом плане данными о возрожденческих книжниках и их книгах и их интерпретацией.

Литература

Александрова 1999/2000 — *Александрова Т.* За така наречената диалектна основа на новобългарския книжовен език // *Български език*, 1999/2000, кн. 4–5.

Андрейчин 1977 — *Андрейчин Л.* Из историята на нашето езиково строителство. София, 1977.

Босилков 1984 — *Босилков К.* За «основата» на новобългарския книжовен език // *Език и литература*. 1984. № 6.

Босилков 1986 — *Босилков К.* Кратка история на българския книжовен език. Сегед, 1986.

Буюклиев 1983 — *Буюклиев Ив.* [Рец. на кн.] Г. К. Венедиктов. Из истории современного болгарского литературного языка. София, 1981 // *Съпоставително езиковедие*. 1983. № 3.

БДА 2001 — *Български диалектен атлас*. Обобщаващ том. София, 2001.

Венедиктов 1971 — *Венедиктов Г. К.* Диалектна основа българского литературного языка и българское книгопечатание в эпоху Возрождения // *Вопросы языковедия*. 1971. № 4. С. 73–89.

Венедиктов 1979 — *Венедиктов Г. К.* За критериите на възрожденските книжовници при избора на конкретна диалектна основа за българския книжовен език // *Изследвания из историята на българския книжовен език от миналия век* (сборник, посветен на 100-годишнината от Априлското въстание). София, 1979.

Венедиктов 1981 — *Венедиктов Г. К.* Из истории современного болгарского литературного языка. София, 1981.

Венедиктов 1998 — *Венедиктов Г. К.* За един рядък екземпляр на издание от началото на 20-те години на XIX в. на руски и български език // *Възрожденският текст*. Прочити на литературата и културата на Българското Възраждане. В чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков. София, 1998.

Венедиктов 2005 — Из наблюдения над соотношением диалектного и книжного в истории современного болгарского литературного языка // *Исследования по славянской диалектологии*. 6. Славянская диалектология и история языка. М., 2005.

Венелин 1838 — *Венелин Ю.* О зародыше новой болгарской литературы. М., 1838.

Виденов 1990 — *Виденов М.* Българска социолингвистика. София, 1990.

Виденов 2007 — *Виденов М.* Идентификация по езика. Въз основа на съвременната българска реч. София, 2007.

Вълчев 2004 — *Вълчев Б.* Първият опит за пълно описание на новобългарския език // Съпоставително езикознание. 2004. № 3.

Георгиева 1983 — *Георгиева Е.* Паисий Хилендарски — строител на новобългарския книжовен език като национален // Български език и литература. 1983. № 5.

Георгиева 1989 — *Георгиева Е.* Създаване на новобългарския книжовен език като национален // Българската нация през Възраждането / Сборник от изследванията. Т. 2. София, 1989.

Георгиева 1990 — *Георгиева Е.* [Рец. на кн.] Ст. Жерев, В. Станков, Р. Цойнска. История на българския книжовен език. София, ... // Български език. 1990. Кн. 1.

Жерев 2007 — *Жерев Ст.* Българското книжовно дружество и възрожденските теоретични възгледи за националния характер на новобългарския книжовен език. София, 2007.

История 1989 — История на новобългарския книжовен език. София, 1989.

Ковачев 1875 — *Ковачев И.* Едно мнение върху общи език и по правописание у нас // Газ. «Ден», 1875, бр. 16.

Кочев 1980 — *Кочев Ив.* Българската диалектология през Възраждането и въпросът за книжовно и диалектно при изграждането на книжовния език // Български език. 1980. Кн. 1.

Кювлиева-Мишайкова 1997 — *Кювлиева-Мишайкова В.* Българското речниково дело през Възраждането. София, 1997.

Маслов 1981 — *Маслов Ю.С.* Грамматика болгарского языка. М., 1981.

Младенов 1979 — *Младенов Ст.* История на българския език. София, 1979.

Попова 1984 — *Попова Т. В.* Обзор работ советских диалектологов-болгароведов (послевоенный период) // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1981. М., 1984.

Първев 1980 — *Първев Хр.* Единство, неделимост и приемственост в историята на българския книжовен език // Български език и литература. 1980. № 1.

Първев 1981 — *Първев Хр.* Хилядолетен български език // Български език — език на 13-вековна държава. София, 1981.

Първев 1983 — *Първев Хр.* Възраждането на българския книжовен език. София, 1983.

Първев 1986 — *Първев Хр.* Страници из историята на българския книжовен език. София, 1986.

Първев 1986а — *Първев Хр.* Методологични въпроси от историята на българския книжовен език // Български език. 1986. Кн. 2.

Първев 2005 — *Първев Хр.* Възрожденско-следосвобожденски български времена езикостроителни // *Littera scripta manet*. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Василка Радева. София, 2005.

Радева 1995 — *Радева В.* Диалектната основа на новобългарския книжовен език // Българска реч. 1995. № 3.

Селищев 1918 — *Селищев А. М.* Очерки по македонской диалектологии. Т. 1. Казань, 1918.

Селищев 1926 — *Селищев А.* К изучению старопечатных болгарских книг (По поводу «Описа» В. Погорелова. София, 1923) // *Slavia*. 1926. Roč. V.

Срезневский 1846 — *Срезневский И.* Очерк книгопечатания в Болгарии // Журнал Министерства народного просвещения. 1846. Ч. 51, отдел 5.

Стойков 1968 — *Стойков Ст.* Българска диалектология. София, 1968.

Стоянов 1957 — *Стоянов М.* Българска възрожденска книжнина. Аналитичен репертоар на българските възрожденски книги и периодични издания. 1806 – 1878. I. София, 1957.

Толстой 1965 — *Толстой Н. И.* Страничка из истории македонского литературного языка // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. Вып. 43. М., 1965.

Толстой 1988 — *Толстой Н. И.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988.

Хобсбон 1996 — *Хобсбон Е.* Нации и национализъм от 1780 г. до днес. Програма, мит, реалност. София, 1996.

Холиолчев 1980 — *Холиолчев Хр.* Взаимоотношението български книжовен език — български диалекти и съвременното езиково строителство // Проблеми на езиковата култура. София, 1980.

Цихун 2005 — *Цихун Г.* Българският език в светлината на ареологията // Българска реч. 2005. Кн. 2.

Цонев 1934 — *Цонев Б.* История на български език. Т. 2. София, 1934.

Д. Ю. Анисимова

**К ВОПРОСУ О ВЫТЕСНЕНИИ БОГЕМИЗМОВ,
ГЕРМАНИЗМОВ И УНГАРИЗМОВ
ИЗ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ
СЛОВАЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
В ТРИДЦАТЫЕ-СОРОКОВЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА (МАТИЧНЫЙ УЗУС)**

Литературный язык предполагает наличие кодификации, то есть обязательных норм и предписаний, детерминирующих и поддерживающих его единство. В наибольшей степени это относится к фонетике и грамматике, поскольку фонетика и грамматика представляют собой замкнутые системы, являются обязательными для выражения в любом слове. В меньшей степени кодификация применима к синтаксису, где она может пересекаться со стилистикой, и в наименьшей степени к лексике, поскольку лексический запас любого языка предельно широк. В связи с этим кодификация лексики литературного языка существенно затрудняется. Поэтому лексические кодификационные предписания, как и синтаксические, имеют тенденцию отходить в область стилистики. Кодификация лексики, таким образом, имеет тенденцию протекать постепенно, при этом одни лексемы вытесняются из литературного языка и заменяются другими.

Основных причин вытеснения лексем из состава литературного языка может быть две. В первом случае исчезает сам класс денотатов слова, и таким образом, оно становится окончательной принадлежностью исторической, архаической лексики. Применительно к архаизмам нельзя говорить о сознательной кодификации данного пласта лексики, слова просто меняют «регистр» употребительности и из общеупотребительной лексики переходят в архаическую. В другом случае класс денотатов слова сохраняется, однако само слово начинает осознаваться как иноязычное и потому подлежащее замене на «свое» слово. Процесс осознания лексических «неправильностей» и установления нормативных предписаний идет постепенно, с ходом развития литературного языка и связан с борьбой за чистоту языка,

которая в определенные исторические эпохи может усиливаться. Особой интенсивности лексические кодификационные предписания достигают в периоды изменения социальной обстановки, когда определенные классы слов начинают ассоциироваться с предыдущим историческим периодом либо с языком другого этноса. Сами слова, которые будут исключены из литературного языка, избираются довольно стихийно, то есть критерии отбора конкретного слова для замены нельзя четко мотивировать. Однако можно мотивировать критерии выбора группы слов, имеющих общее происхождение или иные специальные характеристики (терминологические группы и т. п.), откуда будет, на этот раз уже стихийно, рекомендоваться к замене некоторое слово. При этом слово, утраченное в литературном языке, может продолжать функционировать в диалектах.

В словацком языке изменения в лексике словацкого литературного языка протекали наиболее интенсивно в тридцатые-сороковые годы XX века в связи с явлением словацкого языкового пуризма. В статье мы рассмотрим лексические изменения в публицистическом стиле литературного языка, поскольку в данном стиле лексические предписания словацкого языкового пуризма реализовывались наиболее последовательно. Материал для исследования мы брали из журнала «Slovenská reč» («Словацкий язык»), созданного в 1932 г. и ставшего главным рупором словацкого языкового пуризма, а также из других периодических изданий тех лет. Мы постараемся показать механизм и основные закономерности протекавших в литературном языке замен.

Как отмечают многие исследователи, в частности, Я. Босак [Босак 1983: 120], словацкий языковой пуризм стал реакцией на политику сближения чешского и словацкого языков, активно претворявшуюся в жизнь в двадцатые годы XX века. В 1917 г. словаки обретают государственность в рамках самостоятельной Чехословацкой республики. Словацкий язык становится официальным государственным и административным языком, наряду с чешским. Несмотря на это, считалось, что он не мог полностью удовлетворять требованиям нового общества в связи с недостаточной разработанностью соответствующей терминологии, а поскольку документы и пресса в республике выходили на двух языках, первоначально, в двадцатые годы, усиливается тенденция к сближению литературных

языков. Подобная языковая политика проводилась преимущественно чешскими лингвистами, и в области фонетики и грамматики их предписания в значительной степени реализовывались, в то время как в области лексики языковая политика наталкивалась на сопротивление [Босак 1983: 119]. Как мы уже говорили, в 1932 г. начинает выходить журнал «Slovenská reč», на страницах которого лингвисты активно дают рекомендации по очищению словацкого литературного языка от несловацких, с их точки зрения, элементов. Как правило, предписания были очень строгими и четкими по принципу «правильно/неправильно». При этом сколько-нибудь подробная мотивация выбора нового слова лингвистами, как правило, не приводилась. На эту особенность словацкого языкового пуризма указывает, например, Я. Качала [Kačala 1978: 297]. На практике эти рекомендации реализовывались по-разному. В наибольшей степени они находили отражение в печатных изданиях, которые издавала Матица словацкая — отсюда понятие «матичный узус» (см., например, [Ružička 1969: 69]). В несколько меньшей степени они находили отражение в произведениях художественной литературы.

Политика языкового пуризма изначально была направлена на вытеснение из словацкого литературного языка излишних, с точки зрения лингвистов, заимствований из чешского языка. Однако вместе с богемизмами в поле внимания лингвистов попадали также заимствования из других языков, с которыми словацкий язык издревле контактировал, а именно заимствования из немецкого и венгерского языков.

Таким образом, в словацком литературном языке начала тридцатых годов XX века существовало три основных разновидности вытесняемых лексем.

А) **Богемизмы.** Бытование богемизмов в словацком литературном языке уходит корнями в глубокую историю и связано с тесными контактами между носителями словацкого и чешского языков. Чешский литературный язык, как пишет Ю. Долник, всегда ощущался словаками как потенциальный литературный язык и всегда мог служить источником новых лексем [Dolník 2007: 110]. Л. Н. Смирнов отмечает, что «Штур при кодификации литературного языка считал возможным и даже полезным заимствовать чешские слова, которые отсутствовали в словацком языке» [Смирнов 1993: 227].

В) Германизмы. Они проникали в словацкий литературный язык в австро-венгерский период истории словацкого этноса. Помимо того, что носителей словацкого и немецкого языков объединяла общая государственность в рамках единой Австро-Венгрии (хотя формально Словакия входила в венгерскую часть монархии), на территории Словакии издавна жили многочисленные немецкие колонисты. Из их речи германизмы проникали в словацкие диалекты, а из диалектов — уже непосредственно в литературный язык.

С) Унгаризмы. Еще в австро-венгерский период между словацким и венгерским языками шло функциональное разделение по степени престижности: словацкий язык считался «простонародным», а венгерский язык — «культурным» и престижным, поскольку национальное самоуправление у словаков отсутствовало [Dogul'a 1977: 61]. Поэтому большая часть унгаризмов, проникнувших в словацкий литературный язык, относилась к административно-бюрократической и военной сферам [Ružička 1970: 12]. После распада Австро-Венгрии, когда словаки получили независимость от венгров, основная часть заимствований из венгерского языка отошла в область архаизмов: *išpán* 'жупан' (глава жупы — минимальной административно-территориальной единицы в старой Венгрии), *bán* 'наместник, воевода' (глава банства или провинции — более крупной административно-территориальной единицы в старой Венгрии) и т. п.

Помимо прямых заимствований из немецкого и венгерского языков, замене в тридцатые годы XX века подлежали также кальки с немецкого или венгерского языков, к которым относились слова, формально состоявшие из словацких корней и аффиксов, но по своей структуре и (или) по сочетаемости полностью повторявшие соответствующий немецкий или венгерский оригинал. Например: *rozpustilý* (*ausgebissen*), *každopadne* (*mindenesetre*) и т. п.

Замещение вышеуказанных разновидностей лексем новыми лексемами инициировали лингвисты. В дальнейшем их предписания реализовывались либо не реализовывались словацкими авторами. Здесь мы рассмотрим наиболее «строгий» вариант языкового пуризма, т. е. те случаи, когда мнение авторов не расходилось с мнением лингвистов. Итак, замещение заимствований могло идти несколькими путями.

А) Авторы заменяют не все слово целиком, а только отдельные его аффиксы. Подобное происходило в двух случаях. В первом

случае в литературном языке параллельно функционировали две синонимичные лексемы, принадлежащие к одной части речи, имеющие сходную морфемную структуру и различающиеся только аффиксами. При этом одна из этих лексем функционировала также в чешском языке. В этом случае лингвисты и авторы под влиянием пуристических тенденций старались не употреблять лексему, присутствующую также в чешском языке. Например: *prezočivý* → *bezočivý* 'наглый, бессовестный', *ľubovlada* → *samovlada* 'самодержавие, единовластие', *dodnes* → *podnes* 'до сих пор'.

Внутри группы лексем с чешскими аффиксами можно выделить две основные подгруппы:

Суффиксальные богемизмы, к которым относились прежде всего отглагольные и собирательные существительные. Так, из литературного языка систематически вытеснялись суффиксы *-št'* → *-sk*: *javište* → *javisko* 'сцена, арена'; *-ítk* → *-iv*, *-idl*: *-ie* → *-enstv*, *-ost'*: *nebezpečie* → *nebezpečenstvo* 'опасность'; *násilie* → *násilnosť*, *násilienstvo* 'насилие'; *-ák* → *-ier*: *pasák* → *pastier* 'пастух, пастырь'. Другие суффиксальные замены: *dovolená, zdravotná* → *prázdniny, dovolenka* 'каникулы, отпуск'; *takový* → *taký* 'такой'; *sedý* → *sedivý* 'седой'; *spevkuňa* → *speváčka* 'певица'.

Префиксальные богемизмы. Нормативные предписания диктовали, например, такие замены, как: *odpomoc* → *pomoc* 'помощь'; *zapotreby* → *treba, potreba* 'требуется, нужно'; *udes* → *zdesenie* 'ужас, испуг'; *sebaurčenie* → *samourčenie* 'самоопределение'.

Далее, у слова могла изменяться морфемная структура в случае, если это слово представляло собой кальку с немецкого или венгерского языка. В отличие от богемизмов, которые относились к общеупотребительной лексике, среди вытесняемых калек превалировала терминологическая лексика, в частности, административно-правовая. Прямые заимствования из немецкого и особенно из венгерского языков, связанные с историческими реалиями, отошли, как уже было сказано выше, в область архаизмов, поскольку у словаков появилась собственная государственность. Вместе с тем административно-правовая терминология была у словаков не разработана, поэтому в двадцатые годы в литературном языке оставалось значительное количество калек. Замена калькированных лексем происходила несколько позже, чем замена прямых заимствований, а именно в

тридцатые годы XX века. В общеупотребительной лексике осознание калькированных лексем шло еще позже и еще медленнее, чему доказательством служат многочисленные кальки с немецкого и венгерского языков в современном словацком литературном языке.

Среди вытесняемых калек наиболее обширной и наименее терминологической была группа германизмов. Немецкие кальки были неоднородны по структуре. Среди них можно выделить:

А) Двухкорневые калькированные германизмы. Эти кальки заключают в своей структуре два корня, один из которых обозначает некоторое качество или свойство, а другой выражает принадлежность, обладание свойством, которое выражено первым корнем. Как правило, для снятия калькированности второй корень, несущий добавочное значение, заменялся на словацкий суффикс с идентичным значением. Тем самым упрощалась корневая и в какой-то степени смысловая структура слова: *nádejepný* (hoffnungsvoll) → *nádejný* 'подающий надежды, многообещающий', *tajuplný* → *tajomný* 'таинственный', *láskyplný* → *láskavý* 'ласковый, любезный', *knihväzáč* (der Buchbinder) → *knihář* 'переплетчик'.

В) Аффиксально-корневые калькированные германизмы. Подобного рода кальки вытеснялись двумя путями. В одних случаях приставка сохранялась, а корень заменялся на более лексически мотивированный, в частности, в приставочных глаголах совершенного вида. Например: *odriecť komu čo* (+ D. + Akk.) (absprechen) → *odopriet komu čo* (+ D. + Akk.) 'отказать кому в чем'; *odhliadnúť čo* (+ Akk.) (abgesehen von) → *odcudzitiť, odvratiť čo* (+ Akk.) 'отвернуть, отвести (лицо, глаза)'; *sdeliť koho do čoho* (+ Akk, do + G.) (mitteilen) → *silit' koho do čoho* (+ Akk, do + G.) 'принуждать кого к чему'. При этом исходная морфемная структура слова сохранялась. В других случаях авторы подбирали синонимичное слово. При этом новое слово отличалось от исходного по морфемной структуре. Например: *rozpustilý* (ausgebissen) → *prostopašný* 'развратный, распутный'; *držať za koho, čo* (za + Akk.) (halten) → *pokladať za koho, čo* (za + Akk.) 'считать кого кем, чем'; *nanajvyš* (hochstens) → *najviac* 'больше всего, сильнее всего, в лучшем случае'; *nápadný* (auffalend) → *zvláštny, podivný* 'особенный, своеобразный, необычный'.

Вытесняемые калькированные унгаризмы относились преимущественно к административно-правовой лексике. Поскольку Словакия

и Чехия в австро-венгерский период относились к различным частям империи (соответственно к венгерской и к австрийской), юридическая терминология у словаков и у чехов не совпадала [Ružička 1970: 12; Horecký 1999: 97]. Кальки с венгерского языка заменялись синонимичными выражениями с сохранением либо без сохранения морфемной структуры. Например: *snosiť koho* (+ Akk.) (*lehordani*) → *nabryzgať*, *vyhrešiť koho* (+ Akk.) ‘отругать кого’; *prevlacovať sa z bývania / do bývania* (*hurcolkodni*) → *prenášať sa*, *prevážať sa z bývania / do bývania* ‘переезжать с какого-то места жительства / на какое-то место жительства’; *každopadne* (*mindenesetre*) → *určite, iste* ‘в любом случае, точно, наверняка’; *miestopredseda* (*igazgatóhelyettés*) → *podpredseda* ‘заместитель председателя’.

В) Замена по принципу «лексема на лексему», при этом из литературного языка вытеснялись заимствованные лексемы как неславянского, так и собственно славянского происхождения.

Неславянские вытесняемые заимствования были представлены в основном германизмами. Унгаризмов, которые не отошли к архаичной лексике, в литературном языке насчитывалось сравнительно немного: *kalauz* → *sprevodca* ‘проводник (в поезде)’, *fiók* → *priečinok* ‘ящик, полка’ и т. п.

Германизмы, значительная часть которых относилась к предметно-бытовой лексике, чаще всего заменялись собственно словацкими словами, которые обычно брались из среднесловацкого диалекта. Чаще, однако, распространен был другой случай, когда оба слова — и словацкое, и несловацкое — употреблялись в литературном языке параллельно, и затем происходило снятие вариантности путем утверждения словацкого варианта в качестве единственно правильного и употребительного. Например: *muštra* → *vzor* ‘пример, образец’; *krampl’a* → *česák*, *česačka* ‘чесалка, скребница’; *kraml’a* → *skoba*, *spojka* ‘крюк, скоба’; *piglajžňa*, *pigľovať* → *hladidlo*, *hladiť* ‘гладилка, гладить’; *pachtovať* → *prenájať* ‘арендовать, снять’; *pantl’a* → *stužka* ‘ленточка’; *lojtra* → *rebrík* ‘переносная лестница’; *lachtor* → *siaha* ‘сажень’; *klasa* → *trieda* ‘класс’; *štangl’a* → *tyčka*, *žrd* ‘жердь, шест’. Также нередки и случаи, когда одно заимствование-германизм замещается другим заимствованием: *pacht* → *arenda* ‘аренда’; *špas* → *žart* ‘шутка’.

В случае с лексическими богемизмами далеко не всегда происходило четкое однозначное изменение по принципу «богемизм на

словакизм», как в случаях типа: *smluvit' sa* → *dohovorit' sa* ‘договориться, условиться, объяснить’. В литературном языке 30 – 40-х годов XX века последовательно прослеживается тенденция резкого отталкивания от всего чешского и обращения к лексемам, заимствованным из венгерского и немецкого, лишь бы слово, рекомендуемое к употреблению, никоим образом не напоминало чешский язык. Богемизмы могли заменяться немецкими или венгерскими словами, бытовавшими в диалектах. Так, Э. Паулини отмечает, что в процессе отталкивания литературного словацкого языка от чешского, слова, приходившие на смену чешским, брались авторами из народной речи [Paulíny 1963: 98], а в народной речи слово с соответствующим значением могло носить заимствованный характер. В связи с тем, что словацкий языковой пуризм был направлен преимущественно против заимствований из чешского языка, в некоторых случаях слово неславянского происхождения оказывалось в литературном языке предпочтительнее чешского. Например: *nadácia* → *zakladina, fundácia* ‘фонд’; *nabídka* → *ofera* ‘пожертвование в церкви’; *hospodár* → *gazda* (ср. венг. *gazda*), *rolník* ‘хозяин, крестьянин, земледелец’; *venkov, venkovan* → *vidiek, vidiečan* (ср. венг. *vidék*) ‘провинция’, ‘провинциал’; *trest* → *výťažok, extract* ‘вытяжка, экстракт’; *limec* → *golier* ‘воротник’. Таким образом, в тридцатые годы в словацкий литературный язык через диалекты проникли новые заимствования из немецкого и венгерского языков, которые сохраняются в литературном языке до сих пор.

Очень часто само слово в литературном языке сохранялось, однако менялась (как, правило, снижалась) его сочетаемость, поскольку определенные конструкции с этим словом расценивались авторами как калькированные. Чаще менялась сочетаемость у слов с наиболее общим лексическим значением, которое в зависимости от контекста могло реализоваться по-разному. При этом мотивация замены была идентична мотивации замены калькированных лексем — устойчивые сочетания ощущались как немецкие или, чаще, венгерские. Точно так же, как и у калькированных лексем, изменения происходили преимущественно среди юридически-канцелярских выражений. Существовало несколько вариантов трансформации устойчивых словосочетаний:

А) Вариант с сохранением структуры словосочетания.

В этом случае зависимое слово сохраняется, а слово с общей «категориальной» семантикой изменяется. Как правило, в роли словацкого комбинаторного заменителя используется такое же полнозначительное слово с общим значением. Так, систематически избавляются от выражений, в которых используется глагол *brať* 'брать', выражающий общее значение присвоения некоторой части информации или части материальных ценностей. Например: *brať lieky* (bevenni a gyógyszert) → *užívať lieky* 'принимать лекарства'; *bral slovo ináč* → *rozumel slovo ináč* 'он понимал слово по-другому'; *brať podiel z majetku* → *mať podiel z majetku* 'иметь долю в собственности'; *horebrať žalobu* → *vypocúť žalobu* 'выслушать жалобу'. С другой стороны, глагол *chytat'* 'хватать' в неперсонализованном употреблении систематически заменяется глаголом «брать»: *pilník nechytá* (fog) → *pilník neberie* 'напильник не берет'; *nič sa ho nechytá* (semmi se fog rajta) → *nič sa ho neberie* 'на него ничто не действует'. Выражения, в которых течение времени обозначается как «бег», заменяют на более простые, с указательными местоимениями и «непрозрачными» предлогами: *bežiacého roku* → *toho roku* 'в этом году'; *behom vojny* → *za vojny, vo vojne, v čas vojny* 'во время войны, в войну'. См. и другие словосочетания, в которых калькированное слово заменяется синонимичным: *podat' žalobu* (beadni) → *vzniesť žalobu* 'подать жалобу'; *nechať koho, čo* (lassen) + Inf. → *dať koho, čo* + Inf. 'заставить кого, что делать что'.

В других случаях меняется глагольное управление. Личные конструкции, в которых в номинативе стоят неодушевленные объекты, заменяются безличными: *zdochla mu fajka* (kialudt a pipája) → *zdochlo mu vo fajke* 'у него погасла трубка'; *bola to nedel'a* (es war ein Sonntag) → *bolo to v nedeľu* 'это случилось в воскресенье'. Глаголы с прямым дополнением или глаголы, обозначающие движение на поверхность чего-либо, меняя управление, начинают обозначать движение строго внутрь чего-либо: *napchal si fajku* (megtöltötte a pipáját) → *napchal si do fajky* 'он набил трубку'; *zapaľil si na fajku* (pipára gyujtott) → *zapaľil si do fajky* 'он зажег трубку'. См. и другие случаи: *doniesť o život* (ums Leben bringen) → *života pozbaviť* 'лишить жизни'; *prišiel osobne* (personlich) → *sám prišiel* 'он пришел сам, лично'.

В) Вариант с сокращением словосочетания.

Здесь возможны два пути изменения исходного словосочетания. В одном случае словосочетание заменяется на слово, однокоренное с каким-либо из слов, его составляющих: *brať účasť* (részvenni) → *zúčastniť sa* 'принять участие'; *držať reč* (beszédet tartani) → *rečniť* 'держать речь'; *dlhú dobu* (hosszú időt) → *dlho* 'долгое время'. Другой вариант — все выражение заменяется единственным словом, неоднокоренным к его компонентам: *d'alšia časť* (további rész) → *ostatok* 'остаток'; *až na* (bis auf) → *okrem* 'кроме'; *to už prišlo v zapomenutie* (az már felejtésbe jutott) → *to sa už zabudlo* 'об этом уже забыли'; *pri tom všetkom* (mindennél) → *jednako* 'одинаково, равным образом'.

В другом случае, напротив, происходит распространение словосочетания, поскольку одно из слов в составе словосочетания заменяется синонимичной конструкцией. Таким образом, словосочетание усложняется, зато устраняется его несловацкость: *už je všetkému koniec* (mindennek vége van) → *už je po všetkom* 'все уже кончено'; *dielovedúci* (ügyintéző) → *správca v dielni* 'заведующий цехом, мастерской' и т. п.

Таким образом, изменения в лексике словацкого литературного языка в 30-40 годы XX века были неоднородны и различались в зависимости от общеупотребительного или официального характера лексемы. В общеупотребительной лексике шло последовательное вытеснение бегемизмов, реже германизмов и унгаризмов. При этом бегемизмы могли заменяться словами в том числе неславянского происхождения, которые изначально в литературном языке представлены не были. В официально-канцелярской лексике прослеживается последовательное вытеснение калек с венгерского языка с тенденцией к большей описательности (меньшей синтетичности) новой канцелярской терминологии.

Литература

Босак 1983 — *Босак Я.* Словацкий язык // Формирование славянских литературных языков: теоретические проблемы. М., 1983. С. 119–149.

Смирнов 1993 — *Смирнов Л. Н.* О штуровской концепции словацкого литературного языка // *Studia Slavica*. Сборник к 80-летию С. Б. Бернштейна. М., 1993. С. 221–229.

Dolník 2007 — *Dolník J.* Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. Bratislava, 2007.

Doruľa 1977 — *Doruľa J.* Slováci v dejinách jazykových vzťahov. Bratislava, 1977.

Horecký 1999 — *Horecký J.* Odraz kultúrnych prvkov v slovnej zásobe slovenčiny, češtiny a maďarčiny // *Sociolinguistica Slovaca*. Č. 4. Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Bratislava, 1999. S. 94–98.

Kačala 1978 — *Kačala J.* Záverečná správa o činnosti pracovnej skupiny Jazykovedného Ústavu Ľudovíta Štúra SAV na posúdenie starších kodifikačných príručiek // *Slovenská reč*. 1978. R. 43. Č. 5. S. 295–302.

Paulíny 1963 — *Paulíny E.* Vývin a dnešný stav v slovnej zásobe spisovnej slovenčiny // *Jazykovedné štúdie*. 7. Bratislava, 1963. S. 94–100.

Ružička 1969 — *Ružička J.* Spisovná slovenčina v období 1918–1969 // *Slovenská reč*. 1969. R. 34. Č. 2. S. 65–75.

Ružička 1970 — *Ružička J.* Vývin odborného štýlu spisovnej slovenčiny v 20 storočí // *Slovenská reč*. 1970. R. 35. Č. 1. S. 7–16; Č. 2. S. 69–74.

Ružička 1975 — *Ružička J.* Rozvoj slovenčiny v socialistickom Československu. Bratislava, 1975.

Ф. Б. Людоговский

**ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯЗЫКИ
В СЛАВЯНСКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЯХ
В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.**

Церковнославянский язык был в течение столетий богослужебным и — шире — литературным языком России и других славянских православных¹ стран (в первую очередь — Болгарии и Сербии). Что касается России, то сосуществование церковнославянского и древнерусского языков в XI–XVI вв. может быть охарактеризовано как диглоссия [Успенский 2002: 23–32], т. е. как такая языковая ситуация, при которой функции двух (в данном случае — близкородственных) языков не пересекаются, а взаимно дополняют друг друга. В XVII в. диглоссия сменяется двуязычием (т. е. функции русского и церковнославянского языков все больше начинают пересекаться), а с начала XVIII в. церковнославянский язык резко сужает сферу своего использования, становясь языком лишь церковной культуры. В последующие два столетия (XVIII–XIX вв.) новосозданный русский литературный язык продолжает теснить церковнославянский: последний утрачивает одну за другой позиции (жития святых, церковная проповедь, Библия), в результате чего к началу XX в. в его исключительном ведении остается лишь богослужение, причем время от времени русский язык посягает и на это последнее прибежище церковнославянского языка (см. подробнее 1.1.).

Если же взглянуть шире и от ситуации в России, в Русской православной церкви (= РПЦ) обратиться к функционированию церковнославянского языка в других православных церквях, то в XX — начале XXI вв. здесь наблюдаются две противоположные тенденции: с одной стороны, в сфере богослужения церковнославянский язык теснят национальные славянские языки (прежде всего — сербский и

¹ До XVIII в. — также и в католической Хорватии.

болгарский, но также и украинский, белорусский и даже русский); с другой стороны, церковнославянский язык (русского извода, московской редакции) благодаря русской эмиграции проникает вместе с православием за пределы *Slavia Orthodoxa* — в Польшу, Чехию, Словакию, страны Западной Европы, в США, Канаду, Австралию, Китай и другие страны, где начинает использоваться параллельно со славянскими и неславянскими языками.

Сложившаяся к настоящему времени ситуация требует описания и осмысления. Предлагаемая статья представляет собой опыт характеристики сосуществования традиционного для православных славян церковнославянского языка с национальными славянскими языками, которые один за другим приобретают статус богослужбных (= литургических).

Материалом для нашего обзора послужили как исследования филологов, историков² и литургистов, так и ресурсы Интернета: мы

² Удивляет то отсутствие внимания к проблематике богослужбного языка и — шире — вообще богослужения, которое характерно для отечественных обзоров по поместным православным церквям. Так, в работе профессора Московской духовной академии К. Е. Скурата «История Поместных Церквей» (М., 1994) в разделе, посвященном современному положению Болгарской церкви, имеются такие рубрики как «статистические данные; приходы и представительства за рубежом; духовные школы; церковные учреждения, издательство, журналы; Церковно-исторический и архивный институт; положение Церкви в государстве; организация Церкви, устройство, управление; церковный суд. Раскол в Болгарской православной церкви» [Скурат 1994: 243; 278–285], однако нет параграфа о богослужении и богослужбном языке. Аналогично и в «Православной энциклопедии» в соответствующей статье в разделах «Современное положение» [Косик, Темелски, Турилов 2002: 615] и «Болгарская православная церковь в 90-х гг. XX в.» [Там же, 640–642] не находим упоминаний о богослужении и богослужбном языке. Та же картина — и в интернет-проекте «Поместные церкви» (<http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches>) московского Сретенского монастыря: сведения о каждой церкви разбиты на рубрики «Новости», «История», «Каноническое устройство», «Персоналии», «Официальные документы», «Святые и святыни», «Духовное образование», «Публикации», «Интернет-ресурсы»; и здесь богослужбная проблематика не нашла своего

собирали информацию на различных сайтах, форумах и блогах (как тематических, так и случайным образом затрагивающих проблематику литургического языка), обращались за помощью к непосредственным участникам богослужения — клирикам и мирянам различных православных церквей. Особенно признателен автор участникам сообщества «Церковный устав во всей его полноте» (<http://community.livejournal.com/ustav>, один из зрителей — Игорь Гаслов) и сообщества «Переводы богослужебных текстов» (http://community.livejournal.com/prav_perevod) интернет-портала «Живой журнал» (<http://www.livejournal.com>), без консультаций с которыми не могла быть написана эта статья.

Предметом анализа является ситуация в канонических православных церквях, т. е. находящихся в евхаристическом общении с Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и другими церквями. Таким образом, за рамками рассмотрения остается богослужебный язык у русских старообрядцев и болгарских старостильников, в Киевском патриархате и в Македонской православной церкви и во многих других юрисдикциях, соотносящих себя с восточным христианством. Подобный подход не только облегчает задачу в количественном отношении (неканонических деноминаций существенно больше, нежели канонических), но и делает предмет нашего исследования более однородным, поскольку правым расколам свойствен, как правило, подчеркнутый консерватизм, а левым — нередко модернизм, канонические же юрисдикции имеют возможность принимать более взвешенные решения насущных проблем, в частности, проблемы богослужебного языка.

1. Московский патриархат (далее — МП; = Русская православная церковь (РПЦ) в широком смысле данного термина). Канонической территорией МП являются страны бывшего СССР (за исключением Грузии³). В настоящее время (с 1990-х гг.) МП

отражения. Отрядное исключение в этом плане представляет краткая «справка» А. Л. Дворкина по поместным церквям [Дворкин 1994], где нашлось место для указания языков, используемых в богослужении той или иной православной церкви.

³ В настоящее время Сухумо-Абхазская епархия Грузинской православной церкви в церковно-каноническом отношении зависит *de facto* от РПЦ МП.

представляет собой конгломерат образований, обладающих различной степенью автономности: Русская православная церковь (в узком смысле термина — епархии, находящиеся на территории Российской Федерации), Украинская православная церковь (именуется самоуправляемой, но, судя по всему, полная автокефалия — это лишь вопрос времени), Белорусская православная церковь (= Белорусский экзархат), Русская православная церковь за границей⁴ (= Русская зарубежная церковь), а также автономная Японская православная церковь, автономная Китайская православная церковь, Молдавская митрополия, Митрополичий округ Казахстана и др. Однако, в соответствии с целями нашей статьи, нас будут интересовать лишь первые четыре из вышеперечисленных структурных подразделений МП: Русская, Украинская, Белорусская и Русская зарубежная православные церкви.

1.1. Русская православная церковь (= РПЦ МП). Текущая ситуация в Русской православной церкви может быть описана в общих чертах следующим образом. Основным богослужебным языком РПЦ на территории России является церковнославянский. Такова традиция, которая, однако (насколько нам известно), не имеет силы юридического закона. Во всяком случае, ни в Уставе РПЦ, принятом на Юбилейном архиерейском соборе в 2000 г., ни в Основах социальной концепции РПЦ о богослужебном языке не сказано ни слова. Наряду с церковнославянским в РПЦ используются также и языки народов Российской Федерации (например, чувашский, осетинский, татарский, удмуртский, бурятский, якутский и др.). В зарубежных приходах РПЦ используются языки соответствующих стран (английский, немецкий, французский и др.)⁵. Перевод богослужения на национальные языки в целом не является в РПЦ предметом дискуссий и осознается как важная составляющая так называемой внутренней (а за границей — и внешней) миссии.

Вместе с тем как чрезвычайно болезненная расценивается проблема понятности церковнославянского языка носителями русского

⁴ Традиционное написание в официальных документах самой РПЦЗ — Русская православная церковь за границей.

⁵ Сказанное не относится к посольским храмам и к подворьям РПЦ: там, как правило, служат по-церковнославянски.

языка. В 1990-е гг. возобновилась начатая на предыдущем рубеже веков дискуссия о возможности введения богослужения на русском языке⁶, однако практические ее результаты в плане решения обсуждаемой проблемы оказались нулевыми. Священноначалие РПЦ не сформулировало никакой официальной позиции⁷, однако разного рода взыскания и наказания, которым подверглись московские священники так называемого либерального крыла, недвусмысленно свидетельствуют об отрицательном отношении церковных властей к идее русского богослужения.

Обе стороны дискуссии (если они не переступают явным образом границ христианского вероучения) признают, что ни догматических, ни канонических запретов на русское богослужение нет и быть не может. Следовательно, проблема лежит (и, соответственно, должна обсуждаться и решаться) в иной плоскости — прежде всего в плоскости филологической. Можно сказать, что вопрос о русском богослужении эквивалентен следующей лингвистической проблеме: является

⁶ О дискуссии начала XX в. см.: [Кравецкий, Плетнева 2001; Балашов 2001]. Представление о современной полемике можно получить, к примеру, по публикациям [Язык Церкви 1–3] (представлена позиция как реформаторов, так и консерваторов) и [Богослужебный язык 1999] (позиция консерваторов); см. также [Десницкий 1998].

⁷ Ср., однако, высказывание патриарха Алексия II на заседании Епархиального собрания г. Москвы в декабре 2007 г.: «Мы получили много письменных вопросов. На один из них отвечаю сразу — относительно «подготовки литургической реформы в Церкви», которой нет и быть не может. Те, кто порой высказывают частные мнения о том, что нужно перевести богослужение на русский язык, о чем в свое время говорили обновленцы, или предлагают сократить богослужение, забывают, что Церковь, ее уставы и правила вырабатывались тысячелетиями, и они должны свято соблюдаться. Никакого пересмотра текста Великого канона преподобного Андрея Критского не будет. Церковь наша в трудные времена гонений и испытаний выстояла, сохраняя незабываемую свою традицию. Эту традицию должны свято беречь и мы. Я призываю всех вас соблюдать наши православные традиции и не смущаться частными высказываниями людей, пытающихся вернуть нас во времена обновленчества». — <http://www.patriarchia.ru/db/text/356093.html>.

ли церковнославянский язык особым языком или же он представляет собой богослужебный стиль (= регистр в терминологии В. М. Живова) русского литературного языка. Причем интересна как раз не «объективная» картина (известно, что проблема «один язык — два языка», «язык — диалект» до сих пор не имеет универсального и общепринятого решения), а то, как указанный вопрос решается в языковом сознании носителей русского языка (естественно — в первую очередь православных носителей). И именно здесь, собственно говоря, и заключается суть проблемы, здесь пролегает водораздел между сторонниками и противниками русского богослужения: для тех, кто мыслит церковнославянский и русский языки как единое целое, перевод богослужебных текстов на русский язык представляется недопустимым огрублением: в самом деле, литургический стиль русского литературного языка заменяется иным — неизбежно более низким — стилем. Те же православные носители русского языка, которые воспринимают церковнославянский как язык неродной, мертвый, вполне логично ратуют за богослужение на родном, понятном, живом языке — как это имеет место во многих православных церквях (например, в Румынской православной церкви, в Финляндской и Японской автономных церквях, в Православной церкви в Америке и др.) и в отдельных епархиях и приходах различных церквей (в Европе и Америке)⁸.

Оба варианта восприятия церковнославянского языка реально присутствуют в языковой ситуации современной России. Осмелимся предположить (на основании имеющихся фрагментарных данных, при отсутствии специальных исследований), что преобладающим среди клириков и мирян РПЦ является восприятие церковнославянского языка как функциональной разновидности русского⁹. Такому

⁸ Впрочем, «разведение в стороны» русского и церковнославянского языков может иметь и прямо противоположное следствие: церковнославянский язык воспринимается как (онтологически) сакральный, а потому не подлежащий никакому изменению. Доведенная до логического конца подобная точка зрения обнаруживает свой очевидно нехристианский характер (см. об этом, в частности [Реморов 2007: 27–28]).

⁹ «Подтверждением этой неотделимости (церковнославянского языка от русского литературного. — Ф. Л.) может служить и тот факт, что вне российской языковой ситуации, в сопоставлении с другими языками богослу-

восприятию способствует существенная общность лексики русского и церковнославянского языков (в отличие, скажем, от украинского и белорусского), хорошая сохранность в обоих идиомах именного склонения (в отличие от болгарского и македонского), усвоение в значительном объеме современным церковнославянским языком русской орфоэпии.

Однако, как отмечал доцент Новосибирского университета диакон Иоанн Реморов в своем докладе на XVII Ежегодной богословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, признание церковнославянского языка функциональным стилем русского литературного языка влечет за собой естественный вывод о допустимости и даже необходимости редактирования, изменения церковнославянских текстов с целью сохранения их связи с современным русским языком, т. е. о возможности их русификации [Реморов 2007: 31]. Представители консерваторов и священноначалия в целом декларируют согласие с подобными идеями¹⁰; между тем за последние два десятилетия на официальном уровне не

жения, церковнославянский нередко называют «русским». К примеру, на миссионерской секции Ежегодной богословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (2006 г.) два докладчика независимо друг от друга говорили о православных многоязычных приходах в странах Западной Европы, где служба совершается по-румынски, по-итальянски (в другом случае по-сербски) или «по-русски» (т. е. по-церковнославянски) в зависимости от пришедших прихожан» [Реморов 2007: 24]. От себя добавим: нам не раз приходилось слышать, что на пасхальной службе тропарь пели по-гречески, по-латыни и по-русски, что та или иная служба или акафист переведены с греческого (или английского) на русский и т. п., хотя в обоих случаях речь шла, разумеется, о церковнославянском языке.

¹⁰ Более того: Архиерейский собор 1994 г. постановил «продолжить редактирование богослужебных текстов, начатое в нашей Церкви в начале текущего столетия» (Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 29 ноября – 2 декабря 1994 г. Москва. Документы, доклады. М., 1995. С. 177. Цит. по: [Балашов 2001: 10]). Однако это постановление не имело практических последствий.

было предпринято никаких сколько-нибудь значимых шагов в данном направлении¹¹.

Вместе с тем, русский язык ограниченно все же присутствует в богослужении. Так, во многих храмах (в том числе в Даниловом монастыре — в официальной резиденции Патриарха Московского и всея Руси) пасхальное Евангелие читают, наряду с греческим, церковнославянским, латинским, английским и другими языками, и на русском языке¹². Практически повсеместно по-русски читается житие преподобной Марии Египетской¹³ (на пятой седмице Великого поста) и Деяния апостолов (перед ночной пасхальной службой)¹⁴. В 2007 г. председатель Миссионерского отдела РПЦ

¹¹ Единственное известное нам исправление языкового (а не текстуального) характера, сделанное, насколько можно понять, явочным порядком, без официального утверждения высшими инстанциями, — это замена написания *воистинну* на *воистину* в новых изданиях, выпущенных Издательским советом РПЦ (см., например [Служебник 2004: 43]). Впрочем, это незначительное исправление, не осязаемое на слух, с избытком компенсируется славянизующим написанием (и, соответственно, произношением) *о патриархе* [Служебник 2004: 13] вместо более раннего *о патриархе*. (См. об этом последнем исправлении [Реморов 2007: 31]).

¹² В чем нельзя не видеть нарушения логики: если русский текст предназначен для носителей русского языка, то кому адресована церковнославянская версия? Если же церковнославянский язык — основной богослужебный язык РПЦ МП, то как следует понимать присутствие на службе русского перевода Евангелия?

¹³ Показательна в этом отношении брошюра, изданная в 2001 г.: «Житие преподобной Марии Египетской, читаемое Великим постом в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре» [МЕ 2001], в самом названии которой уже содержится претензия на установление определенной нормы (как относительно использования конкретной редакции известного текста, так и — что важно для нас в данном случае — относительно языка).

¹⁴ Деяния, согласно сложившейся традиции, читают миряне. Интересно отметить, что в некоторых случаях здесь можно услышать характерное монотонное чтение с *-аго/-яго* и «без ё», т. е. как если бы читался церковнославянский текст. Последнее наше наблюдение такого рода —

архиепископ Белгородский Иоанн читал Великий канон преподобного Андрея Критского «на церковнославянском языке, максимально приближенном к современному русскому» [Саенко 2007]. В общине свящ. Георгия Кочеткова совершаются так называемые синаксарные (соборные, т. е. при активном участии мирян) богослужения на русском языке. По меньшей мере в одном из московских храмов Священное Писание читается по-русски. Возможно, что приходов, практикующих русское богослужение, не так уж и мало, однако по понятным причинам подобная специфика литургической жизни не афишируется.

1.2. Украинская православная церковь (= УПЦ МП). Православная церковь на Украине существует в весьма непростых условиях: помимо традиционного для последних четырех столетий сосуществования с униатами (в настоящее время — Украинская Греко-католическая церковь (УГКЦ)), конкуренцию канонической церкви (Украинской православной церкви московского патриархата — УПЦ МП) составляют появившаяся в 1990-е гг. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), возглавляемая лишенным сана и отлученным от церкви митрополитом (усвоившим себе патриарший титул) Филаретом (Денисенко), а также Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП богослужение ведется почти исключительно на церковнославянском языке, в то время как в УПЦ КП, УАПЦ и УГКЦ в качестве литургического языка используется украинский. И надо признать, что использование украинского литературного языка является сильной стороной трех указанных юрисдикций, в глазах многих мирян давая им немалое преимущество перед канонической церковью.

Говоря о соотношении церковнославянского и украинского языков в богослужении, следует учитывать два обстоятельства. Во-первых, украинский язык находится неизмеримо дальше от церковнославянского в сравнении с русским литературным языком; более того, церковнославянский в определенном смысле может отождествляться с русским. А во-вторых, здесь оказывает свое воздействие и другой фактор — политического свойства: церковно-

Пасха 2008 г., храм Святой Троицы в Детской городской клинической больнице Святого Владимира (Москва).

славянский язык нередко ассоциируется (особенно в Западной Украине) с Россией, и потому расценивается как угроза украинской национальной идентичности и политическому суверенитету украинского государства.

Вопрос о введении украинского языка в богослужение не является запретным в УПЦ МП. Более того, по свидетельству клирика Киевской епархии священника Андрея Дудченко, митрополит Киевский Владимир на собраниях епархиального духовенства указывал, что в Украинской церкви «нет принципиального запрета на перевод богослужения на украинский язык. Если община какого-либо храма хочет служить по-украински, пусть служит». Право выдвигать инициативу в этом вопросе владыка предоставил самим общинам [Дудченко 2006].

Впрочем, при всем благожелательном отношении священноначалия УПЦ МП к служению на украинском языке, официально принятого, общепризнанного перевода богослужебных текстов на украинский язык на сегодняшний день нет. Это обстоятельство не может не сказываться на крайне медленном введении украинского литературного языка в качестве литургического.

Вместе с тем следует отметить, что архиепископ Ионафан (Елецких), до недавнего времени возглавлявший Херсонскую епархию, а в 2007 г. переведенный на Тульчинскую кафедру, активно занимается переводами богослужебных текстов на русский и украинский языки, частично используя свои переводы в богослужении (в первую очередь — Великий канон, а также молитвы анафоры на литургии)¹⁵. Известно о служении не только на украинском¹⁶, но и на и русском¹⁷ языке в некоторых приходах УПЦ МП.

¹⁵ См. тж. оригинальные творения и переводы Никодима, митрополита Харьковского и Богодуховского [Никодим 1996].

¹⁶ Например, храм Святой Троицы в г. Берестечко (Волынская обл.). См.: <http://community.livejournal.com/ustav/191174.html/thread=3325894#t3325894>.

¹⁷ См., например, записи украинского священника Федора (фамилия не указана) в гостевой книге сайта «Вертоград»:

<http://www.narod.ru/guestbook/index.xhtml?owner=3326763&c=3>,

<http://www.narod.ru/guestbook/index.xhtml?owner=3326763&c=2>,

<http://www.narod.ru/guestbook/?owner=3326763>.

1.3. Белорусская православная церковь (= БПЦ МП). В подавляющем большинстве православных храмов Белоруссии богослужение ведется на церковнославянском языке. Однако¹⁸ с 1997 г. по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего экзарха всея Беларуси, в Свято-Петро-Павловском соборе г. Минска совершаются отдельные богослужения на белорусском языке¹⁹. А именно: 1) по средам — молебен за белорусский народ с акафистом Виленским мученикам Иоанну, Антонию и Евстафию²⁰, 2) по субботам — литургия²¹ (включая 3-й и 6-й часы и молитвы благодарственные после причащения), а также молебен и панихида²². Кроме того, по желанию прихожан на белорусском языке совершаются требы (крещение, венчание, отпевание).

Переводы богослужебных текстов осуществляются в рамках деятельности Библейской комиссии Белорусской православной церкви ответственным секретарем этой комиссии протоиереем Сергием Гордуном. К настоящему времени переведены утренние и вечерние молитвы, последование к причащению, благодарственные молитвы после причащения, великая вечерня, литургия святителя Иоанна Златоуста, молитвы перед исповедью, последование обручения и венчания. Из книг Священного Писания переведено Евангелие (причем особо издано служебное Евангелие) и Деяния апостолов, ведется работа над переводом соборных посланий.

«Основным инициатором переводов богослужебных текстов, — пишет Т. А. Матрунчик, член Библейской комиссии БПЦ, — и

¹⁸ Приводимые далее сведения о служении на белорусском языке и о переводах богослужебных текстов на белорусский язык любезно предоставлены нам членом Библейской комиссии Белорусской православной церкви, сотрудником издательского отдела Братства в честь Виленских мучеников Татьяной Алексеевной Матрунчик (письмо от 31.03.2008).

¹⁹ О потребности в белорусских переводах богослужебных текстов см. [Гордун 2008].

²⁰ При храме действует братство в честь этих святых.

²¹ Перевод на белорусский язык литургии святителя Иоанна Златоуста см.: <http://churchby.info/bel/68>.

²² См. тж. расписание богослужений на сайте собора: http://www.sppsobor.by/SPPS_pages/Sobor_life/Modern/different/time_table.html.

активным участником регулярных богослужений на белорусском языке является Братство в честь Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, которое действует при Свято-Петро-Павловском соборе г. Минска. Хор Братства с самого начала принимает участие во всех белорусскоязычных богослужениях в соборе. И следует отметить, что певческий опыт Братского хора постепенно распространяется: регулярно совершаются богослужения на белорусском языке в Гродно, в Витебске, в некоторых храмах Минска. Братство является также и основным издателем текстов на белорусском языке»²³.

Как видно из вышеизложенного, отношение к богослужению на белорусском литературном языке в Белоруссии принципиально иное, нежели в России. Несомненно, этому способствует то обстоятельство, что белорусский литературный язык, минимально дистанцируясь от диалектов, весьма далек (в противоположность русскому литературному языку) от церковнославянского языка, который оказывается малопонятен большинству белорусов. Еще одним весомым фактором, как кажется, является осязаемое присутствие в Белоруссии католической церкви, которая с 1960-х гг. (после II Ватиканского собора) активно практикует служение на национальных языках.

1.4. Русская православная церковь за границей. После подписания Акта о каноническом общении 17 мая 2007 г. Русская православная церковь за границей (РПЦЗ), еще недавно именовавшаяся многими представителями РПЦ МП Карловацким расколом²⁴, вошла в состав РПЦ на правах широкой автономии. Образованная русскими эмигрантами первой волны, РПЦЗ всегда стремилась сохранить русскую культурную традицию, поэтому вопрос о переводе богослужения на русский язык в данной юрисдикции не стоит. Вместе с тем в РПЦЗ ограничено практикуется служение на европейских языках.

2. Архиепископия русских приходов в Западной Европе (= Западноевропейский русский экзархат). Эта юрисдикция, исторически восходящая к РПЦ (первым ее главой был митрополит Евлогий (Георгиевский)), в силу определенных причин оказалась в

²³ Письмо автору от 31.03.2008.

²⁴ См., например: «Часть румын в Канаде коснеет в Карловацком расколе» [Скурат 1994: 212].

составе Вселенского (= Константинопольского) патриархата. Как сказано в Заявлении Епарихального совета Архиепископии от 9 декабря 2004 г.²⁵, «Архиепископия больше не считает себя принадлежащей к “диаспоре”», поэтому «приходы русских эмигрантов, где службы идут на их родном языке (имеется в виду церковнославянский язык; отсюда видно, что вопрос о богослужении на русском языке на повестке дня не стоит. — *Ф. Л.*), сосуществуют с многонациональными приходами, наряду с чисто западными приходами, где службы ведутся на языках стран, в которых они находятся»²⁶. Приходы Архиепископии находятся «главным образом во Франции, но также и в Бельгии, Голландии, Германии, Норвегии, Швеции, Италии, а с недавнего времени и в Испании»²⁷.

3. Болгарская православная церковь. Можно сказать, что в Болгарской православной церкви проблема литургического языка в целом решена – и решена удачно²⁸. В настоящее время в большинстве храмов Болгарии за богослужением можно услышать как церковнославянский, так и болгарский язык, причем распределяются эти языки, как правило, следующим образом: то, что читается (и прежде всего — Священное Писание, т. е. Евангелие, Апостол и паремии), читается по-болгарски, то, что поется, — по-церковнославянски. Такой способ сосуществования двух языков объясняется прежде всего тем обстоятельством, что на болгарский язык практически не переведена гимнография (Минея, Октоих, Триодь): как и в XVIII–XIX вв., в наши дни в болгарских храмах используются русские издания этих богослужебных книг.

Описанное положение в отдельных случаях нарушается: так, по словам некоторых болгарских клириков и мирян, в Софии имеются храмы, где богослужение совершается исключительно на национальном языке; в то же время существуют приходы, где

²⁵ <http://www.exarchat.eu/spip.php/article30>.

²⁶ Официальный сайт Архиепископии, раздел «Ситуация сегодня»: <http://www.exarchat.eu/spip.php?article548>.

²⁷ Там же.

²⁸ Обсуждение языковой проблематики в Болгарской православной церкви см., например: [Антонов 2000; Николов 2000; Антонов 2000а; Величков 2005; Енев 2005] и др.

преобладает церковнославянский язык (однако Писание везде читается по-болгарски).

Формальное решение о возможности и желательности служения на болгарском языке принял IV Церковно-народный собор (2 – 4 июля 1997 г.), постановив: «Поощрять использование современного болгарского языка в богослужении» (п. 21 «Решений...»)²⁹. Однако реальное использование этого языка в богослужебной практике относится, вероятно, к значительно более раннему времени³⁰. Так, служебное Евангелие на болгарском языке было напечатано в г. Русчук священником Ненчо Несторовым еще в 1865 г. В 1908 г. Охридский митрополит Борис издал в Константинополе Требник на болгарском языке, а в 1910 г. — Служебник с параллельными церковнославянским и болгарским текстами. В 1925 г. после двадцатилетней работы над переводом увидело свет так называемое Синодальное издание Библии. В последующие годы выходят и другие богослужебные книги: Апостол, Паремийник, Часослов, Малый Требник, Служебник. Практически исключительно на болгарском языке издаются молитвословы и акафистники. Как уже отмечалось, непереверенными остаются наиболее значительные по объему книги — Минея, Октоих, Триодь (Постная и Цветная), существенная часть Большого Требника.

4. Сербская православная церковь. Ситуация в Сербской церкви во многом аналогична положению дел в Болгарии, с той лишь разницей, что сербский язык эпизодически начинает проникать в богослужебную практику еще с XIX в., постепенно упрочивая свое положение в течение первой половины XX в.; с середины 1960-х гг. сербский язык становится полноправным литургическим языком Сербской православной церкви наряду с церковнославянским. «Сегодня сербские священники пользуются полной свободой выбора богослужебного языка, — отмечает профессор Белградского универ-

²⁹ <http://bulch.tripod.com/boc/reshenia.htm>. Я благодарен за эту ссылку моему коллеге, преподавателю Московской духовной академии В. В. Буреге.

³⁰ Излагаемое далее в пределах абзаца основывается преимущественно на сведениях, предоставленных нам протоиереем Людмилом Спасовым (София) (электронное письмо автору от 29.03.2008).

ситета Ксения Кончаревич, — так что в некоторых храмах текст молитвословий произносится на сербском, а за клиросом поют по-славянски (т. е. по-церковнославянски. — *Ф. Л.*), в других слышится только славянский, в третьих текст молитв произносится попеременно на обоих языках под церковнославянское пение, в четвертых пытаются и петь по-сербски (для многих песнопений, преимущественно из Миней и Октоиха, все еще не существует переводов на современный язык). Предпочтение того или иного решения во многом обуславливается конкретными условиями, т. е. зависит от специфических местных особенностей и характеристик среды: так, в диаспоре и в местах с многонациональным составом населения служат преимущественно по-сербски, в духовных школах и в монастырях — преимущественно по-славянски. Выбор языка зависит и от характеристик конкретной структурной части богослужения: элементы с ярко выраженной дидактической функцией — апостольское и евангельское чтение, а также совместные моления — произносятся преимущественно на сербском языке, тогда как элементы с функцией величания, возношения хвалы — антифоны, изобразительные псалмы, тропари, кондаки, богослужебные гимны — главным образом остаются на церковнославянском языке» [Кончаревич 2003]³¹.

5. Польская православная церковь. Эта поместная церковь ведет свою историю с 1920-х гг. Поскольку она образовалась путем отделения от РПЦ, то исторически ее основным богослужебным языком является церковнославянский, однако в настоящее время в качестве литургических используются и другие языки — в первую очередь, естественно, польский. Чтение — или повторение — Священного Писания по-польски является давней и широко распространенной практикой; немало храмов, в которых на национальном языке служитя литургия (например, в Варшаве, Вроцлаве и др.). Что касается других служб (прежде всего, всенощной), то в последние

³¹ См. также: *Кончаревич К.* Социоллингвистические аспекты церковнославянского языка сегодня / Интернет-публикация: <http://www.russian.slavica.org/article106.html>.

несколько лет ускорилась работа по переводу корпуса основных богослужебных книг на польский язык³², что, вероятно, позволит заинтересованным приходам в ближайшем будущем перейти полностью на польское богослужение³³.

Наряду с церковнославянским и польским в храмах Польской православной церкви используется и украинский (в частности, в одном из двух православных храмов Вроцлава)³⁴.

В состав поместной Польской православной церкви с недавнего времени входит автономная Португальская православная церковь, богослужение в которой ведется на португальском языке.

6. Православная церковь Чешских земель и Словакии. В этой поместной церкви, которая была изначально образована чехами, обратившимися в православие из католичества, уже с последней четверти XIX в. стали выполняться переводы богослужебных текстов на чешский язык. Так, «в 1885 году к 1000-летию преставления святого Мефодия была издана литургия святого Иоанна Златоуста (параллельный церковнославянский и чешский текст), в 1888 году — литургия святого Василия Великого и акафисты Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, в 1889 г. — великий канон святого Андрея Критского. Все эти переводы были выполнены протоиереем Николаем Апраксиным, служившим настоятелем Никольского (русского — Ф. Л.) храма с 1882 по 1901 гг.» [Бурега 2004: 251–252]. В последующие десятилетия были переведены и многие другие богослужебные тексты. В 1933 г. вышел в свет «Народный сборник молитв и богослужебных песнопений Православной Церкви», автором которого был священномученик Горазд, епископ Моравский (1879 – 1942). Фактически эта книга, получившая в народе название «Гораздов сборник», и по сей день является основной богослужебной книгой Православной церкви в Чешских землях [Там же: 259].

³² См. <http://community.livejournal.com/ustav/191174.html/thread=3319750#t3319750> и дальнейшее обсуждение.

³³ См., например, о служении по-польски в одном из православных приходов Варшавы: <http://community.livejournal.com/ustav/191174.html/thread=3331014#t3331014>.

³⁴ <http://pritor.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=2646&view=findpost&p=41294>.

В настоящее время в литургической практике употребляются как чешский (в Чехии) и словацкий (в Словакии), так и церковнославянский язык. При этом церковнославянский язык востребован почти исключительно эмигрантами из бывшего СССР (которые в настоящее время составляют едва ли не большинство прихожан православных чешских и словацких храмов), в то время как чехи (словаки) посещают чешское (словацкое) богослужение.

В Праге в кафедральном соборе святых Кирилла и Мефодия служат преимущественно на чешском, но иногда некоторые возглашения или молитвы читаются на церковнославянском (а в воскресенье и на греческом, и даже на английском).

Н. И. Толстой [Толстой 1996], ссылаясь на Ф. Мареша, указывает, что помимо церковнославянского языка русского извода в Чехии также используется церковнославянский чешского извода, «оформленного научным путем в 1972 г.». Мы не располагаем какими-либо данными относительно употребления этого извода в Чехии в настоящее время.

* * *

Как видно из вышеизложенного, наибольшим консерватизмом отличается ситуация в РПЦ МП: основным богослужебным языком здесь является церковнославянский (наряду с некоторыми языками народов России), попытки же ставить вопрос о русском богослужении воспринимаются большинством мирян и значительной частью клира крайне болезненно и являются небезопасными для вопрошающих. В УПЦ МП, которая на глазах все более обособляется, церковнославянский язык также является основным, при этом служение на национальном языке осознается как важная, но еще не решенная задача. Сходное положение дел в Белоруссии; впрочем, здесь литургическое употребление белорусского языка уже опробовано при официальном, внятном одобрении и поддержке священноначалия. Что касается РПЦЗ, а также Западноевропейского экзархата, то в этих юрисдикциях, образованных русскими эмигрантами, практикуется служение на европейских языках, вопрос же о русском языке на повестке дня не стоит.

В Болгарии и Сербии, где в конце первого — начале второго тысячелетия укоренился церковнославянский язык соответствующих изводов, вытесненных в последствии изводом русским, церковно-

славянский уже в течение нескольких десятилетий сосуществует в богослужении с национальными литературными языками. Можно сказать, что вопрос о литургическом языке в Болгарской и Сербской православных церквях не представляет проблемы, поскольку в целом он уже решен.

В Православной церкви Чешских земель и Словакии и в Польской православной церкви используются как церковнославянский язык, так и национальные литературные языки — чешский, словацкий, польский, а также (в Польше) — украинский и белорусский. В противоположность ситуации у южных славян, где церковнославянский и болгарский, церковнославянский и сербский, как правило, чередуются в рамках большинства служб, в западнославянских странах разделение по языкам соотносится с национальной принадлежностью верующих: этнические украинцы, русские и белоруссы обычно предпочитают церковнославянское богослужение, в то время как чехи, словаки и поляки выбирают служение на родном языке.

Можно предположить, что в ближайшее время в православном богослужении усилится роль национальных славянских языков — в первую очередь, белорусского и украинского, а также польского, но не исключено, что и русского. Церковнославянский же язык, оставаясь где основным, а где и второстепенным литургическим языком, будет по-прежнему востребован в православной церкви; наилучшие перспективы у него, как нам представляется, в России (подробнее см. [Людоговский 2007]).

Литература и источники текстов

Антонов 2000 — Антонов Н. На какъв език се моли българинът? / Интернет-публикация // Сайт «Култура». 21.04.2000. — http://www.online.bg/kultura/my_html/2126/ezik.htm.

Антонов 2000а — Антонов Н. Плодът на словото е ползата за слушателите / Интернет-публикация // Сайт «Култура». 09.06.2000. — http://www.online.bg/kultura/my_html/2133/bogosl.htm.

Балашов 2001 — Балашов Н., *прот.* На пути к литургическому возрождению. М., 2001.

Богослужебный язык 1999 — Богослужебный язык Русской Церкви: История. Попытки реформации. М., 1999.

Бурега 2004 — *Бурега В. В.* Особенности богослужебной жизни Православной Церкви в Чешских землях // *Церковь и время*. 2004. № 4. С. 250–269.

Величков 2005 — *Величков А., свец.* Светский и церковный болгарский язык / Интернет-публикация // Сайт «Двери на Православието». — <http://www.dveri.bg/content/view/288/126>.

Гордун 2008 — *Гордун С., прот.* Почему сегодня нужно богослужение на белорусском языке? / Интернет-публикация // Христианский молодежный портал «DubUs». http://www.dubus.by/modules/sections/index_op_viewarticle_artid_421.html.

Дворкин 1994 — *Дворкин А. Л.* Современные Православные Церкви (справка) // *Альфа и Омега*. 1994. № 1. С. 108–115.

Десницкий 1998 — *Десницкий А. С.* Богослужебный язык Российской Церкви // *ХРИСТИАНОС*. VII. Рига, 1998. С. 203–236. (Интернет-публикация: Сайт «Киевская Русь». <http://www.kiev-orthodox.org/site/worship/1120>.)

Дудченко 2006 — *Дудченко А., свец.* Пять слов умом или тысячу языком? / Интернет-публикация // Сайт «Православие в Украине». 09.10.2006. — http://orthodoxy.org.ua/ru/redaktsiyна_kolonka/2006/10/09/3920.html.

Енев 2005 — *Енев Д.* Да се модернизира ли езикът на богослужението? / Интернет-публикация // Сайт «Сева». 06.12.2005. — <http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2045§ionid=5&id=0001601>.

Кончаревич 2003 — *Кончаревич К.* Дискуссии о богослужебном языке в Сербской православной церкви: исторический обзор и современное состояние / Интернет-публикация // Сайт «Балканская русистика». — <http://www.russian.slavica.org/article217.html>.

Косик, Темелски, Турилов 2002 — *Косик В. И., Темелски Хр., Турилов А. А.* Болгарская Православная Церковь // *Православная энциклопедия*. Т. V. М., 2002. С. 615–643.

Кравецкий, Плетнева 2001 — *Кравецкий А. Г., Плетнева А. А.* История церковнославянского языка в России (конец XIX–XX в.). М., 2001.

Людоговский 2007 — *Людоговский Ф. Б.* Взаимодействие и взаимовлияние церковнославянского и русского языков в конце XX – начале XXI вв. // *Межъязыковое влияние в истории славянских литературных языков и диалектов: социокультурный аспект*. М., 2007. С. 351–374.

МЕ 2001 — *Житие преподобной Марии Египетской, читаемое Великим постом в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре*. Сергиев Посад: Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001.

Никодим 1996 — *Никодим (Руснак), митр.* Сборник служб и акафистов. Харьков, 1996.

Николов 2000 — *Николов П.* Езикът на православния е езикът на любовта / Интернет-публикация // Сайт «Култура». 09.06.2000. — http://www.online.bg/kultura/my_html/2133/bogoezik.htm.

Реморов 2007 — *Реморов И., диак.* Практическая аксиология церковнославянского языка // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2007. Вып. 3 (9). С. 23–32.

Саенко 2007 — *Саенко А.* Великий канон зазвучит на понятном языке / Интернет-публикация // Информационное агенство «Бел.гу». 19.02.2007. — <http://www.bel.ru/news/culture/2007/02/19/22888.html>.

Скурат 1994 — *Скурат К. Е.* История Поместных Церквей. Т. 2. М., 1994.

Службник 2004 — *Службник.* М.: Издательский совет Русской православной церкви, 2004.

Толстой 1996 — *Толстой Н. И.* Предисловие // *Плетнева А. А., Кравецкий А. Г.* Церковнославянский язык. М., 1996.

Успенский 2002 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). М., 2002.

Язык Церкви 1–3 — *Язык Церкви.* Вып. 1. М., 1994. Вып. 2. М., 1994. Вып. 3. М., 2004.

Г. П. Нецименко

**К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЫ
(на материале сопоставления русского и чешского языков)**

Исходные посылки

Вторая половина XX столетия ознаменовалась важными изменениями в сфере общезнающей публичной коммуникации, существенно повлиявшими не только на состояние современной литературной нормы, но и определившими потенциальную направленность ее дальнейшего развития. Мы имеем в виду, прежде всего достижения научного прогресса, обусловившие кардинальное изменение технической оснащенности коммуникации как внутри социума, так и за его пределами. Особенно значимым стало появление электронных СМИ, прежде всего радио и телевидения, а также Интернета, способствовавших максимально широкому охвату аудитории, обеспечивших ускоренное прохождение по каналам коммуникативной связи, по сути, безграничного по своему объему информационного потока. Все это, взятое вместе, радикально изменило существующие представления о временных и пространственных параметрах общения, сделав реальностью, возникновение единого внутриэтнического и межэтнического коммуникативного пространства, в рамках которого осуществляется информационное, межкультурное и межъязыковое взаимодействие.

Использование электронных средств связи поставило ученых перед необходимостью оперативного решения целого комплекса задач теоретического и прикладного характера. Речь шла при этом не только о подборе языкового обеспечения, необходимого для насыщения коммуникативных каналов семантически емкой и одновременно компактной информацией. Важно также было определить направленность динамики речевого стандарта публичного общения, соотнести его с традиционной нормой литературного языка, а в

случае необходимости внести в нее те или иные коррективы. Серьезной задачей являлось и установление лингвистического статуса и степени публичности новых разновидностей компьютерного общения.

Динамика речевого стандарта публичной вербальной коммуникации обуславливается действием *комплекса* факторов, в число которых, помимо информационно-коммуникативных, входят также социолингвистические и собственно языковые. Что касается информационно-коммуникативной составляющей, отражающей достижения мирового научно-технического развития, то ее рефлекс в языках разных этносов практически сходны.

Иначе обстоит дело с двумя другими составляющими. Так, данные сопоставительного анализа позволяют говорить о вариативности наблюдаемой картины, наличии не только межъязыковых схождений, но и расхождений. Причина этого во многом коренится в специфике развития конкретных этнических языковых ситуаций, а также в своеобразии закономерностей сравниваемых языковых систем. Тем не менее, системно-функциональная и типологическая близость славянских языков, сходство экстралингвистических импульсов, играющих роль своеобразного катализатора языковых процессов и т. д., способствуют развитию в них *конвергентных* тенденций, которые, однако, в тех или иных языках могут развиваться с *различной* скоростью (Neščimenko 2004). Так, в чешском языке использование средств словообразования является более масштабным и регулярным, чем в русском. Мало того, некоторые фрагменты русской словообразовательной системы развиваются по сравнению с чешской с известным запозданием. Однако в целом, как будет показано ниже, общая направленность эволюции деривационных систем является *однонаправленной*.

Расхождения могут наблюдаться и в реализации социолингвистической составляющей. Так, при общей активизации влияния разговорного языка¹ на узус публичной коммуникации заметна

¹ Понятие «разговорный язык» в нашем понимании является комплексным. Оно объединяет достаточно широкий спектр идиомов, используемых при непринужденном повседневном общении: от территориальных

избирательность при выборе конкретных разговорных манифестаций. Для чехоязычного социума наиболее актуальными являются, например, включения из обиходно-разговорного идиома *obecná čeština*, имеющего весьма высокий социолингвистический статус (язык Праги, а также среднечешского региона в целом, с выходом в западную Моравию). Несмотря на то, что это позволяет смягчить присущий чешскому языку разрыв между литературным и разговорным узусом, попытки «легализации» этих включений в литературной норме вызывают весьма жаркие споры².

В условиях функционирования современного русского языка по вполне объективным причинам весьма активны его *сленговые* манифестации: молодежный, профессиональный, но, прежде всего, что производит особенно удручающее впечатление — криминальный жаргон³. Что касается использования в узусе русской публичной, в том числе и компьютерной речи включений из так называемого «просторечия», то их численность в целом незначительна — в большинстве своем это нарочитое воспроизведение их орфоэпических особенностей типа *щас; ваще* и пр.

Таким образом, при общем сходстве направленности изменения речевого стандарта наблюдаются и немаловажные различия, касающиеся скорости развертывания этого процесса в разных языках, масштабов его влияния, характера «задействованных» манифестаций разговорного языка.

диалектов по формирующийся субстандарт (т. е. общеэтническую разговорную речь) включительно.

² Данный идиом широко используется в художественной, т. е. не исконной, диалогической речи в кино, театре и пр. Существуют и написанные на нем тексты художественных произведений (ср. *P. Hůlová. Přes matný sklo. Praha, 2004* и т. д.). Известны, впрочем, и случаи написания художественных текстов на территориальных диалектах. Следует, однако, отметить, что в повседневном непринужденном общении норма идиома *obecná čeština* чаще всего не соблюдается последовательно — обычно мы имеем дело со смешанными текстами.

³ Тенденция активизации использования жаргонной лексики (молодежного сленга, сленга наркоманов и т. п.), отмечается и в чешском публичном узусе, однако масштабы ее проявления все же не столь значительны.

Сказанное делает перспективным рассмотрение проблемы эволюции речевого стандарта в *сопоставительном* плане, позволяя проследить, с одной стороны, разные фазы развертывания одного и того же процесса; с другой, что также весьма важно, выявить взаимосвязь между конкретной языковой ситуацией и направленностью динамики речевых норм. Заметим, что при сопоставительном изучении узуса *различных* генераций носителей одного и того же языка можно наблюдать одновременное сосуществование разных речевых стандартов. В связи с этим для достоверности типологических обобщений желательным сочетать синхронный и диахронный подходы [Нецименко 1983; Нецименко 1999 а].

При рассмотрении интересующего нас круга проблем будет использован *коммуникативный* подход, примененный нами ранее при изучении функциональной дифференциации этнического языка [Нецименко 1999; Нецименко 2003, а также другие работы].

Его суть вкратце состоит в том, что строение *вербального* пространства рассматривается как бы *извне*, через проекцию коммуникативного континуума на континуум языковой. Соответственно структура этнического языка моделируется не как монолитная, иерархически организованная *моносистема с единственной* функциональной доминантой в виде литературного языка (общепринятая стратификационная концепция), а как система *бинарного* строения, состоящая из двух автономных, равноценных и равнообязательных подсистем (ареалов⁴): языковое обеспечение высших коммуникативных функций, или цивилизационного общения (ВКФ) и непринужденного повседневного общения (НПО). Границы обеих подсистем, каждая из которых имеет свой центр и периферию, проницаемы, поэтому их компоненты взаимодействуют друг с другом, подтверждением чего является существование «смешанных» текстов.

Важнейшим дифференциальным признаком обеих подсистем, вычленяемых в составе общего корпуса системы этнического языка, является *тип речевого поведения*: для первого ареала характерно *регулируемое* речевое поведение; для второго — речевое поведение *нерегулируемое* или же с *ослабленной* регулируемостью. Ср. у

⁴ Ареал представляет собой максимально обобщенную единицу членения как коммуникативного, так и языкового пространства.

Л. В. Щербы: «Сознательность обыденной разговорной (диалогической) речи в общем стремится к нулю» [Щерба 1974: 25].

В качестве регуляторов речевого поведения используются:

а) *внешняя языковая цензура*, т. е. коррекция речевого поведения, осуществляемая *извне*, главным образом, *институционально*, например, через редакторов, стилистов, корректоров и пр., на практике реализующих языковую политику, в том числе и кодификацию. Ее проведение, однако, возможно и на *индивидуальном* уровне (воздействие родителей, собеседников и пр., указывающих на речевые ошибки);

б) *автоцензура*, т. е. *самоконтроль (автокоррекция)* своего собственного речевого поведения, что на практике проявляется в селекции самим индивидуумом употребляемых им вербальных средств, в исправлении допущенных им ошибок, в использовании определенной коммуникативной стратегии, языковой игры, речевых масок и пр. Этот вид коррекции текста представляется нам чрезвычайно важным, так как он свидетельствует об ответственности автора текста, его речевой самодисциплине. Эффективность использования этого регулятора, однако, полностью зависит от уровня языковой компетенции самого индивидуума.

Для генерирования корректного с точки зрения языковой правильности текста оптимальным является *комплексное* использование обоих видов регуляторов, что на практике бывает далеко не всегда. Так, для современного публичного вербального узуса характерно *снижение* использования внешней коррекции. Во многом это обуславливается уменьшением авторитета кодификационных предписаний и кодификационной деятельности в целом⁵. В силу этого

⁵ Регулирование речевого поведения отнюдь не всегда предполагает его обязательное «олитературивание». Дело в том, что идиомная манифестация в обоих ареалах является, *множественной*, а значит и языковые предпочтения, зачастую обусловленные уровнем индивидуальной языковой компетенции, не могут быть *жестко предопределенными*. Так, определенная часть пользователей этнического языка не владеет или же не владеет уверенно литературным идиомом. По этой причине в текстах, предназначенных для публичного общения (ареал ВКФ), они используют не центральный, т. е. литературный, идиом, а какой-то другой, по их представлениям,

речевая корректность текста зачастую зависит лишь от автокоррекции, уровень которой в силу специфики языковой компетенции индивидуума может оказаться недостаточно высоким. Возможность отрицательных последствий подобной диспропорции для речевой культуры социума в целом предсказать не трудно.

Оппозиция *«регулируемое — нерегулируемое речевое поведение»* принадлежит к числу новых, ранее не применявшихся операционных приемов. Она входит в состав комплексной методики изучения проблемы языковой ситуации, используемой в наших работах. Данная дихотомия, как нам представляется, является эффективным исследовательским приемом, который может быть использован при рассмотрении широкого спектра вопросов, в том числе и при выявлении актуальных тенденций в сфере современной языковой культуры и т.д.

В свете названной выше оппозиции мы постараемся рассмотреть и стоящую перед нами проблему эволюции нормативной основы литературного языка второй половины XX — начала XXI в. Однако прежде уточним, что, с нашей точки зрения, литературный язык является *единственным* (по крайней мере, на данном этапе этнического развития) идиомом, который может выполнять ответственную миссию — служить средством языкового обеспечения *общезначеской* публичной коммуникации.

* * *

Во второй половине XX столетия в узусе публичной вербальной коммуникации наметились изменения, вступающие в противоречие с традиционными представлениями о речевом стандарте этой престижной сферы коммуникации. Коллизия заключалась в том, что речевое поведение в медиальной сфере, обычно воспринимаемое социумом как *эталонное*, стало восприниматься как нарушение норм речевого этикета.

В данной статье мы попытаемся проанализировать как факторы, обуславливающие происходящие изменения, так и их возможные последствия.

«статусный», разговорный идиом, например, интердиалект по отношению к диалекту и пр. (подробнее см. [Нецименко 1999; Нецименко 2003]).

Сразу же оговоримся, что сам факт изменения речевого стандарта не является чем-то из ряда вон выходящим, тем более что в языковом отношении данная сфера общения весьма динамична. Она отражает процессы, развертывающиеся в этнической языковой ситуации в целом. Так, в частности, характерный для современной эпохи пересмотр речевого стандарта в направлении его массовизации, усреднения (см. ниже), а порой и огрубления, в сущности, становится языковой универсалией. Иными словами, речь идет о *конвергентном* языковом развитии, характерном для современной цивилизации вообще. Во многом здесь сказывается действие сходных экстралингвистических, информационно-коммуникативных, факторов, к числу которых относятся и мощные интеграционные процессы, развивающиеся как во внутритническом, так и межэтническом языковом пространстве. Этому немало способствуют и достижения научно-технического прогресса, в том числе глобальные компьютерные сети, узус которых открыт для межъязыкового и междидомного влияния.

* * *

Важнейшим феноменом, наблюдаемым в речевом узусе ареала ВКФ (*регулируемое* речевое поведение), является *смена нормотворческой основы литературного языка*. Если раньше ориентиром при установлении литературной нормы был узус произведений художественной литературы, причем периодизация литературной нормы ставилась в зависимость от характера художественного метода (ср. изменение стилистики, а соответственно и принципов отбора языковых средств в текстах, относящихся к разным художественным направлениям: классицизму, сентиментализму, романтизму, реализму и т. п.), то ныне акцент сместился на язык СМИ. Большое внимание этой проблеме уделяет в своих работах известный чешский ученый А. Едличка [ср.: Jedlička 1974].

Подобная «переориентация» критериев установления литературной нормы была вполне закономерным явлением, так как в произведениях художественной литературы, как правило, преобладает установка на эстетическое самовыражение личности, творца, а отнюдь не ориентированность на конкретного, а тем более массового адресата. В определенном смысле можно даже говорить об индифферентности автора к тому, как будет воспринято современным

массовым читателем его произведение, найдет ли оно в нем своего почитателя, либо, напротив, выпав из культурного контекста данной эпохи, станет достоянием лишь будущих поколений. По своей сути, культура изначально является феноменом индивидуальным и элитарным, а не массовым, ориентированным на «усредненного» адресата)⁶ [ср.: Нецименко 2000].

Узус электронных СМИ, занявших доминирующее положение в системе этнической коммуникации второй половины столетия, начал оказывать определяющее влияние на формирование стереотипов публичного речевого поведения. Таким образом, именно медиальный язык — а не язык произведений художественной литературы — стал играть роль эталонного, *нормотворческого* фактора, в том числе и при формировании нормы современного литературного языка.

Ниже мы выборочно остановимся на некоторых функциональных особенностях СМИ (прежде всего устных), существенных для динамики речевого стандарта в сфере публичной коммуникации:

Прагматичность и адресность языка СМИ

Вербальное обеспечение медиальных средств тесно связано с их целевой установкой: используя каналы коммуникативной связи, не только донести (по возможности без потерь) информацию до максимально широкой аудитории, но и оказать на потенциального адресата эмоциональное, психологическое, идеологическое и пр. воздействие с тем, чтобы привлечь его на свою сторону.

⁶ Ср. у М. Бахтина: «Здесь не лишне еще раз подчеркнуть, что мы все время имеем в виду слушателя как имманентного участника художественного события, изнутри определяющего форму произведения. Этот слушатель является, наравне с автором и героем, необходимым внутренним моментом произведения и отнюдь не совпадает с так называемой «публикой», находящейся вне произведения, художественные требования и вкусы которой можно сознательно учитывать. Такой сознательный учет неспособен непосредственно и глубоко определить художественную форму в процессе ее живого создания. Более того, если этот сознательный учет публики займет сколько-нибудь серьезное место в творчестве поэта, — оно неизбежно утратит свою художественную чистоту и деградирует в низший социальный план» [Волошинов 1995: 26].

Для успешного выполнения этого коммуникативного намерения необходимо, чтобы передаваемая информация была *адресной* как по характеру сообщаемой информации, так и по ее языковому воплощению. Это значит, что она должна быть доступной для потенциального массового, общенационального адресата, без чего коммуникативное и речевое взаимодействие адресанта и адресата не будет достигнуто. В итоге неизбежно возникнут нежелательные информационные и коммуникативные потери и сбои.

Указанная прагматичность и адресность особенно бросается в глаза, когда тот или иной информационный канал (или же информация) ориентирован на какой-то определенный социальный или же генерационный слой — чаще всего это молодежные программы или же специальные молодежные радиостанции и т. п. Яркой иллюстрацией сказанного является, например, газета «Московский комсомолец», где довольно часто копируется молодежный сленг; ср.: *Как и предполагалось, все оттянулись на полную катушку. К сожалению, это был не обычный турный концерт, в ходе которого пил накрывает цунами из жутких спецэффектов. Тем не менее фэнам за их денежки более, чем внятный звук обеспечили.* Московский комсомолец, 1999.

Ориентированность на *массового* адресата, а также на создание *единого общенационального* коммуникативного и культурного пространства изначально предполагает *снижение* языковой «планки» коммуниката, сближение его с массовым узусом, что не может не отражаться на речевом стандарте. Учитывая это, какие бы то ни было речевые «изыски», равно как и злоупотребление специальной терминологией или же неосвоенными заимствованиями в медийных средствах, особенно устных, попросту не уместны, так как адресат либо не воспримет информацию, либо она дойдет до него со значительными потерями и искажениями. Заметим, что заимствования могут проникать в литературный узус и через некоторые социолекты (молодежный жаргон или же, например, новый вид сленга системных операторов, пользователей электронной почты и т. п.).

Массовый приток иностранных слов, прежде всего англицизмов, ставший одной из сопутствующих примет культурно-экономической интеграции, является порой настоящим бедствием; ср.: *Спринтеры начали кататься на клабах (слэп-скейтах).*

Новая газета, 1999, интервью, речь собеседника (в тексте дается пояснение: *слэп-скейты, новые коньки*); *Целый год крутится колесо по промоушену фильмов, претендующих на мировой прокат*. Там же, 1999, интервью, речь собеседника; *Люди, которым по определению ничего не светит в политике, делают себе промоушн*. Там же, 1999, рецензия, авторская речь. В последнем случае примечательно различное воспроизведение одного и того же заимствования, т. е. с большей или же меньшей степенью приближенности к языку-источнику и соответственно с большим или же меньшим удалением от фонетических особенностей воспринимающего языка: *промоушен/промоушн*.

Возможные негативные последствия использования неосвоенных заимствований особенно очевидны в устных СМИ, поскольку слушатель при мгновенном восприятии текста может просто не понять смысл, тем более, когда заимствование воспроизводится в не свойственной русскому языку огласовке (например, со скоплением согласных в исходе слова): *никакого э к ш н а*. Эхо Москвы, 2000, кинорецензия (ср. в чешском более адаптированное воспроизведение: *akční film*). Ср. в письменных текстах: *Нужен был «э к ш н»*. *Андрей Кивинов как-то спросил: Э к ш н — это когда стреляют?* Новая газета, 2000, рецензия, речь как автора, так и собеседника.

Признавая, что медиальный язык должен быть ориентирован на *массовую, общенациональную*, а отнюдь не элитарную языковую компетенцию, мы должны учитывать, что и адресат в результате действия обратной связи начинает принимать усредненный речевой узус за *эталон* публичного речевого поведения.

Изменению речевого узуса способствовала и произошедшая генерационная ротация журналистов, модераторов передач и т. д., которые привнесли с собой навыки более экспрессивного узуса, использование включений из сленга, заимствований, в первую очередь англицизмов и т. п. Ср. примеры из речи чешских модераторов: *aby to pivo mělo správněj šmak*; *šlo to rychlejš*; *posluchači tě pozdravují*; *ten projekt je strašně širakejš*; *jak to má být*; *dávejte bacha*; *číslo telefonu, na které se můžou (исправляет: mohou) obrátit*; *zaflíkovat dlažbu asfaltem* и пр.

Отмечавшаяся выше усредненность, массовизация речевого узуса СМИ варьируется в зависимости от жанровых особенностей

текста (новостные программы, комментарии, литературные или же театральные рецензии и обзоры, диалоги со слушателями/ зрителями по телефону или же в прямом эфире, анонсы, рекламы и т.п.). Наиболее заметна эта тенденция, разумеется, языке рекламы, представляющем собой одну из специфических разновидностей массовой коммуникации, с отчетливо выраженной прагматичностью и адресностью. Заметим, что язык рекламы довольно точно отражает некоторые особенности современной языковой ситуации: по сути, это минитексты с четко обозначенной коммуникативной стратегией и довольно тщательно продуманным речевым поведением. Для имитации непринужденности общения, особенно в устной рекламе, нередко используется диалогическая речь (в том числе и с применением «ты-форм»). В письменной рекламе недостаток выразительных возможностей иногда компенсируется фиксацией интонационных особенностей устной речи; ср. текст настенной рекламы в г. Бенешов в Чехии, с радостью извещающей о скором выходе газеты (1997 г.): *Od září denně. Pohoda. K ó ó ó n e ě ě !: (С сентября ежедневно. Вот здорово! Наконец-то! — перевод наш. — Г.Н.)*⁷. Ср. радиорекламу («Эхо Москвы» 2000), предназначенную для молодежи: *Это МТС! У нас для вас хорошая новость! К л е в ы й молодежный тариф. Ваша т у с о в к а всегда на связи.*

Абсолютное преобладание устной трансляции информации в электронных СМИ

В основных манифестациях публичной коммуникации (радио, телевидение) преимущественно используется *устная* трансляция информации — феномен, названный нами «устнизацией». Для подобного вида общения характерно:

1. синхронизация коммуникативного и вербального контакта между адресантом и адресатом.

Важной особенностью устных СМИ является синюминутность, одномоментность коммуникативного контакта, т. е. информация воспринимается сразу, «с ходу». В отличие от письменного текста повторное востребование адресатом устного текста (для того, чтобы вникнуть в смысл сказанного, обратиться, наконец, к вспомогательным

⁷ Нечто подобное наблюдается в компьютерной диалогической речи.

средствам в виде словарей, справочников и пр.), как правило, невозможно. Исключение составляют случаи, когда один и тот же текст по каким-то причинам повторяется или же воспроизводится в записи. В силу этого вербальное оформление устного текста в СМИ должно быть настолько сближено с узусом предполагаемого адресата, с его языковой компетенцией, чтобы он мог его сиюминутно воспринять. Следствием этого является не только упрощение структуры текста в целом, но и используемого выразительного ряда. В противном случае может быть нарушен коммуникативный контакт и взаимодействие с адресатом. Сказанное неизбежно должно было бы служить ограничителем при использовании неосвоенных заимствований, профессиональной терминологии и пр.

2. ограниченность возможности вербальной коррекции продуцируемого и транслируемого текста.

По характеру речевой коррекции письменные и устные СМИ существенно отличаются друг от друга. Тексты письменных СМИ проходят или во всяком случае должны были бы проходить через *двойной* фильтр языковой коррекции: внешнее редактирование (внешняя языковая цензура) и автоцензура. Вряд ли следует ожидать, что соблюдение этих условий может полностью гарантировать появление корректного в языковом отношении текста, свободного от речевых ошибок, а также от не всегда оправданных иноидиомных включений, т. е. жаргонизмов, вульгаризмов и т. п. Что касается последних, то в письменном тексте они могут сопровождаться графическими сигналами, например кавычками, выделяться тем или иным видом шрифта и пр. Это делает их более заметными в общем речевом потоке и одновременно сигнализирует о некоторой дистанцированности от них автора. По мере освоения этой лексики надобность в подобных маркерах обычно отпадает.

В устных СМИ практически единственным вербальным регулятором является автоцензура (автокоррекция) речевого поведения, строгость которой в конечном итоге зависит от языковой компетенции говорящего (возможности подключения внешнего регулирования не только ограничены, но и не гарантируют итогового результата). В связи с этим для построения корректного с точки зрения литературной нормы устного текста (особенно при произнесении текста импровизированного) необходим более высокий уровень

ответственности говорящего, равно как и более высокий уровень его языковой компетенции, что на практике встречается далеко не часто.

Таким образом, строгость соблюдения литературной нормы в устном тексте изначально ниже, чем в письменном. Немаловажное значение имеет и психологический фактор. Так, при анализе текстов радио- и теледебатов (материалы Института чешского языка ЧАН) можно заметить, что по мере нарастания усталости собеседников эффективность речевого самоконтроля (наличие телевизионной камеры, микрофона) снижается, они начинают допускать больше погрешностей в литературной норме, у них все чаще проскальзывают элементы более привычного для них идиома *obecná čeština*.

Активизация речевого взаимодействия коммуникантов в электронном публичном общении

Технические возможности электронных СМИ делают возможной установление интеракции между адресантами и адресатами, которая может быть как *скрытой* (латентной), так и *явной, открытой*.

В письменных СМИ преобладает интеракция первого типа, она проявляется в прагматичном «усреднении» узуса, подстраивании его под узус предполагаемого адресата для устранения возможных коммуникативных и вербальных помех, которые могут воспрепятствовать установлению контакта между собеседниками.

В устных СМИ также доминирует латентная интеракция, однако по мере возрастающего осознания функциональной специфики медиальных средств, равно как и возможностей, открывающихся перед ними в результате освоения достижений научно-технического прогресса (телефонные опросы в прямом эфире, телемосты и пр.), постепенно усиливается значимость *интеракции открытой*, предполагающей активизацию участия адресата в качестве коммуникативного партнера. С появлением компьютерного общения стало возможным и электронное *диалогическое* общение [ср.: Нещименко 2005].

В результате установления речевого взаимодействия *однонаправленный* поток информации (адресант > адресат) может трансформироваться в *двунаправленный*: адресант > адресат; адресат > адресант), в котором оба участника коммуникативного акта могут меняться местами, функционально замещая друг друга. Соответственно

адресат из пассивного участника коммуникации может стать активным, генерируя текст, транслируемый публично; адресант, напротив, в определенной ситуации превращается в адресата, которому (вместе с массовой аудиторией) данный текст предназначен.

В указанной ситуации при «выведении в эфир» тиражируются речевые навыки обоих участников коммуникативного акта, хотя они и находятся в неравных условиях: адресант, как правило, владеет не только более исчерпывающей информацией, но и обычно, наряду с более высоким уровнем языковой компетенции, имеет некоторое профессиональное представление о том, в какую вербальную форму следует облекать информацию при ее трансляции на массовую аудиторию; адресат, напротив, продуцируя текст, такими познаниями не обладает, он говорит «сходу», без подготовки (хотя и с дозированным использованием автоцензуры), т. е. опирается на те речевые навыки, которые у него имеются. Использование внешней коррекции текста в этом случае становится невозможным. В связи с этим повышается вероятность, с одной стороны, продуцирования гиперкорректных дискурсов; с другой, появления речевых ошибок, усиления притока самого разнообразного спектра разговорных включений; ср.: (радиослушатель по телефону): *my sme bydleli pohromadě s rodičema; to je ukrutánsky těžký; je slušnej a nenápadnej politik; nadace, která má přínýst; před dvěma rokama;* (приглашенные гости теле- и радиопередач) *skerým; bysme zdevatenáctýho století; je to docela dobrý zaměstnání; tak je to zcela jasný* apod. (примеры из текстов 1997–1998 гг.).

Активизация речевого взаимодействия оказывает большое влияние на эволюцию речевого стандарта, так как массовое тиражирование речевого поведения уже не только адресанта, но и адресата со всеми возможными погрешностями, включая и несовершенство владения нормой, изъяны автоцензуры и т. п., способствуют усилению влияния разговорной речи на узус публичной вербальной коммуникации.

Изучение языка СМИ наглядно подтверждает справедливость тезиса *о наличии очень важной диспропорции между количественным и качественным составом носителей и пользователей литературного языка*: с одной стороны, это расширение и

качественное изменение состава его пользователей; с другой — сужение численности *реальных носителей* литературной нормы. В результате этого участником публичного вербального общения может оказаться (довольно часто именно так это и происходит) лицо, уровень языковой компетенции которого не является достаточным для того, чтобы порождаемый им текст не содержал ошибок и был употреблен адекватно коммуникативной ситуации.

Нельзя не отметить, что расширение социальной базы литературного языка, в частности, за счет вовлечения в состав его пользователей лиц с разным, притом весьма неоднородным уровнем языковой компетенции, наряду со снижением качества преподавания литературного языка в школе, ослаблением централизованного речевого контроля, не может не оказывать негативного влияния на состояние современной речевой культуры.

В создавшейся ситуации становится особенно очевидной иллюзорность установления прямой взаимосвязи между уровнем полученного образования и степенью владения литературной нормой, а также неправомерность слишком «щедрого» присвоения статуса «носитель литературного языка». Как показывает практика, наличие высшего образования нередко является всего лишь формальным показателем и отнюдь не гарантирует активного владения нормой литературного языка, т. е. способности самостоятельно, на основе автоцензуры, без помощи редактора, породить корректный литературный текст. Фактом является и то, что для *активного* владения устным литературным языком необходим весьма высокий уровень языковой компетенции.

Что касается СМИ, то в них коммуникативная, а также вербальная стратегия модераторов, ведущих диалогические передачи на радио и телевидении, во многом выстраивается сообразно речевому поведению собеседника. Так, если гость студии, чувствует себя скованно, говорит на «суконном» языке, ведущий передачу журналист для создания атмосферы непринужденности, с тем, чтобы «разговорить» собеседника, «пересыпает» свою речь жаргонизмами; ср: (гость) *гуманитарная помощь* — (ведущий программы) *гуманитарка?* ТВ, 1995 или же (гость — представитель МВД) *работал с нашим контингентом; отдельные случаи, которые мы имели в прошлом году; такие вещи имеют место* и пр. — (ведущий) *человек*

в кожане (т. е. в кожаной куртке или пальто. — Г.Н.); кто-то погорячится, дубиной съездит своему подопечному. ТВ, 1994 и т. д.

Интересные наблюдения делает И. Коларжова [Kolářová 1999: 315–316]. Она отмечает, что, начиная передачу (т. е. до установления прямого вербального контакта с собеседниками), чешский модератор в основном говорит на литературном языке (стилистика официального общения). Затем, по-видимому, из речевой «солидарности» или же деликатности (оба гостя — молодые актеры, широко использующие обиходно-разговорный язык), а, скорее всего, из соображений коммуникативной успешности, желая «разговорить» собеседников, переходит на привычный для гостей передачи разговорный узус: (реплика ведущего) *A tak i říkám, nebudu se radši bábřat v těch podrobnostech... ted' mě příjemně překvapilo, že vy ste hráli ve filmech obouch. Takže si myslím, že když už sme z a č l i ten film, mohli by sme si o něm něco říct;* (реплика актера) *vo kterým vlastně?;* (реплика ведущего) *Můžeš mluvit vo obou, a určitě bude posluchače zajímat... za jakých podmínek se to natáčelo...;* (реплика актера) *No, já sem... v o d t a m t u d ...mně se v podstatě vybavují tak a k o r á t ty příjemný historky...vzpomínky, k e r e j c h bylo... u t ý m u z i k y dost... vůbec nás tam bylo první rok pět z á k l a d' á k ů, druhej rok asi patnáct* и т. д.

Проблема установления речевого контакта в СМИ уже давно обсуждается в богемистике; ср.: «Учитывая отличия литературного языка от языка повседневного общения, вряд ли будет уместным в так называемой живой беседе по радио или на телевидении заставлять себя последовательно соблюдать литературную норму там, где это может помешать установлению контакта со слушателем или где бы это производило впечатление искусственности» [Čeština za školou 1974: 70].

Использование таких форм вещания как передачи прямого эфира, спонтанные интервью, телефонные опросы, телемосты, ставшие теперь модными многочисленными игровые передачи и пр. — усиливает импровизационное начало, делает общение более непринужденным, раскованным и, что очень важно, способствует более широкому включению в устные СМИ диалогической речи. Как показывают наблюдения, диалогическая форма общения является для слушателя более естественной и доступной.

* * *

Анализируя высказанные выше наблюдения, не можем не заметить, что некоторые иллюзии, традиционно связанные с феноменом литературного языка, с его безграничной мощью, неуязвимостью, «иерархической защищенностью» и пр., на практике оказываются довольно зыбкими.

Процессы, происходящие в публичном вербальном узусе конца XX и в особенности начала XXI столетия, напротив, ставят литературный язык в чрезвычайно сложные условия выживания, когда он должен устоять перед натиском разговорной стихии, сохранить свою полифункциональность, системно-функциональные закономерности. Положение осложняется еще и тем, что в современной лингвистике все чаще начинают высказываться сомнения в целесообразности сохранения кодификации данного идиома, тех или иных нормативных ограничений и т. п. Отмечаются и попытки редукции функционального спектра ряда литературных языков за счет элиминирования наиболее репрезентативных функций. Сказанное касается, в том числе и этнических языков с многовековыми культурными традициями.

Преференции, полученные литературным языком в эпоху глобальной компьютеризации, превращения электронных СМИ в доминирующий информационный канал, становятся скорее тяжелой ношей, чем привилегией. Таким же испытанием является изменение вербального стандарта современной публичной коммуникации в направлении его «массовизации», «усреднения» и пр. [см.: Нешиченко, 2001; Neščimenko, 2001a и др.].

Подчеркнем, что использование электронных медиальных средств в качестве главного транслятора информации сыграло важную роль в *повышении социолингвистического статуса устного литературного языка*, в существенном увеличении диапазона его употребления. В силу этого к концу XX столетия устный литературный язык не только приобрел *общеэтнический* статус, но и стал играть главенствующую роль в сфере публичной общеэтнической коммуникации. Значительное возрастание роли *устной* вербальной коммуникации является *универсальной* тенденцией развития современной мировой коммуникации.

В качестве краткого исторического экскурса отметим, что формирование устного литературного языка как средства интерперсонального и публичного общения относится к середине XIX в., когда

возникла осознанная потребность в подобном идиоме, определилась сфера его функционирования. Свою роль в этом сыграло возрастание культурно-просветительской и общественной активности социума, наличие этноязычной интеллигенции, а также интеллектуальной среды общения (система образования с использованием этнического языка как языка обучения, а не только как предмета изучения, появление просветительских обществ, кружков по интересам, общественно-политических организаций и пр.).

В отличие от письменного литературного языка, получившего статус идиома *общеэтнического* значения к середине XIX в., т. е. ко времени появления прессы, устный литературный язык, как уже отмечалось, приобрел этот статус существенно позже, причем это напрямую связано с электронными СМИ. Именно это обстоятельство стало одной из причин смены нормотворческой основы литературного языка, смещения акцента с узуса эксклюзивных художественных текстов на язык СМИ.

Доминирование *устных* медиальных каналов (радио, телевидение) несколько уменьшило операционную значимость оппозиции «устность — письменность». С появлением Интернета, пользующегося именно *графической* фиксацией текста, возникшая асимметрия несколько уменьшается.

Феномен устнизации, насколько нам известно, до сих пор не был предметом специального изучения. Между тем его рассмотрение в широком контексте этнической вербальной коммуникации, с учетом масштабов его влияния на современную речевую культуру и, в частности, на эволюцию правил речевой эстетики, представляется чрезвычайно важным.

Большая открытость устных литературных текстов по отношению к разговорной стихии способствует распространению в узусе публичной коммуникации разговорных включений, что в свою очередь не может не сказываться на динамике правил речевой эстетики. Не случайно в узусе современной вербальной коммуникации, в том числе и в языке СМИ, столь широкое распространение получили так называемые смешанные тексты, в которых в литературные в своей основе тексты включаются те или иные элементы разговорных идиомов.

Появление смешанных текстов может быть обусловлено как намеренной, так и спонтанной межидиомной интерференцией. Причем

речь идет либо об актуализованной цитации, несущей вполне определенную смысловую или же стилистическую нагрузку, либо о смешении элементов разных норм в силу специфики индивидуальной языковой компетенции. В последнем случае коммуникант автоматически проецирует имеющиеся у него речевые навыки на порождаемый им текст, независимо от того, в какой коммуникативной ситуации он будет использоваться.

Удельный вес и частотность смешанных текстов зависят и от характера публицистического жанра. Так, например, в информационных, новостных текстах они, по вполне понятным причинам, встречаются реже, чем в интервью, рецензиях, фельетонах, «авторских» программах и т. п., где более выражено индивидуальное, личностное начало. Каковы бы ни были причины появления смешанных текстов, сам этот факт говорит о снижении значимости кодификации, которая уже не может служить надежным заслоном от влияния разговорной стихии.

Нельзя, однако, не отметить, что даже при реализации всех необходимых для успешного функционирования устного литературного языка условий формирование устойчивых навыков «культурного» публичного говорения (а именно это свидетельствует об *активном* владении идиомом), может запаздывать. Это особенно проявилось во второй половине 80-х годов, на которые практически во всех странах Центральной и Восточной Европы пришелся пик общественной и вербальной активности (митинги, манифестации и пр.), сопровождавшийся резким возрастанием потребности в устном публичном общении.

Норму устного литературного языка отличает от нормы письменного, помимо прочего, меньшая строгость (но не отсутствие!) кодификационных предписаний, более свободный порядок слов, упрощенная структура предложения, иное логическое членение текста, специфические просодические особенности, большая вариативность языковых средств, сниженная частотность употребления некоторых частей речи, например, причастий и особенно деепричастий, большая экспрессивность высказывания, специфический набор вариативных словообразовательных средств и т. п.

Обращает на себя внимание *двойственность* природы устного литературного языка: будучи *литературной* манифестацией, он, с

одной стороны, как бы отграничен от нелитературных идиомов (в отличие от них он, например, имеет монологическую, а не диалогическую текстовую структуру); с другой, как идиом *устный* он поставлен в условия постоянного соприкосновения с остальными устными (*не литературными*) феноменами со всеми вытекающими из этого последствиями. И действительно в сфере устной коммуникации, являющейся зоной пересечения двух важнейших коммуникативных ареалов (высших коммуникативных функций и непринужденного повседневного общения), используется широкий спектр форм существования языка, нередко вступающих в конкурентные отношения друг с другом.

Устные СМИ имеют важные преимущества перед печатными: транслируемая с их помощью информация обычно доступна для восприятия, она не требует от массовой аудитории ни специального времени, ни особых денежных затрат, ни профессиональной подготовки. Вместе с тем они обладают и своей спецификой, которая важна не только для радио- (теле-) журналистов, но и для определения направленности языкового воспитания. Так, преимущественно «слуховое» восприятие текста влечет за собой появление и типично «слуховых» ошибок типа *дивиденты* (вм. *дивиденды*); *презум-но с т ь невиновности* (вм. *презумпция*); *постановление дезаву-лирует* (вм. *дезавуирует*) и пр.

Устное воспроизведение текста нередко выявляет погрешности в языковой компетенции говорящего, скрытые при графической фиксации текста⁸ (например, ошибки в склонении сложных числи-

⁸ Впрочем, возможно и обратное, когда именно письменный текст «обнажает» ошибки — мы можем это наблюдать в компьютерных диалогах; ср.: диалог двух участников общения с разным уровнем грамотности: AN>> *И ты с ним на другую машину таскался? Бедняга!!!*; РК> *Спасибо за заботу, но не таскался. Он был уже отформатирован.* Приведем некоторые ошибки из чешских «чатов»: (наиболее типичная и наиболее мучительная для чехов орфографическая ошибка, связанная с неразличением на слух так называемых «твердого» и «мягкого» [i], т. е. «y» и «i») *s tím bych se uz nezabival; tak ti uz moc nezbiva; aby ti to nebilo lito; abys neco vymíslel.* Во всех выделенных графемах должно было бы находиться краткое или долгое «y».

тельных, в постановке ударения, в интонационном рисунке фразы, в произношении и пр.). Очевидными становятся, например, отклонения от общепринятой постановки ударения. Примером этого могут служить профессионализмы типа *Мурма́нск, компа́с, осу́жденный, дело возбу́ждено, лечение опухоле́й, при́зыв* (военный сленг) и мн. др. При общении в профессиональной, т. е. корпоративной среде, подобное смещение ударения является стилистически нейтральным как для говорящего, так и для слушающего, однако за пределами данной среды это «режет ухо», т. е. воспринимается как ошибка. При устном воспроизведении текста становятся заметными и рефлексы исходного регионального субстрата; ср. *на́чать, при́нять* или же устойчивое произнесение врачом (медицинская беседа на радио «Эхо Москвы», 1996 г.), *ларинголо/х/, хирур/х/, гинеколо/х/* (им. ед.), т. е. с фрикативным «г» (во мн. ч. последовательно соблюдалось «г» взрывное).

Высказанные выше соображения особенно актуальны, если учесть доминирующее положение устных СМИ в системе публичной вербальной коммуникации, а также то, что встречающиеся в их узусе ошибки с помощью радио и телевидения *широко тиражируются*. В силу этого они либо вызывают болезненную реакцию слушателей и зрителей, либо становятся дурным примером для подражания. Все это делает очевидным важность повышения культуры *устного* литературного слова.

Как следует из наблюдений, литературная норма обычно строже соблюдается на государственных каналах, чем на коммерческих, поскольку на последних преобладают «личностные», авторские передачи с преимущественным участием не дикторов, а ведущих программ. Некоторые коммерческие радиостанции пытаются удержать свою аудиторию, демонстративно и даже несколько назойливо подделываясь под ее речевой узус.

Разумеется, и в устных СМИ есть передачи, находящиеся под двойным контролем авто- и внешней цензуры, т. е. более «привязанные» к письменной текстовой основе. Мы имеем в виду информационные сообщения, некоторые пафосные тексты и пр., однако это их зачастую не спасает от различного рода «ляпсусов», жаргонизмов, клише и пр., нарушающих корреспонденцию между речевым и коммуникативным стандартом. Ср.: *Сейчас выступит академик, видный*

специалист в области социологии, профессор Бестужев-Лада, который ответит на вопросы с подачи нашего корреспондента (вступительный комментарий ведущего радиопрограммы «Маяк», 1995); *Патриарх Алексей II взял таймаут. Он будет жить на своей даче*. Эхо Москвы, новости 1997 (эта информация многократно повторялась в течение дня).

Для предотвращения языковых ошибок и некоторых стилистических несуразностей в устных СМИ, разумеется, могут быть использованы различного рода «ухищрения» (например, автосуфлер). Возможными являются и предварительное ознакомление с письменной основой текста, консультации с редактором, предварительная запись передачи с последующим ее редактированием, монтированием и пр. Тем не менее, вряд ли можно быть полностью уверенным в том, что в прямом эфире и вообще в публичном официальном общении при сиюминутном речевом акте непременно прозвучит безупречный в языковом отношении текст, что в него не проникнут элементы просторечия, сленга и т. п., отражающие речевые навыки и специфику речевого поведения коммуникантов. Положение осложняется еще и тем, что в отличие от письменного текста в устном практически отсутствуют речевые маркеры (кроме голосового выделения или же введения более или менее пространного комментария), предупреждающие адресата об актуализованном использовании тех или иных языковых средств.

Выше мы уже говорили о том, что доминирующее положение СМИ вообще и устных в особенности повышает требования, предъявляемые к языковой компетенции говорящего, к его общей речевой культуре. В этой связи не могут не вызывать беспокойства некоторые тревожные симптомы, например, снижение качества преподавания литературного языка в школе. Между тем именно школа как институциональный способ освоения языковой культуры должна была бы играть важнейшую роль в *активном* освоении литературной нормы. Как известно, в России, да и не только в ней, приобщение к литературному языку обычно заканчивается в старших классах средней школы; в высших учебных заведениях происходит лишь закрепление ранее приобретенных навыков.

* * *

Язык СМИ как фактор внутриязыкового развития

Узус публичной коммуникации представляет собой чрезвычайно интересный объект для изучения. В нем наглядно прослеживается движение языковой материи, чутко реагирующей на изменение социальных и генерационных пропорций в обществе, на прогресс в научно-техническом оснащении информационно-коммуникативных контактов как во внутриэтническом, так и межэтническом пространстве. Все это дает исследователю уникальную возможность наблюдать не только сложившиеся, устойчивые закономерности, но и симптомы новых, только лишь нарождающихся тенденций, которые в дальнейшем могут оказать влияние на направленность номинационного процесса и речевой культуры.

При написании раздела мы в основном опирались на имеющиеся у нас наблюдения над узусом чешской и русской публицистики. Источником языкового материала была обширная, самостоятельно нами собранная, электронная картотека, отражающая, помимо прочего, и узус современной публичной коммуникации. Вместе с тем, поскольку ранее мы достаточно подробно, с привлечением большого фактического материала изучали славянское словообразование предшествующих столетий (особенно это относится к чешскому языку), у нас была возможность проследить действие выявляемых тенденций не только в новейший период, но и в ретроспективе, а также в какой-то мере и перспективе. Таким образом, хотя в настоящей статье и представлены результаты синхронного анализа, фоном для него было и диахронное сопоставление, оказавшееся для нас в высшей степени полезным. При работе нами использовались и материалы Лексикографического архива Института чешского языка Чешской АН, любезно предоставленные чешскими коллегами.

Особенно значимыми для эволюции современного вербального узуса нам представляются следующие факторы, существа которых мы уже касались выше:

- потребность в компактных, семантически емких номинациях;
- радикальное изменение нормативной основы литературного языка с узуса художественных текстов на узус публичной коммуникации;
- ослабление возможностей кодификационного вмешательства в сферу регулируемого речевого поведения;

- доминирование устных форм публичной коммуникации — феномен «устнизации» и связанное с этим возрастание проницаемости узуса электронных СМИ для вторжения разговорной стихии, более лабильной и склонной к вариативности⁹;
- изменение речевого стандарта публичной коммуникации в направлении его «массовизации», «усреднения», приближения к потенциальному уровню речевой компетенции аудитории.

Вряд ли можно отрицать, что речь идет об *универсальных* тенденциях, присущих публичной коммуникации самых различных этносов.

Критикуя узус СМИ за вульгарность, клишированность, засилье жаргонизмов, англицизмов, речевые ошибки и пр., не следует забывать, что одновременно он выполняет и важные «санационные» функции, быстро освобождается от балласта устаревающих, непродуктивных конструкций, стимулирует более экономные способы номинации, продуктивные неологические процессы. Именно в этом своем качестве он активизирует внутриязыковое развитие, способствуя формированию новых номинационных, в том числе и словообразовательных тенденций, возрастанию продуктивности наиболее перспективных схем и способов словопроизводства.

Решающую роль в удовлетворении возникающих коммуникативных потребностей играют огромные, практически неисчерпаемые словообразовательные ресурсы, которыми столь богаты славянские языки. Их использование позволяет пополнять лексический инвентарь за счет притока новообразований, переименования уже имеющих обозначений, переосмысления существующих номинаций, а также востребования обозначений с периферии лексической системы. Значительно расширяются возможности словотворческого экспериментирования, поиска необходимого вербального решения.

⁹ Повышенная частотность использования в языке средств массовой информации разговорных включений способствует возрастанию их социолингвистического статуса, а также укреплению позиции в конкуренции с адекватными литературными аналогами. В этой связи нельзя не отметить стимулирующую роль так называемых диалоговых, «контактных» передач на радио, телевидении, построенных на речевом взаимодействии с адресатом.

По мнению М. Докулила, в чешском языке суффиксация является важнейшим способом образования слов [Dokulil 1962: 23]: «Словообразование с помощью суффиксов особенно характерно для чешского языка, оно используется, главным образом, у существительных и очень ограничено у глаголов» [Ibid.: 54]. Как отмечает Ю. Фурдик, в чешском и словацком языках примерно две трети слов являются мотивированными в словообразовательном отношении, причем суффиксальные производные составляют абсолютное большинство [Furdík 1993: 23 и далее]. Не менее красноречивые данные приводит М. Петерсон [Петерсон 1941]: у имен существительных производные основы образуются с помощью префиксов (4%), суффиксов — 82 %, словосложения — 14 %. Как пишет А. Загородникова, среди новых слов польского языка (2 500 новых единиц) 72% составляют словообразовательные производные [Zagrodnikowa 1982: 243].

Как показывает анализ материала, в современных славянских языках во многом наблюдается *конвергентное* развитие. Это обусловлено их системной близостью, сходством экстралингвистических импульсов, выполняющих роль своеобразного катализатора языковых процессов, действием универсальных языковых тенденций (например, тенденции языковой экономии). Не будет преувеличением сказать, что универсальность некоторых из этих импульсов предопределяет появление аналогичных или же сходных явлений не только в славянских языках, но и за пределами языков славянского региона.

Важно иметь в виду, что конвергентность развития языков, в том числе и близкородственных, отнюдь не означает, что сходные или даже полностью идентичные словообразовательные процессы в них развертываются с *одинаковой скоростью* [см.: Нещименко 1983]. Так, в чешском языке использование средств словообразования является более масштабным, чем, например, в русском. В известном смысле можно говорить и о том, что некоторые фрагменты русской словообразовательной системы по сравнению с чешской развиваются с известным запозданием, хотя в целом общая направленность эволюции деривационной системы является *однаправленной*. Сказанное делает необходимым сочетание при сопоставительном изучении близкородственных языков синхронного и диахронного подходов [Нещименко 1999 «а»], особенно при выведении глобальных типологических обобщений.

Несмотря на относительно небольшую протяженность рассматриваемого периода, изучение характерных для него словообразовательных закономерностей является весьма значимым и информативным. Этому способствует повышенная динамичность вербального узуса, экспрессивность средств выражения, существенные изменения речевого стандарта публичной коммуникации. Фиксируемые номинационные и словообразовательные новации зачастую не укладываются в рамки наших привычных представлений о литературной норме, давая повод по-новому оценить потенциальные возможности словопроизводства, частотность и сферу употребления деривационных схем и формантов, их продуктивность. Вполне естественно, что в случаях, когда внутриязыковых ресурсов оказывается недостаточно или же когда пользователь языка по тем или иным причинам предпочитает ресурсы других языков, проблема решается путем привлечения внешних заимствований. Впрочем, в данной работе этот аспект нами специально рассматриваться не будет, хотя мы вполне отдаем себе отчет в том, что адаптация заимствований в языке-реципиенте, как правило, осуществляется с помощью продуктивных деривационных средств.

Оценить суть и перспективы тенденций, наблюдаемых в вербальном обеспечении публичной коммуникации, не выходя за рамки имманентных закономерностей системы литературного языка, вряд ли возможно.

В этой связи мы хотели бы особо остановиться на проблеме проведения кодификационной политики. Данный вопрос представляется нам важным не только для уровня публичной речевой культуры, но и для динамики словопроизводственных закономерностей современного языка в целом. Как уже говорилось выше, публичная коммуникация относится к ареалу регулируемого речевого поведения, при котором используются как внешние регуляторы, так и автоцензура.

Снижение значимости внешнего регулирования (а, следовательно, и кодификации) является не просто данностью современного публичного узуса. Оно ведет к пересмотру речевого стандарта электронных СМИ, к активизации важных словообразовательных процессов. Дело в том, что любая кодификационная деятельность корректирует и даже блокирует действие некоторых системных закономерностей, подчиняя их нормативным запретам или же требованиям

речевого этикета. В связи с этим уменьшение давления кодификации, с одной стороны, делает менее контролируемой речевую деятельность, усиливает приток разговорных включений, заимствований и пр.; с другой, устраняет препятствия на пути реализации закономерностей, присущих языковой системе, снимает ограничители, способствует большей регулярности протекания словообразовательных процессов, появлению новаций и т. п. Именно это мы и наблюдаем в разговорной речи, относящейся к ареалу нерегулируемого речевого поведения.

Ниже будут рассмотрены некоторые категории лексики, анализ которых важен для понимания специфики современных номинационных процессов в языке СМИ.

Феминативы в языке СМИ

К числу весьма динамичных категорий, несомненно, относится модификационная категория феминативов, т. е. обозначений лиц женского пола, чаще всего парных с обозначениями лиц мужского пола. Ее лексический состав напрямую связан с социально-коммуникативным заказом социума, с ростом эмансипации женщин. В чешском литературном языке образование этой лексики осуществляется автоматически¹⁰, это устойчивая системная закономерность, отклонения от которой, являясь эпизодическими и даже могут «коробить» адресата, свидетельствовать о гиперкорректности текста¹¹.

¹⁰ В этом отношении примечательна языковая интерференция в речи чешского официального лица на закрытии Дней чешского кино в Москве в ноябре 2002 г.: *Я очень рад, что здесь присутствуют две наших знакомых режиссерок*. В данном высказывании интересно включение чешского деривата *režizérka* в русский текст. Заметим, что носитель русского языка скорее всего употребил бы в этой ситуации либо *женщина-режиссер*, либо *режиссерша*, либо, наконец, *режиссер*, без уточнения пола лица. Ср.: *Началом знакомства сибирской публики с эстетикой самой известной московской женщины - режиссера*. Новая газета 2001, рецензия, речь автора; *фильм болгарской по рождению и бельгийской по диссидентской своей планиде режиссерши* Златины Русевой. Там же, 1999, рецензия, речь автора.

¹¹ Ср. в уважительном письменном обращении к женщине: *paní doktor* вместо *paní doktorka*.

Иначе обстоит дело в русском языке: в разговорном узусе фиксация пола лица с помощью определенного набора суффиксов является более или менее регулярной; в литературном языке указание пола характерно в основном для случаев, когда труд женщины или род занятий (например, занятия спортом и пр.) связан с физическими нагрузками. В других ситуациях это считается неактуальным; ср. обозначения женщин с престижным социальным положением (занятие умственным трудом, наличие титулов, званий и пр.). В этом случае могут использоваться заместительные конструкции в виде: а) существительное м. р. (конкретизирующим сигналом является согласование, присоединение фамилии и пр. по типу *врач Иванова сказала*); б) описательные конструкции *женщина-прокурор, женщина-комендант, женщина-тренер, женщина-профессор, женщина-академик* и пр.

В современной русской публицистике феминное словопроизводство значительно активизировалось, расширился как круг производящих основ, так и состав формантов. Данный факт подтверждается притоком многочисленных новообразований, в том числе и окказионализмов. Подобная активизация стимулируется и потребностями языковой экономии, поскольку конструкции типа *женщина-бизнесмен* более громоздки, чем дериваты *бизнесменша* или же *бизнесменка*, как бы они поначалу ни «резали ухо». Сказывается и влияние разговорного языка, в котором феминное словопроизводство является достаточно регулярным.

Какому способу номинации в русском литературном узусе в конечном итоге будет отдано предпочтение (деривации, приложению, согласованию и пр.), можно будет судить позже, сейчас же мы говорим лишь о некотором наборе возможностей и удельном весе их реализации. Пока что налицо значительная вариативность, фиксируемая контекстуально: *А вы знаете первую заповедь рекви-зитор а? — спросила меня старейшая рекви-зитор МХАТа. На гастроли по какой-то причине отправили неопытного рекви-зитор а. Она знала, что воду надо кипятить. Самая расхожая шутка — тайком от бдительной рекви-зиторши вместо кипяченой воды налить в бутылку чего-нибудь погорячей. Московский комсомолец, 2000, очерк, речь автора; Налоговый инспектор собирала платежи в свой карман (заголовок статьи) —*

инспекторша пришла в офис фирмы (текст статьи). Там же, 2000; *Наркокурьерша* (заголовок статьи) — *женщина-наркокурьер* (в тексте статьи). Там же, 2000. У некоторых феминативов наличествует и фоновое значение ‘женщина-жена’; ср. комментарий ведущего (Радио Маяк, 2001, обзор прессы) о статье под названием «Солдатки», где речь идет об израильских женщинах, служащих в армии: *у нас так обычно говорят о жене солдата*. Примечательны данные о фреквенции соответствующих номинаций в юридическом тексте, т. е. официальном документе обвинительного заключения (Новая газета, 2001), где описательная конструкция *женщина-снайпер* употреблена 1 раз; производное *снайпер* — 2 раза; дериват *снайперша* — 8 раз: *уведомил, что едут задерживать женщину-снайпера* (косвенная речь обвиняемого); *фотография женщины, которая являлась снайпером*; *показал дом, где живет снайперша* и пр. Впрочем, иногда образование феминатива не возможно по морфонологическим причинам: *женщины-камикадзе*, *кровницы*. *Пояса у террористок-камикадзе*. Новая газета, 2002, заметка, речь автора. Встречаются — и нередко — случаи избыточной фиксации пола: *После так называемого дефолта женщин-художницы не могут получать оплачиваемые декретные отпуска*. Новая газета, 2002, статья, речь персонажа; *милые интеллигентные женщины-пенсионерки*. Новая газета, 2001, рецензия, речь персонажа; *Ходят женщины-бетонщицы в спецовках*. Новая газета, 2000, очерк, речь автора; *женщина-террористка сидит, привалившись к подруге*. Комсомольская правда, 2002, очерк, речь автора.

Приведем краткий перечень производящих основ, с которыми сочетаются наиболее распространенные феминные суффиксы: [-к(а)] *агент, алкоголик, боевик, боксер, бомбист, бизнесмен, биатлонист, виртуоз, верхолаз, депутат, землянин, киллер, кандидат, корреспондент, каратист, макрамист, мусульманин, моряк, невозвращенец, неофит, оригинал, оскароносец, пенсионер, полиглот, пресс-службист, революционер, самурай, стажер, солдат, террорист, фанат, хоккеист, шахид, экстремал*; [-ш(а)] *акционер, ассистент, банкир, вампир, вахтер, гид, гример, гомеопат, дискжокей, диспетчер, дизайнер, диктор, диктатор, интервьюер, инспектор,*

корреспондент, киллер, лейтенант, маклер, музыкант, мистификатор, наркокурьер, организатор, оператор, оппонент, парикмахер, предприниматель, плантатор, партнер, профессор, режиссер, реквизитор, рэпер, рэкетир, сенатор, следователь, снайпер, тапер; **[-иц(а)]** бетонщик, газетчик, гардеробщик, грушник, детективщик, застекольщик, защитник, истец, кровник, коммунальщик, клофелинщик, крановщик; лохотронщик, лагерник, начальник, певец, предприниматель, передовик, партноменклатурищик, попыточник, пограничник, пикетчик, попушник; разведчик, счетчик, чиновник, шифровальщик, шлягерник; **[-ин(я)]** монарх, маг, невропатолог, олигарх, патриарх, педагог, шеф и пр.

Проиллюстрируем сказанное некоторыми контекстами: *сидят замаскированные боевики и боевички* (появился такой неологизм во вторую войну). Новая газета, 2000, заметка, речь автора; *кандидатку в спикеры Слиску*. Там же, 2000, заметка, речь автора; *мама, нищая кандидатка наук*. Там же, 2002, очерк, речь автора; *Чемпионка мира по сумо, рядовой МЧС, в прошлой жизни была самурайкой*. Московский комсомолец, 2001, заголовок; *Откинув голову на спинку красного сиденья, сидит молодая шахидка*. Комсомольская правда, 2002, очерк, речь автора; *Горластый табун американских студентов неся по вестибюлю следом за гидшей*. Новая газета, 2002, очерк, речь автора; *молодая дизайнерша*. Эхо Москвы, 2000, обзор моды; *День второй стартовал выступлением фольклорных рэперш*. Новая газета, 2002, очерк, речь автора; *Одна из оппонентш чрезвычайно лояльно настроенная к соискателю*. Новая газета, 2000, статья, речь автора; *Оперативники решили ловить рэкетиршу*. Новая газета, 2002, заметка, речь автора; *застекольщица Марго родила мальчика*. Эхо Москвы, 2003, журналист, обзор газет; *В последнее время число «попыточков» - мужчин и «попыточниц» - женщин сравнялось* (речь идет о людях, пытающихся покончить с собой. — Г.Н.). Новая газета, 2000, очерк, речь автора; *пограничницы появились в Шереметьево*. НТВ. Новости, 1997, репортаж журналиста и мн. др.

Иногда различные феминные суффиксы пересекаются у одних и тех же производящих основ. Ср.: *депутатка* — *депутатша*: *что-то шепчет на ушко депутатке* —

телеведущей Буратаевой. Новая газета, 2000, заметка, речь автора.; *депутатки* (Думы. — Г.Н.) *не соглашаются*. Эхо Москвы, 2003, обзор газет, журналист; *Это депутат (или депутатша?) Госдумы*. Новая газета, 1998., очерк, речь автора; *оскароноска — оскароносица: «оскароноска» Сисси Спейсек*. Новая газета, 2002, статья, речь автора; *оскароноска лишилась своего Оскара* (о краже у актрисы статуетки Оскара. — Г.Н.). Эхо Москвы, 2002, ведущий, хроника; *бизнесменка — бизнесменша: бизнесменка* Эхо Москвы, 2003, ведущий; *Воркотню бизнесменш от кутюр*. Новая газета, 2001, очерк, речь автора; *предпринимательша — предпринимательница: предпринимательша подъехала к дому*. ТВ-6, 2000, информация, журналист; *В модельном агентстве местной предпринимательницы*. Новая газета, 1999, очерк, речь автора; *боксерка — боксерша: девушка-боксерша*. Эхо Москвы, 2000, информация, журналист; *симпатии зрителей, дружно подбадривавших «боксерку» (вполне законный неологизм с 9 октября)*. Московский комсомолец, 1999, статья о женском боксе, речь автора; *маг — магиня; магша: приходит маг, вернее магиня*. Эхо Москвы, 1997, интервью, речь персонажа; *магша*. Московский комсомолец, 2000, заметка, речь автора. Заметим, что суффикс *-ша*, проникший в литературный узус, несомненно, под влиянием разговорного языка, все более укрепляет свои позиции, начиная успешно конкурировать с самым продуктивным феминным суффиксом *-к(а)*. Ранее он редко выходил за пределы повседневного узуса.

Новейшие Правила чешского правописания [Прага 1993] фиксируют в качестве дублетов феминативы *dramaturg — dramaturžka, dramaturgyně; chirurg — chirurgžka, chirurgyně; učeň — učnice, učeňka; zemědělec — zemědělka, zemědělkyně*, т. е. отражена конкуренция.

Хронологические рамки протекания конкуренции во многом зависят от внутриязыковых и экстралингвистических факторов. Очаги конкуренции зарождаются в синхронии, т. е. это конкретное проявление синхронной динамики, однако об окончательных последствиях процесса можно обоснованно судить после привлечения данных диахронии. Возрастание скорости современного языкового развития ускоряет и делает более наглядной направленность

размежевания. В условиях повышенной частотности употребления номинаций этот процесс, как правило, протекает быстрее, соответственно и его результаты становятся более очевидными.

Возрастание продуктивности феминного словопроизводства отмечается и в ряде европейских языков (например, немецком и французском), где соблюдается так называемая политкорректность.

Феминативы ныне принадлежат к магистральным номинационным потокам, лексический состав которых быстро увеличивается, в том числе и за счет неологизмов (ср.: *jedna slovenská h a s k e r k a . Reflex 2002-A*¹²; *В Германии президент Буш обрел нового друга — к а н ц л е р ш у Меркель*. НТВ, 2006, новости, корреспондент).

Важно подчеркнуть, что в разговорном узусе славянских языков образование и употребление феминативов практически не имеет ограничений, никакие кодификационные запреты здесь не действуют, а поэтому и закономерности деривационной системы представлены вполне отчетливо.

Можно привести и другие неологизмы: *к л о ф е л и н щ и ц а . Новая газета, 2000, рецензия, речь автора; Все, кто меня знает как ш л я г е р н и ц у . Эхо Москвы, 1999, беседа с композитором И. Грибулиной, гостьей передачи; удачливая д е т е к т и в щ и ц а , без агрессивных намерений потеснившая [...] мастеровитых работников своего цеха . Новая газета, 1999, рецензия, речь автора; п о г р а н и ч н и ц ы появились в Шереметьево . НТВ-Новости, 1997, репортаж, корреспондент; наша п а т р и а р х и н я (о Пугачевой). Эхо Москвы, 1999, ведущий; Ег о п е д а г о г и н я по фортепиано в консерватории . Эхо Москвы, 2000, ведущий; Ф о т о г р а ф и н я (заголовок очерка о женщине-фотографе). Новая газета, 2000, очерк, речь автора; портрет м о н а р х и н и . Итоги, 2000, корреспондент. Особенно примечательна активизация суффикса *-и(а)*: *д и с к ж о - к е й ш а на ТВ показывает жевательную резинку*. Новая газета, 1998, рецензия, речь автора; *молодая д и з а й н е р ш а . Эхо Москвы 2000, обзор моды, речь автора*. Число примеров можно увеличить.*

¹² Эксерпция взята из Лексикографического архива Института чешского языка АН Чешской Республики.

Возрастание экспрессивности узуса СМИ

Для создания атмосферы доверительности общения, т. е. для коммуникативной успешности, журналисты в последнее время все чаще прибегают к эмоционально окрашенной лексике, в частности к деминутивам, прилагательным и наречиям с оценочными суффиксами (возможно, здесь также сказывается влияние разговорной речи). Заметим, что раньше это встречалось довольно редко. Причем, в отличие от чешского языка, в котором деминутивы издавна имели высокую частотность употребления и широкую словопроизводственную базу, в русском языке они предпочтительно использовались в детской речи или же речи, обращенной к детям, в художественной литературе для характеристики персонажей, причем зачастую с иронической окраской. Высокая частотность употребления деминутивов была всегда характерна для речевого узуса работников сферы услуг (официанты, отчасти продавцы и пр.).

Приведем примеры из речи ведущих и гостей радиостанции «Эхо Москвы»: *собачка такая декоративненькая; сейчас будет кратюсенькая информация; довольно стандартненькая история; когда цена на золото подрастет, его удачненько продадут* (гость студии); *лампы для телевизоров такие стеклянненькие; постепенненько перетекают; Положение, прямо скажем, было спорненькое*¹³; *Наша радиостанция информативная, с небольшим музыкальным уклоном; Тут проскочила шальная информашка; Вот такой фестивальчик, вот такой концертик будет; Мы создадим такую атмосферочку; вначале у меня небольшое сообщеньице*. Ср. также: *Аккуратненький разборный финский ангарчик*. Новая газета, 2000, очерк, речь автора; *куда там фальшивенькому захвату казармы*. Там же, 2002.

¹³ Ср. в повседневной разговорной речи: *кто здесь платненький?* (обращение кондуктора в московском автобусе, 2001 г.: противопоставление платных и бесплатных пассажиров); *а сменочка у вас есть?* (в больнице о сменной обуви, 2002); *Я тащусь так клеვენько* (молодые музыканты во время поездки в поезде, 2002).

Экспрессивная лексика является важной составной частью рекламных передач радиостанции: *там стоит шикарный барчик; Открылся один отельчик; Вы варите курочку, кладете туда приправочку, капусточку, морковочку. Супец типа щей, мясцо* (рецепт блюда); *наша компания вышла на прямые поставочки*, медицинская реклама; *можно я немножечко расскажу; интервальные тренировки; кому-то хочется сделать растяжечку; будет стартовая программка на одну неделку; на грузочка будет поменьше* (тренер Фитнесс-клуба). Очень часто эта лексика используется ведущими (как женщинами, так и мужчинами, т. е. без гендерной дифференциации) игровых передач, конкурсов и пр.: *а газетка у вас есть с купончиком? Там есть такой списочек; Там есть еще один куплетик; (о выигрыше – тостере) на нем можно делать тостики. Узнайте, когда можно будет получить подарочек; наш телефончик: 203-19-22; у меня еще есть немножечко времени; приму еще один самый последний звоночек; там есть такая маленькая табличечка; задай им каверзный вопросец и пр.¹⁴; петардочка, логотипчик* (описание газетного купона. — Г.Н.); *сейчас запишут ваш телефончик, не кладите трубочку; Откуда у вас купон? А, «Московская правдочка»; послушаем еще звоночек и посмотрим пейджерочек; еще один звонок и кассеточка остается нам; через пять минут будет программочка «Попади в десяточку»; Мы проиграем слушателям сегодня компактные диски, компактненькие такие дисочки. Ср. также: У меня сейчас телефонненький звонок, радиостанция «Маяк», 2000, ведущий, диалог со слушателями по телефону. Ср. также употребление прилагательных со значением ослабленного признака: *ну, это ты крутовато; он молодovat для отца* (или же на ТВ: *этот вопрос общеватый*).*

¹⁴ Примечательно, что ведущая игровой передачи на «Эхо Москвы» (2000 г.), употребив очередной деминутив, осеклась, адресуя коллеге реплику *«Нашим слушателям не нравится, когда мы говорим трубочка, телефончик. Они говорят, что мы сюсюкаем»*, на что другой ведущий шутливо замечает: *«Положь трубку»*.

Тенденция языковой экономии в языке СМИ

Анализ имеющегося в нашем распоряжении языкового материала позволяет выделить две важнейшие, на наш взгляд, тенденции — *языкового варьирования* и *языковой экономии*. Их действие, отчетливо прослеживаемое в языке современной публицистики, во многом уходит своими корнями в разговорную речь. В рамки этих тенденций практически полностью укладываются все наблюдаемые новации. Обе тенденции, имея универсальный характер, по своей сути являются *противонаправленными*: первая приводит к разрастанию вербальной материи за счет постоянного притока новых лексических пополнений; вторая, напротив, удерживает ее в состоянии равновесия, делая менее громоздкой, более «экономной» путем селекции языковых средств, оптимизации использования уже существующих знаков, вытеснения избыточных обозначений и т. п.

В результате взаимодействия этих тенденций устанавливается оптимальное соответствие между номинационным корпусом и насущными информационно-коммуникативными потребностями, столь необходимое для выполнения коммуникативной функции.

Возрастание объема и скорости информационного потока в устных СМИ в комбинации с высокой стоимостью эфирного времени, а также ограниченностью газетной площади (если речь идет о письменных СМИ) делает проблему языковой экономии особенно актуальной. Конкретно речь идет о необходимости максимального насыщения каналов коммуникативной связи компактно выраженной информацией. В какой-то мере эта задача может быть решена за счет подключения, наряду с вербальными средствами, других знаковых систем (ср. значимость визуального восприятия информации на ТВ). Однако важнейшее значение для компрессации, сгущения информации имеет использование более экономных номинационных способов, таких как универбизация и тесно примыкающая к ней деривация.

Мощным источником таких компактных обозначений является разговорный язык, активно вторгающийся в сферу публичной вербальной коммуникации. Как известно, именно в разговорном языке зарождаются инновационные процессы, влияющие в конечном итоге и на литературный язык (см. [Нещименко 1999 а]).

1. Образование универбов

Наиболее эффективным и распространенным способом экономии языковой материи является использование универбов, социолингвистический статус которых повышается буквально на глазах. Сказанное подтверждает не только увеличение их фреквенции в речевом потоке, но и употребление в авторской речи, в заголовках статей и т. п.; ср.: *Таможня воюет с гуманитаркой?* (заголовок) — подзаголовок: *немецкую гуманитарную помощь, предназначенную московским больницам*. Московский комсомолец, 1999; *Netěsné uhláky* (заголовок). Rudé právo, 1982; *Populární závodka* (заголовок). Vlasta, 1985 и т. п.

Возрастание частотности использования универбов в языке медиальных средств, особенно устных, с очевидностью говорит об их несомненной «легализации» в литературном тексте. Примечательно, что нередко описательная конструкция употребляется лишь в начале текстового фрагмента, как бы выводя универб в «свет». Проведенный нами анализ газетных статей, включающих варьирующиеся номинации типа *гуманитарная помощь / гуманитарка; минеральная вода / минералка; пожизненно осужденный / пожизненник; канатная дорога / канатка*, показал следующее соотношение их частотности: в первой паре — 7:5; во второй — 2:3; в третьей — 4:5; в четвертой — даже 3:6 (правда, в последнем случае универб *канатка* был закавычен: *строительство канатной дороги через бухту Золотой Рог ...с вагончиков «канатки» туристы любят пейзажами*. Новые Известия, 2000). Еще более впечатляющим является соотношение частотности употребления универба и соответствующей мультивербальной конструкции в тексте очерка (размером в один газетный лист — Новая газета, 2000), посвященного введению повременной оплаты за телефон. Так, описательная номинация «повременная оплата телефонных переговоров» / «повременная оплата» / «повременная система оплаты» / «пробные повременные счета» зафиксирована в четырех случаях, соответственно универб «повре́мка» (взятый, правда, в кавычки) — в тридцати. Причем универб здесь даже вынесен в подзаголовок, хотя в начале очерка используется описательная номинация.

Язык СМИ наглядно иллюстрирует замену громоздких описательных конструкций более компактными универбами, причем за

многими из них легко угадывается разговорный шлейф: *Максимальная скорость равна 160 километров в час*. Эхо Москвы, 1999, ведущий ('максимальная скорость'); *я объездил несколько обменников* ('обменный пункт валюты'). НТВ-Новости 1999, корреспондент; используют *противоугонку* ('противоугонное средство'). Эхо Москвы, 1998, ведущий; *Всех поразили десятки миллиардов долларов, прокачивавшиеся через «оффшорку»*. Новая газета, 1999, очерк, речь автора ('оффшорная зона'); *В июне прошлого года решили пугнуть тех, кто занижал усредненную величину таможенных платежей. Ввели в аэропортах обязательный осмотр всего груза, если «усредненка» меньше \$ 2 за кг*. Там же, 1999, заметка, речь автора; *они получили название оконных кондиционеров*. Создатели *оконников* в одном махом решили массу проблем. Там же, 1999, заметка, и мн. др.

2. Использование средств деривации

Симптоматичной является значительная активизация в языке СМИ использования деривации. Это проявляется в возрастании продуктивности традиционных словообразовательных категорий и способов словопроизводства, вовлечении в сферу словообразования новых типов производящих основ и т. п.

2.1. Образование абстрактных существительных

Можно привести многочисленные примеры увеличения масштабов словопроизводства абстрактных существительных: *мы руководствовались именно теми жизненными необходимостями*. НТВ-Новости 1999, интервью, собеседник; *Где же у маленькой собаки настоящая собачесть?* Эхо Москвы, 2000, ведущий; *Такое явление как хакерство*. НТВ, 1999; *У меня к литературе единственный критерий — интересность*. Новая газета, 1999, интервью, собеседник; *Но хамства, информационного киллерства каналы не допускали*. Там же; *А избирком принимал это с беспримерной доверчивостью. Вот, правда, насчет беспримерности*. Там же, 1999, рецензия, речь автора; *Увольнение было связано с таким поддонством*. НТВ, 1999; *кто строго делит детей и стариков по горбоносости и черноволосости*. Новая газета, 1999, очерк, речь автора; *За счет своей шизанутости*. НТВ-Итоги, 1998, интервью, речь автора;

Отказались выдвигать по разнарядке ЦК ВЛКСМ лучших на правительственные награды. Какой мерой мерить эту луч- ш е с т ь? Новая газета, 1998, очерк, речь автора; *Отрица- т е л ь н о с т ь* его имиджа. Там же; Анатолию Борисовичу удалось войти в реку *в и ц е - п р е м ь е р с т в а*. Там же; реальная «носи- б е л ь н о с т ь», если так можно выразиться, моделей. Аргументы и факты, 1999, заметка о показе мод, речь автора; не критики, а критикуемые выражают свою «некритикабельность» сразу же после первого прочесывания против шерстки. Литературная газета, 1988; но уж пародировать так пародировать, и делать это надо в той же тональности и с той же мерой *о т в я з а н н о с т и*. Новая газета, 1999, рецензия, речь автора; *За время своего и о в с т в а* (об исполняющем обязанности премьера С. Кириенко). Эхо Москвы, 1998, журналист; *У Михалкова каждый фильм жестко просчитан: на прокат в Москве и по России, на ф е с т и в а л ь н о с т ь* вообще и на возможные номинации в частности. Новая газета, 1999, очерк, речь автора и мн. др. Ср. в чешском: *Počtem divadel, n á v š t ě v - n o s t í koncertu*. Rudé právo, 1982, заметка, речь автора; *Malá li h n i v o s t vajec*. Věda a technika mládeži, 1978; *s l e d o v a n o s t programu*; *Zdůrazňoval jejich č e s k o s t*. Kmen, 1988; *Pro dosavadní pra- xi Svazu byla typická k a b i n e t n o s t rozhodování*. Kmen, 1988 и пр.

У ряда Nomina Abstracta суффикс *-к(а)* успешно конкурирует с литературными формантами: *проявление — проявка* (работники «Кодака», куда он носил на *п р о я в к у* пленочки. Новая газета, 1999, очерк, речь автора); *руление — рулежка*; *озвучение — озвучка* (ср. диалог между журналистом и актерами: Ж.: *Значит, вы против дубляжа?* А.: *Конечно, он интереснее в сравнении с другими видами «о з в у ч к и» ... после некоторых фильмов я горжусь, что участ- в о в а л в и х о з в у ч е н и и*. Мир за неделю, 1999, интервью, собесед- ник) и др. Заметим, что в чешском языке данная словообразова- тельная категория развита исключительно сильно.

2. 2. Образование результативных глаголов

Данные глаголы также можно рассматривать как проявление тенденции языковой экономии. В чешском языке это подтверждается не только множеством языковых фактов, но и имеет давнюю традицию, поэтому мы ограничимся несколькими иллюстративными

примерами, для которых в русском языке компактные обозначения отсутствуют¹⁵; ср.: *zprovoznit* ‘сделать проезжим, напр. улицу’; *zprůchodnit* ‘сделать проходным, устроить проход’; *zchutnit* ‘сделать вкусным, улучшить вкус’; *zviditelnit* ‘сделать видимым’; *odzrnit (papriku)* ‘вынуть зернышки (из перца)’ и пр.; ср. также новообразования типа *tunelovat (peníze z banky)* ‘делает тоннель (образно говоря) в банке, т. е. выкрасть деньги из банка’ (и производное *tunelář*); *internetovat* ‘работать в Интернете’ *Nová slova v češtině*, 1998; *netit* ‘работать в Сети’ и пр. Ср. в контексте: *Předčasné volby měly především z přehlédnutí rozložení politických sil*. газета Metro, 1998.

Сюда можно было бы отнести и глаголы моментального действия: *дембельнуться*, *штрафануть*, *передознаться*, *сникерснуть*, *хлебануть (грязь)*, *ломануться* и пр. Более компактными являются и такие глаголы, как *опредисловить* ‘сопроводить предисловием’ (Литературная газета, 1988, очерк, речь автора); *режимить* ‘соблюдать режим’ [*если не режмишь — цена тебе на поле* (футбольном. — Г.Н.) *ноль*. Комсомольская правда, 1989]; *занаукообразить* ‘сделать наукообразным’ (*мы слишком занаукообразили проблему*. ТВ, 1989, интервью, собеседник; *очестнить* ‘сделать честным’ (*задача очестнить, если так можно выразиться, все процессы в обществе*. Огонек, 1989, очерк, речь автора) и пр. Приводимые глаголы не только экспрессивны, но и компактны, особенно если сравнить их с соответствующими описательными эквивалентами. Заметим, что в языке чешской публицистики глаголы подобной конструкции весьма распространены. Несмотря на то, что их употребление вызывало немало нареканий, тем не менее они достаточно широко используются как в устной, так и особенно письменной публицистике: *ozřejmit*, *zprůjezdnit*, *zprůtočnit*, *zohlednit*, *zarybnit*; ср. их производные: *zarybnění toku*. *Práce*, 1980; *zlikvidovat zarybněnost rybníka*. *Práce*, 1984; *pro zarybnování*

¹⁵ Лингвисты долго противились включению подобных глаголов в литературную норму, аргументируя это тем, что многие из них пришли в узус СМИ из профессиональной терминологии. Тем не менее, многие из них активно используются в общелитературном узусе.

revirui (примеры взяты из лексикографического архива ИЧЯ АН ЧР). Аналогичная тенденция, впрочем, с некоторым запозданием проявляется ныне и в русском языке: В русском языке данная тенденция активизировалась в новейшее время; ср.: *банкротить банки*. Эхо Москвы, 1999 ('проводить, осуществлять банкротство, подвергать банкротству'); *челночить в Китае*. Радиостанция Маяк, 1995 ('снова с товарами, как челнок, туда и сюда'); *власти секретят эти материалы*. Новая газета, 1999 ('засекречивать, делать секретным'); *Ты все абсурдируешь*. Там же, 2001 ('доводить до абсурда'); *в армии изобретательно садируют*. Там же, 1999 ('заниматься садизмом'); *заводы пиратируют своих же заказчиков*. Там же, 2000; *договорились друг друга не пиратить*. Там же, 2000 ('заниматься пиратством, в бизнесе'); *Мы тебя отрейтингуем*. Эхо Москвы, 2002 ('провести рейтинг'); *Как можно быстрее отелевизионить Москву* (после пожара в Останкино в 2000 г. — Г.Н.). Московский комсомолец, 2000 ('охватить системой телевидения'); *Два года назад уже «жюрил»*. Новая газета, 2000 ('работать в жюри'); *Устроили заседание в Думе. По поводу — можно ее эфирить или нет*. Там же, 2001 ('выпускать в эфир'); *ваша команда мониторит, как это сейчас модно говорить*. Эхо Москвы, 2000 ('заниматься мониторингом'); *в возрасте от 70 до 80 в Швеции большинство велосипедит по городу с утра до вечера*. Комсомольская правда, 1999 ('ездить на велосипеде'); *Еще когда главбушила в конторе*. Новая газета, 2001 ('работать главбухом'); *подозревали, что артисты фанерят*. Там же, 1999, интервью, собеседник ('петь под фанеру', т. е. под фонограмму); *Допустим даже, тебя не убили на Киевском рынке местные менты, которые «крышуют» рынок*. Там же, 1999, очерк, собеседник ('делать «крышу», охранять') и др.

2. 3. Окачествление относительных прилагательных

За последнее десятилетие образование компактных относительных прилагательных в русском языке (очевидно, во многом под влиянием разговорной речи) значительно активизировалось; ср.: *затмённые стекла*. Новая газета, 1999, речь автора; *белодомовские чиновники молчали*. Московский комсомолец, 1999, очерк,

речь автора; *маячная информация*. Маяк, 1999; *фанерные концерты*. Новая газета, 1999, очерк, собеседник (‘концерты, идущие под «фанеру», т. е. фонограмму); *фонограммные артисты*. Новая газета, 1999, очерк, собеседник; *в самые безмедальные годы*. Эхо Москвы, 2000, спортсмен; *В момент сидения там Гусинского бутылочная действительность уже почему-то не вызывает у творческой интеллигенции приступов писмописания*. Новая газета, 2001, заметка, речь автора.

В современном русском языке тенденция окачества относительных прилагательных, причем нередко довольно сложной конструкции, усиливается. Примечательно, что совсем недавно это было одной из специфических особенностей чешского языка, которую следовало учитывать в практике перевода при подыскании соответствующего русского эквивалента [см.: Něščimenková 1990: 268]: *hektarové výnosy* — *урожайность с гектара*; *sklizňové ztráty* — *потери при уборке урожая*; *bezztrátová přeprava* — *перевозки без потерь*; *jednooboroví studenti* — *студенты с одной специализацией // однопрофильные студенты*; *odvetná akce* — *акция возмездия*; *akční rádius* — *радиус действия*; *životní způsob* — *образ жизни*; *poslanecká sněmovna* — *палата депутатов*; *robídkový fond* — *фонд поощрения*; *tokasínové a polobotkové modely* — *модели мокасин и полуботинок*; *studenoválečnické choutky* — *потуги поборников холодной войны* и пр. Как мы видим, в русском языке чешским относительным прилагательным, т. е. согласованному определению, как правило, соответствует постпозиция несогласованного определения, выраженного либо с помощью предложной конструкции, либо существительным в род. п. Иными словами, в какой-то мере наблюдается оппозиция: синтетическая конструкция — конструкция аналитическая, с последующим усилением примет синтетизма (в данном конкретном фрагменте языковой системы).

Приведем примеры относительных прилагательных нового типа, зафиксированных нами в языке русской прессы: *Впервые его (Доренко. — Г.Н.) рейтинг превышает рейтинг «итогового» монополиста Евгения Киселева*. Новая газета, 1999, рецензия, речь автора (о программе «Итоги» на НТВ); *Типично шестидесятнический журнал*. Там же, 1999, очерк, речь автора; *глобально-шапкозакидательский апломб*. Мир за

неделю, 1999, статья, речь автора; *некогда преуспевающие служащие, «белые воротнички», наш средний класс. Ведь любая самая тяжелая и неприятная работа намного лучше «беловоротничковой» безработицы.* Новая газета, 1998, очерк, речь автора и мн. др. В подобной тенденции также усматривается проявление тенденции языковой экономии (не исключено, впрочем, и влияние английского языка). Повышенная частотность использования в текстах СМИ разговорных включений способствует повышению их социолингвистического статуса, а также укрепляет, как мы могли видеть, их позиции в конкуренции с адекватными литературными аналогами.

2.4. Активизация образования наречий от относительных прилагательных

Стремление к большой компактности выразительных средств стимулирует и активизацию образования наречий, многие из которых, по крайней мере, в русском языке, ранее вряд ли бы могли появиться, тем более в языке СМИ. Это наблюдается в чешском, русском, польском языках; ср. чеш.: *prezident byl ústavně odvolen.* Netopýg-TV 1999, речь персонажа; *Přibývá programově řízených obráběcích strojů.* Rudé právo, 1981; *sošně se vzdálil.* Kmen 20/1988-A; *aby se průvodcovsky osvědčila.* RV, 2001, pp.; *perestrojko vě naivní film.* Nová slova v češtině и пр.; ср. русск.: *осматривать помешочно и поящично.* Новая газета, 1999; *Куда более обаятельного и тем паче фактурно близкого миллионам.* Там же, 2001, речь автора; *Это был бы жест, электорально вредный.* Там же, 1999, речь персонажа; *Я отвечу на этот вопрос притчево.* РТР, 2000, речь персонажа; *Это был старик, поведенчески странный.* Новая газета, 2000, речь автора; *По решению Президиума прямая трансляция отменяется, президиумно нам перекрыли клапан информации.* Огонек, 1989; *Импровизировать поступочно.* ТВ-Кинопанорама, 2000, речь автора; *Приборно доказать.* ТВ, 1989, речь автора; *Телевизор прямо евростандартно украсил ваш крепкий очаг.* Новая газета, 2001, речь автора; *Население рыночно притянулось в Москву.* Эхо Москвы, 2001, ведущий.

Количество подобных образований в русском и чешском языках стремительно нарастает. Причем, если раньше в чешском языке (по

сравнению с русским) их численность была выше, то сейчас это отличие выравнивается. Ср. русские примеры: *все было как-то не светло, а призрачно, бесстенно*. Новая газета, 2000, рассказ, ар.; *видел, как все это по-халявски делается*. Новая газета, 2000, интервью, собеседник-рок-музыкант; *Это со стороны Путина был бы ангажированный жест, электронально вредный*. Новая газета, 1999, интервью, собеседник; *нам самим это страшно интересно, заодно*. Новая газета, 2000, интервью, собеседник; *многие сегодняшние вгиковские студенты сразу «обращаются» в эту веру авангардно «случайного» кино, не пройдя этап обучения «классикой»*. Новая газета, 2000, интервью, речь автора; *Я отвечу на этот вопрос при тчево*. РТР 2000, собеседник; *Завозить это (товары. — Г.Н.) на склад при таможне, взвешивать и полностью, как положено, с рентгеновскими штучками осматривать по мешочно и по ящично*. Новая газета, 1999.

Использование электронных средств общения потребовало оптимизации их вербального обеспечения за счет предпочтительного использования *компактных* номинаций, позволяющих «насытить» каналы коммуникативной связи максимально емкой информацией. Мощным резервом подобных обозначений является именно разговорный язык.

Принимая во внимание активное включение в узус СМИ словотворческих возможностей разговорного языка, особую значимость приобретает изучение *интерференции* исконно литературной и разговорной норм, их сопоставления.

Одной из характерных особенностей узуса современного публичного общения, по-прежнему сохраняющего за собой репутацию эталонного языкового употребления, является его *ускоренная* синхронная динамика. Во многом это обусловлено влиянием именно разговорного языка с присущей ему экспрессией, эмоциональностью, экономичностью средств выражения, компенсируемой подключением невербальных средств (мимикой, жестикуляцией, знанием конситуации и пр.). Несмотря на то, что в разговорном языке словопроизводство осуществляется по регулярным, активно воспроизводимым деривационным схемам, он одновременно является и «полигоном» инновационных тенденций, полем языкового экспериментирования.

Под влиянием разговорного узуса значительно расширяется вариационная шкала формантов, происходит замена нейтральных в стилистическом отношении аффиксов на более экспрессивно выразительные, меняется способ деривации, учащаются и случаи конкуренции.

Проявления синхронной динамики можно усматривать и в трансформации категории *Nomina agentis*, в составе которой все более продуктивным становится образование существительных с выраженной глагольностью и отчетливой экспрессивной окрашенностью. Данные лексемы часто встречаются в языке современной публицистики; ср.: *доноситель, потакатель, маратель, кропатель, пенкосниматель, ухаживатель, очернитель, спаиватель, оскорбитель, опровергатель, искажитель, наводитель (порядка), возглавитель, запретитель, оскорбитель, опровергатель, выступатель, ополчитель, медлитель, языкознатель, делатель*. Ср. в контексте: *Читаю иногда наивные заметки о существовании якобы специальных бригад из МВД или ФСБ, которые уничтожали и уничтожают преступные группы, — такие, видите ли, чистильщики*. Новая газета, 2001, интервью, собеседник, ирония; *Он стал очень хорошим высту п а л ь щ и к о м . Не знаю, можно ли это сказать в позитивном смысле?* (о творческом росте барда Тимура Шалвова. — Г.Н.). Эхо Москвы 2003, ведущая; *нужно выявлять о т м ы в а л ь щ и к о в денег*. Эхо Москвы, 2003, диалог, гость передачи; *среди аферистов есть и другие категории о б е щ а т е л е й*. Новая газета, 2002, статья, речь автора; *мстительщик* Эхо Москвы, 2002, комментарий обозревателя.

Изучение имеющегося в нашем распоряжении материала позволяет прийти к следующему, чрезвычайно важному, на наш взгляд, выводу.

Типологическая близость славянских языков предопределяет развитие в них конвергентных тенденций. Это факт бесспорный. Вместе с тем неравномерность темпа протекания некоторых процессов «разводит» во времени результаты этих процессов, вследствие чего мы имеем возможность наблюдать в одном и том же синхронном, но разном языковом пространстве различные фазы языковой динамики, т. е. речь идет о проявлении диахронии в синхронии.

В связи с тем, что на современном этапе языкового развития некоторые процессы протекают явно ускоренно, мы становимся свидетелями нивелировки ряда отличий, выравнивания языковой специфики. В числе причин, обуславливающих это явление, мы могли бы назвать:

а) совпадение универсальных экстралингвистических факторов, предъявляющих языку вполне конкретный информационно-коммуникативный «заказ»;

б) усиление значимости публичной коммуникации, ее воздействия не только на внутриэтническую и межэтническую интеграцию, но и на вербальный узус в целом;

в) возрастание значимости тенденции языковой экономии;

г) ослабление кодификационных запретов и средств речевого контроля в ареале регулируемого речевого поведения. В силу последнего ограничителя, корректировавшие и лимитировавшие развитие некоторых тенденций в литературном языке, утратили свое воздействие, открывая простор живой разговорной стихии, выравнивающей некоторые из ранее существовавших различий.

Очевидно, не случайно, проводя сопоставительный анализ языковых фактов, относящихся к русскому и чешскому языку 80-х годов, мы в свое время [Нещименко 1990] квалифицировали их как отличия, которые надлежит учитывать в практике перевода. Исследования, последних лет показали, что в течение десятилетия некоторые из этих отличий постепенно выравнивались, утратили свою актуальность.

Потребность в компактных номинациях, а также возрастающая открытость текстов по отношению к языку разговорному способствуют большей регулярности в воспроизведении традиционных деривационных схем и соответственно благоприятствуют появлению отступлений от привычной литературной нормы.

Таким образом, исследование словообразования современных славянских языков позволяет прийти к выводу о *расширении* зоны их *конвергентного* развития. Данная закономерность проявляется практически на всех уровнях словообразовательной системы, т.е. в словообразовательных категориях, деривационных типах, наборе формантов, в составе производящих основ и пр.

Литература

- Волошинов 1995 — *Волошинов В. Н. (Бахтин М. М.) Слово в жизни и слово в поэзии: К вопросам социологической поэтики // Риторика. 1995. № 2.*
- Нецименко 1983 — *Нецименко Г. П. О некоторых аспектах сопоставительного изучения славянского словообразования // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983.*
- Нецименко 1999 — *Нецименко Г. П. Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков) // Specimina Philologiae Slavicae. Bd. 121. München, 1999.*
- Нецименко 1999а — *Нецименко Г. П. Диалектическое единство синхронии и диахронии в словообразовании (на материале русского и чешского языков // Neue Wege der slavistischen Wortbildungsforschung. 2. Tagung der Internationalen Kommission für slavische Wortbildung, Magdeburg, 9–11.10.97. Frankfurt am Main, 1999.*
- Нецименко 2000 — *Нецименко Г. П. К постановке проблемы «Язык как средство трансляции культуры» // Язык как средство трансляции культуры. М., 2000.*
- Нецименко 2001 — *Нецименко Г. П. Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: проблемы, тенденции развития // Вопросы языкознания. 2001. № 1.*
- Нецименко 2002 — *Нецименко Г. П. Заимствования как проявление культурно-языковых контактов и их функционирование в языке-реципиенте // Встречи этнических культур в зеркале языка. М., 2002.*
- Нецименко 2003 — *Нецименко Г. П. Языковая ситуация в славянских странах. Опыт описания. Анализ концепций. М., 2003.*
- Нецименко 2005 — *Нецименко Г. П. К вопросу о лингвистическом статусе языка компьютерных диалогов // Язык. Личность. Текст. Сборник статей к 70-летию Т. М. Николаевой. М., 2005.*
- Петерсон 1941 — *Петерсон М. Н. Лекции по современному русскому литературному языку. М., 1941.*
- Щерба 1974 — *Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.*
- Čeština za školou 1974 — *Čeština za školou. Praha, 1974.*
- Dokulil 1962 — *Dokulil M. Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov. Praha, 1962.*
- Furdík 1993 — *Furdík J. Slovtvorná motivácia a jej jazykové funkcie. Levoča, 1993.*

Jedlička 1974 — *Jedlička A.* Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha, 1974.

Kolářová 1999 — *Kolářová I.* Odras komunikačních faktorů v textech současné rozhlasové a televizní publicistiky // *Stylistyka. VIII. Styl i gatunek.* Opole, 1999.

Neščimenková 1990 — *Neščimenková G.* O některých jevech jazykové specifčnosti češtiny a ruštiny v překladatelské praxi // *Čeština jako cizí jazyk. III. Materiály z III. Mezinárodního symposia Český jazyk a literatura v zahraničí.* Praha, 1990.

Neščimenko 2001a — *Neščimenko G.* Univerzální a specifické tendence ve vývoji jazyka sdělovacích prostředků // *Čeština. Univerzália a specifika. 3. Sborník konference v Brně 22.–24. 11. 2000.* Brno, 2001.

Neščimenko 2004 — *Neščimenko G.* K zintenzivnění tendencí konvergentního vývoje současných slovanských jazyků // *Čeština: Univerzália a Specifika. 5. Brno. Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.–15. 2003.* Praha, 2004.

Nová slova v češtině — *Nová slova v češtině. Slovník neologizmů.* Academia. Praha, 1998.

Zagrodnikowa 1982 — *Zagrodnikowa A.* Nowe wyrazy i wyrażenia w prasie, Kraków, 1982.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
<i>Е. И. Демина.</i> К проблеме становления литературных языков славянских народов на преднациональном этапе их историко-культурного развития: типология процесса.....	5
<i>В. С. Ефимова.</i> О формировании старославянского лексического фонда: опыт лингвистико-культурологической стратификации наименований лица.....	25
<i>М. И. Ермакова.</i> Роль серболужицких литературных языков в формировании культуры серболужичан в период национального возрождения.....	113
<i>Г. К. Венедиктов.</i> Опыт интерпретации некоторых данных о возрожденцах и их книгах при изучении начальной истории формирования современного болгарского литературного языка.....	153
<i>Д. Ю. Анисимова.</i> К вопросу о вытеснении богемизмов, германизмов и унгаризмов из публицистического стиля словацкого литературного языка в тридцатые-сороковые годы XX века (матичный узус).....	207
<i>Ф. Б. Людоговский.</i> Церковнославянский и национальные литературные языки в славянских православных церквях в конце XX — начале XXI вв.	219
<i>Г. П. Нецименко.</i> К вопросу о динамике современной литературной нормы (на материале сопоставления русского и чешского языков).....	239

Научное издание

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯЗЫКИ
В КОНТЕКСТЕ
КУЛЬТУРЫ СЛАВЯН

Ответственный редактор
доктор филологических наук Г. К. Венедиктов

М.: ИСл РАН, 2008. — 287 с.

Подписано в печать 24 июня 2008 г. Усл. печ. л. 18
Тираж 300 экз. Заказ № . Цена договорная.

ООО «Пробел – 2000»
Москва, ул. Поварская, д. 36